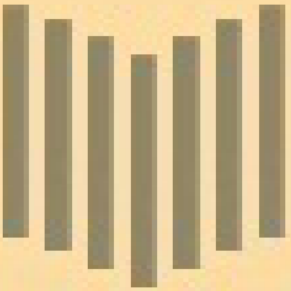
Михаэль Деген



Не все были убийцами

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Берлин 1943 года. Город непрерывно подвергается массированным бомбардировкам. Еврейский мальчик и его мать скрываются от гестапо. Их укрывают не только друзья, но и совершенно незнакомые люди, ежедневно рискующие из-за этого собственной жизнью. Детство Михаэля Дегена проходит в постоянном страхе быть разоблаченным, в постоянном бегстве от предательства и смерти.

Спустя десятилетия известный актер Михаэль Деген написал об этом книгу, ставшую памятником его спасителям. В книге он описывает свои детские впечатления от событий того времени и рассказывает о людях, которым обязан своей жизнью. Это блестяще написанная книга, по-иному освещающая нашу историю.

- Об авторе
- Михаэль Деген

Об авторе

Михаэль Деген родился в 1932 году в Хемнице. В годы нацистского режима он вместе с матерью вынужден был скрываться. После войны Михаэль Деген окончил театральную школу при Берлинском драматическом театре и играл на всех больших немецких сценах. Он работал с Ингмар Бергман, Петером Цадеком, Георгом Табори, снимался во многих фильмах вместе с Клодом Шабролем и Ромуальдом Кармакаром. Михаэль Деген известен зрителям по телевизионным фильмам «Diese Drombusch» («Эти Дромбуши») и «Eine ungehorsame Frau» («Непослушная женщина»), а также по таким телевизионным фильмам, как «Die Bombe» («Бомба») и «Geheime Reichssache» («Тайное дело империи»), в котором он сыграл Гитлера.

Михаэль Деген
Не все были убийцами (История одного Берлинского детства)

Моей матери и Сузи

Они пришли в пять часов утра. Стоял сентябрь 1939-го. Было еще темно.

Они были очень вежливы. Отцу даже разрешили взять еще пару брюк, бритвенный прибор и умывальные принадлежности. У отца не было немецкого гражданства, и поэтому они могли делать с ним все, что пожелают.

«Концентрационный лагерь — это такое место, где учат концентрации», — подумал я.

Когда я навестил отца в еврейской больнице незадолго до смерти и увидел его ссохшееся, сморщенное, как у новорожденного, лицо, я не осмелился спросить, какому способу концентрации обучали его в лагере.

После смерти отца, 26 апреля 1940-го года, мой брат Адольф благополучно добрался до Швеции. С помощью одной еврейской организации нашей матери удалось отправить его в Данию, откуда через Швецию, Советский Союз, Турцию и Сирию брата должны были переправить в Палестину. Я завидовал Адольфу — какое замечательное путешествие!

Он был на четыре года старше меня, почти юноша, и поэтому подвергался большей опасности. После войны мать рассказывала мне, что я ночи напролет рыдал из-за того, что был слишком мал и не мог уехать вместе с братом.

Спустя два года все еврейские школы были закрыты. Тогда же на еврейском кладбище в Берлин-Вайсензее я встретил свою первую любовь. Все еще существовавшая еврейская община направила нас, детей, на уборку кладбищенской территории — «подальше от опасных берлинских улиц». Девочке, в которую я был влюблен, уже исполнилось двенадцать. На меня она смотрела вначале немного свысока — ведь я был на целый год моложе! Но через какое-то время мы стали неразлучны. Вдвоем мы придумывали игры для всех остальных. Мы должны были запоминать расположение всех надгробных памятников и без ошибки называть высеченные на них имена. Победителем в этой игре неизменно оказывался один из худших учеников нашего класса, мой друг Гюнтер Мессов, запоминавший даже даты

рождения и смерти покойников.

У Бригитты — так звали мою подружку — были очень красивые глаза с длиннейшими ресницами и густые черные волосы, заплетенные в косу. Однажды Бригитта пришла на работу с распущенными волосами. Она проспала, и мама не успела заплести ей косу. С распущенными волосами девочка показалась мне еще красивее.

Первое потрясение, первое предчувствие того, что нас ожидало, я испытал, когда однажды в субботний день пришел навестить Бригитту. Как всегда, я был без «звезды Давида» — нашитая на одежду звезда наводила страх на мою подружку. Я увидел, как Бригитту и ее родителей выгоняли из дома.

Девочка сразу заметила меня, но не кивнула в знак приветствия и тут же отвела глаза. Я понял — она хотела предостеречь меня. Больше я ее никогда не видел.

В конце 1942 года президент США Рузвельт объявил по радио:

«В 1943 году мы приступим к решительным действиям, господин Гитлер!»

Так и произошло. В начале марта 1943 года американцы в первый раз подвергли Берлин массированной бомбардировке. Американские воздушные эскадрильи превратили в руины целые кварталы. До этого над городом лишь изредка появлялась пара-другая английских самолетов. Дом напротив нас, в котором находилась лавка торговца молочными продуктами, тоже был разрушен. Фамилия владельца лавки была Шикетанц.

«Ну что ж, это тоже фамилия!» — говорил обычно мой отец.

Целыми днями над нашей улицей стояло облако дыма и пыли, а из соседнего квартала несло сладковатым трупным запахом. В тот месяц Гитлер ужесточил меры, направленные против евреев.

Моя мать работала на небольшом военном заводе. Однажды, когда она, как обычно, пришла на службу, ее остановил десятник, под началом которого находились работницы-еврейки:

«Какая вы бледная! Вы заболели?»

«Я вполне здорова», — ответила мать.

«Да нет же, я вижу — вы больны. И если кто-нибудь из сотрудников от вас заразится, вам придется ответить за это».

«Я здорова, я в полном порядке», — упорствовала мать.

«Нет, вы больны. Мне только этого не хватало — заразиться гриппом от еврейки! Вы сейчас же пойдете домой. Даже и не начинайте сегодня работать. У вас есть дети?»

«Да».

«Сколько?»

«Один сын».

Он пристально взглянул на мать, затем повернулся и уже уходя сказал:

«Ну, смотрите сами — она остается здесь!» И внезапно громко, чтобы слышали все, закричал:

«А ну давай, выметайся отсюда!» И исчез за захлопнувшейся дверью.

Все произошедшее страшно испугало мать. А кроме того, всякого, кто не работал, могли сразу арестовать. Внеурочное возвращение матери с работы было для меня полной неожиданностью. Бледная, как мел, стояла она посреди кухни.

«Ты заболела?» — спросил я.

«Ну вот, теперь ты задаешь мне тот же вопрос!» — закричала мать. Упав на стул, она разразилась безудержным плачем. Я хотел успокоить ее, погладить, но мать оттолкнула меня. «Меня отправили домой, потому что я якобы заболела. Ты понимаешь, что это значит?»

Я кивнул и помолчав, сказал:

«Ты должна позвонить Лоне».

«Как же, поможет нам Лона», — язвительно отозвалась мать.

«Конечно, она поможет нам», — сказал я. — «Она обязательно что-нибудь придумает. Лона не боится приходить к нам, она даже вместе с тобой по улице ходит».

«И при этом просит меня, чтобы я своей сумкой закрывала „звезду Давида“».

Я не знал, что ответить на это матери. Лону можно было понять.

По-настоящему Лону звали Лотта, Лотта Фуркерт. Она была близким другом моих родителей и владела магазином на Кайзер-Вильгельм-штрассе, торгующим изделиями из шерсти и трикотажа. Магазин достался ей от моего отца, потому что теперь он не имел права владеть им. Ежемесячную выручку от продажи товаров она честно делила с моей матерью. Лона трижды выходила замуж.

Фуркерт был ее третьим мужем. Этот криминальный тип очень любил Лону. Ради нее он даже совершил кражу со взломом — украл в меховом магазине норковую шкурку, чтобы подарить Лоне, и теперь сидел за решеткой. Когда она однажды навестила его в тюрьме, он признался, что меха — это не его профиль, и норку он украл только для нее. Это заявление до слез тронуло Лону, и когда после войны Фуркерт вышел из тюрьмы и ему, по его собственному выражению, нечего было жрать, она помогала ему. Тогда же она из Лоны снова превратилась в Лотту и с гордостью носила имена всех трех мужей, официально

именуясь фрау Беге-Фауде-Фуркерт. И стала лесбиянкой.

Я думаю, что настоящей любовью этой женщины был мой отец, хотя между ними ничего такого не произошло. Мать же, напротив, была иного мнения.

Лону мать застала в магазине. Лона успокоила мать, сказав, что забежит к нам, как стемнеет. Мы прождали весь вечер, но она так и не пришла.

Вместо Лоны к нам явился молодой эсэсовец. Мать познакомилась с ним довольно странным образом. Мой отец был тогда еще жив и находился в концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином. Мы с матерью жили в маленькой квартирке на задворках квартала Тиргартен. Всякий раз, когда мать подходила к нашему дому, сзади нее внезапно возникал мужчина в эсэсовской форме. Это был довольно привлекательный молодой человек, по виду типичный ариец. Не доходя до дверей нашего дома он останавливался и ждал, когда мать обернется, вежливо раскланивался и уходил. Это продолжалось недели две, — правда, не каждый день, но довольно часто. Вначале мать боялась этого человека и пыталась избежать встреч с ним, приходя домой то позже, то раньше обычного времени. Однако незнакомец терпеливо ждал ее прихода или внезапно подбегал к матери и, взглянув на нее, раскланивался.

Однажды мать, не выдержав, заговорила с ним:

«Хотите познакомиться со мной? А знаете, кто я?»

«Нет».

«Я еврейка, мой муж находится в концентрационном лагере, и наш брак до этого момента был вполне счастливым».

Незнакомец долго, не говоря ни слова, смотрел на мать. Затем так же молча кивнул ей и ушел.

Долгое время он не появлялся, но однажды возле нашей двери мы нашли довольно объемистый пакет. Сначала мы даже не хотели брать его, полагая, что этот пакет нам положили по ошибке. На пакете не было ни адреса получателя, ни фамилии отправителя. Вечером мы все-таки взяли пакет, но открыли его только на следующее утро. В пакете было масло, колбаса, большой кусок копченой ветчины, мука, шоколад и овсяные хлопья.

«Смотри-ка, ветчина! Откуда он знает, что мы не едим кошерного?» — усмехнувшись, сказала мать.

«А ты откуда знаешь, что это от него?» — простодушно спросил я.

«Откуда знаю?» — переспросила она. — «Да потому, что он чокнутый, вот откуда!»

И с того самого утра мы с матерью называли незнакомца

«этот чокнутый эсэсовец». Однажды вечером, видимо, собравшись с духом, он позвонил в нашу квартиру, оттеснил в сторону мать, которая не хотела пускать его в дом, и быстро закрыл за собой входную дверь. На этот раз он был в гражданской одежде. Я увидел, как он пожал матери руку и одновременно предостерегающим жестом приложил к губам указательный палец левой руки. «Чокнутый эсэсовец» был здоровым, крепким на вид мужчиной, но как-то сразу я ощутил этого человека своим приятелем, мальчишкой-ровесником. Он пришел к нам и теперь играет в охотников и индейцев. Или во что-то похожее.

Мать пошла в комнату, «чокнутый» неуверенно последовал за ней. Со спины он показался мне очень большим, но когда я снова посмотрел ему в лицо, ко мне вернулось прежнее внезапное ощущение — передо мной мальчишка, мой сверстник.

Мы жили тогда в двухкомнатной квартире на Эльбефельдерштрассе, жили довольно бедно, и поэтому я немного стеснялся.

Лицо матери стало строгим, даже несколько надменным. Она сидела на краешке стула с таким выражением, как будто хотела сказать:

«Ну, выкладывайте, что там у вас, и уходите».

Мне было искренне жаль «чокнутого».

Я никогда не видел его в военной форме, а в штатском он выглядел вполне обычным, ничем не примечательным. Я попытался представить его в черной форме эсэсовца, но мне это не удалось. Поведение матери удивило и огорчило меня.

После довольно долгого молчания он наконец заговорил.

«Меня зовут Манфред Шенк. У моих родителей хозяйство под Штеттином, а сам я служу в Берлине. Мне хочется вам чем-нибудь помочь».

«Почему?»

«Просто хочется».

«Ну почему? Почему вы хотите помочь мне? Вы же знаете, что этим вы подвергаете себя опасности. Да и нас с сыном тоже».

«Я знаю. Но тем не менее я хотел бы что-нибудь сделать для вас. Я считаю это своим долгом».

Мать рассмеялась. «Разве вы забыли — я видела вас в форме СС?»

«Нет, я не забыл».

«Ну хорошо. И как же я должна понимать это? Эсэсовец, а стало быть, убежденный национал-социалист, считает своим долгом помогать мне, еврейке. Ведь для вас я — враг номер один. Ваш фюрер повторяет это при каждой возможности. Мой муж сидит в концентрационном лагере только потому, что он еврей.

Каждые четыре недели я получаю от него записку в двадцать строк — больше ему не положено. Его охраняют ваши коллеги, и я не знаю, что еще они могут сделать с ним».

Я чуть не рассмеялся, когда мать назвала эсэсовцев его коллегами. Внезапно она заплакала. Наверное, она вовсе не хотела этого, но от сильного волнения не могла сдержаться. Она плакала навзрыд. Ее тело сотрясалось от рыданий, слезы стекали по подбородку. Как-то сразу она подурнела, стала некрасивой. Всю накопившуюся боль, всю долго сдерживаемую ярость она вкладывала в свои слова, прерываемые судорожными всхлипами.

«Кто даст мне гарантию, что я снова увижу мужа? Да знаете ли вы, что творилось у меня в душе, когда ваши коллеги в пять утра уводили его? О, эти люди были вежливы, очень вежливы. Они даже разрешили мужу взять с собой зубную щетку. А что чувствовала я, когда была вынуждена отправить из Германии старшего сына, потому что ему было больше четырнадцати лет, он считался взрослым мужчиной и его ожидала судьба отца? Увижу я когда-нибудь моего мальчика? А может, вы и пришли к нам только для того, чтобы выведать, где он находится? Я знаю — вы и ваши коллеги способны на любую подлость. Но от меня вы ничего не узнаете, даже и не пытайтесь».

«Мама, мама!» — пытаясь успокоить ее, повторял я. Никогда еще я не видел мою мать в таком состоянии, она очень редко теряла самообладание. Я боялся, что она расскажет, где находится мой брат. Ведь если эти люди и в самом деле хотят узнать это, они это сделают. Внезапно мать взглянула на меня. Я сел рядом с ней и положил голову на ее плечо. Мне хотелось утешить ее. Она, конечно, знала, о чем я думал.

Сухим, будничным голосом мать произнесла:

«Но я, к сожалению, не знаю, где находится мой старший сын».

И замолчала.

Молчание длилось долго, очень долго. Я даже не представлял себе, что трое, находящиеся в одной комнате, могут столько времени играть в молчанку.

Все произошедшее потрясло меня. Я вдруг почувствовал себя взрослым. Совсем взрослым. «Чокнутый» был очень бледен. Казалось, его сейчас стошнит. «Не нужно думать, что я пришел сюда для того, чтобы узнать, где находится ваш сын. Мы могли бы узнать об этом другими способами. Для этого вовсе не надо приходить к вам. Думаю, вы хорошо понимаете это».

Снова наступила тишина. Этот человек был эсэсовцем, он мог бы просто увести нас. Вместо этого он сидел смирно, как побитый — такое впечатление произвело на него сказанное

матерью. В эту минуту я очень гордился ею.

Мать, закусив верхнюю губу (так она всегда делала, когда хотела сдержать смех), упорно смотрела в пол.

«Да, я каждый день ждал у вашего дома, потому что хотел увидеть вас. Просто потому, что вы красивы. И когда вы сказали, что вы еврейка, то в первый момент это было для меня неожиданным ударом. Но потом шок прошел, и я захотел что-нибудь сделать для вас. Я ведь знаю, что вам, как еврейке, продовольственные карточки не положены. Я поехал к моим родителям и все им рассказал».

«Да я же вам в матери гожусь», — перебила она.

«Что из того, что вы старше меня? Это не имеет никакого значения».

«Чокнутый», казалось, был испуган. Он смущенно улыбнулся мне, будто хотел спросить:

«Может, я что-то не так сказал?» Потом он заговорил снова:

«Вам совсем не нужно бояться. Мои родители — не нацисты. Они всегда были против моего вступления в СС. Но я был в восторге от идей национал-социализма. Мне они и сейчас по душе. Хотя я не совсем понимаю то, что делают с евреями. Конечно, к министерским постам евреев допускать нельзя, с расовой точки зрения это не всегда безопасно, но как можно вообще судить о расовой чистоте? Мой отец всегда говорит, что нашу семью с расовой точки зрения тоже можно было бы считать неполноценной — ведь мой прадед был поляком».

Его словно прорвало. «Я сказал отцу, что с евреями дело обстоит совсем по-другому. Один из моих начальников, человек очень образованный, объяснил мне однажды — евреи наши злейшие враги не потому, что принадлежат к другой расе, а потому, что возомнили себя лучше других рас, которые стоят выше их, евреев. Признавать приоритета этих высоких рас евреи не хотят. И это может привести к уничтожению какой-нибудь из высоких рас. Мои родители очень над этим смеялись, а отец даже рассердился на меня. „А знаешь ли ты, что в войне 14–18 годов офицеры-евреи подавали примеры высочайшей храбрости? А сколько евреев пожертвовали жизнью ради своего немецкого отечества! Да такую чушь может придумать только какой-нибудь неграмотный подмастерье!“ Мой отец истинный германский патриот и верный сторонник кайзера. Наши новые идеи ему не понятны. И при посторонних мне постоянно приходится удерживать его от подобных высказываний. „Ты еще не вполне законченный национал-социалист, иначе бы уже давно донес на меня“, — говорил отец каждый раз после наших споров. И добавлял: „Это меня утешает“. Наверное, отчасти он прав. С тех

пор, как я познакомился с вами, я вообще перестал понимать, зачем я в СС и что я там делаю».

Мы с матерью молча смотрели на него. Затем я просил:

«А почему вы о нас думаете?»

«Потому что твоя мама очень красива. А это не соответствует нашей расовой теории».

«Вы говорите серьезно или шутите?» — снова спросил я.

«Конечно, шучу», — ответил он.

«Чокнутый» приходил к нам постоянно, хотя мать всякий раз твердила ему, что это опасно. Он появлялся у нас с наступлением темноты, стараясь быть незамеченным, и приносил с собой бутылку вина. «Вам привет от моих родителей», — говорил он, передавая матери бутылку.

Они садились за стол. Мать пила с ним только из вежливости, а он все наливал и наливал себе, и, казалось, совсем не замечал, что уже много выпил.

Иногда они говорили о моем отце. Мать пыталась не выдавать своего волнения, когда речь заходила о нем, но я слышал, как дрожал ее голос, и боялся, что она опять начнет плакать.

«Я не знаю, какие условия в концентрационных лагерях, как там обходятся с заключенными, но говорят, что там просто ужасно».

«От кого вы это слышали?»

«Ходят слухи».

Мать испуганно посмотрела на меня — вдруг по неосторожности она сказала что-то лишнее?

«Это вполне может быть», — сказал «чокнутый».

«Ну вот», — подумал я. — «Наконец он может говорить о том, в чем что-то смыслит».

«Понимаете», — продолжал «чокнутый», — «не всегда можно правильно подобрать коменданта лагеря. Эти люди, конечно, истинные национал-социалисты, но иногда бывают довольно примитивными. Я знаю коменданта концлагеря Заксенхаузен. Это умный, трезво мыслящий человек с хорошими манерами. Настоящий представитель новой гвардии. Думаю, вам не следует беспокоиться. Если ваш супруг подобающим образом ведет себя, с ним не может случиться ничего плохого».

«Я хотела бы спросить вас еще кое о чем», — осторожно сказала мать. — «У моего мужа есть разрешение на эмиграцию в Шанхай. Оно пришло вскоре после его ареста. Я слышала, что евреи, у которых есть возможность эмигрировать, даже если они находятся в лагере, получают разрешение на выезд из страны и должны быть из лагеря выпущены. Это верно?»

Он покачал головой. «Насколько мне известно, с тех пор как началась война, это невозможно».

«Но ведь официальное разрешение получено», — не сдавалась мать. — «И ему теперь могут разрешить совершенно легально эмигрировать через Швецию и Россию».

«Об этом мне ничего неизвестно».

Внезапно он заговорил холодным, официальным тоном:

«Я работаю на Принц-Альберт-штрассе, и если бы все было так, как вы говорите, я бы это, конечно, знал».

«Друзья мужа уже уехали».

«Ну и что же? Добрались они до места?» — с циничной ухмылкой спросил он.

Мать молчала.

Он заговорил снова. «Мне не верится, чтобы ваши знакомые могли попасть в Китай через Советский Союз. Если мы и разрешили им уехать, они наверняка застряли в России. Но если вы интересуетесь, я для вас охотно наведу справки».

В следующий раз он пришел сообщить матери — он добился для нее аудиенции у одного крупного чиновника, и она сможет узнать, есть ли еще для моего отца возможность выехать из страны. Он казался страшно подавленным.

Когда мать спросила, что с ним, он рухнул на диван и начал безудержно всхлипывать. В штатской одежде он выглядел беспомощным мальчиком. Мать села рядом и стала гладить его по голове. Он прижался к ней, судорожно обхватил ее и заплакал еще громче. Она заговорила с ним, успокаивая, утешая, потом осторожно попыталась высвободиться из его объятий. Это ей не удалось. Тогда мать дала ему выплакаться. Немного успокоившись, он рассказал ей, что видел.

Думаю, он посетил Бухенвальд и Дахау. Мать стала белой, как мел. Я же не поверил его рассказу и, сознаюсь, подумал — он хочет произвести на нее впечатление, показать себя героем, спасителем. В какой-то степени, наверное, так оно и было. Но главное — ему самому была необходима поддержка.

«Мой отец оказался прав», — сказал он. — «СС действительно банда убийц, а я — член этой банды. И никогда не смогу выйти из нее. Но я вырос в семье, живущей по христианским заповедям. Вы можете мне довериться. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Отец согласен со мной. „Ты должен использовать свое служебное положение, чтобы помочь этой женщине“», — сказал он. — «Ты поступишь по-христиански, если сделаешь это».

Я так и не узнал, как ему удалось добиться для матери аудиенции у высокого должностного лица. Больше двух часов простояла она в пустой комнате, примыкающей к приемной. Она

даже присесть не могла — не было ни стула, ни табуретки, вообще никакой мебели. Только голые стены. Единственное окно выходило на пустынный внутренний двор. И в этой комнате, рассказывала мать, ее охватил панический страх, острое желание уйти, убежать отсюда. Но мысль об отце удержала ее. Она осталась.

Наконец дверь рывком открылась, и чей-то голос громко сказал:

«Входите».

Мать не поняла, кто распахнул дверь — в комнате не было никого, кроме человека за письменным столом. Вероятно, это он пригласил ее войти. Мать очутилась в светлой и, как показалось ей, хорошо обставленной комнате. Потом я часто расспрашивал ее об этом, но она не могла припомнить подробностей. От страха у нее все плыло перед глазами, стучало в висках. Но сидевшего за столом человека она хорошо запомнила. Мать была твердо уверена, что это — сам Гейдрих. Тогда я понятия не имел о том, кто такой Гейдрих, но судя по описанию матери, там он, конечно, был самый главный. Позднее я узнал, что человек за письменным столом занимал весьма незначительную должность — был адъютантом или чем-то вроде этого.

«Ну, евреечка, в чем дело?» — приветливо спросил он. Не удержавшись, мать сразу начала плакать.

«А ну, возьми себя в руки, не то вылетишь отсюда в два счета!» — внезапно сменив тон, заорал сидевший за столом.

Это подействовало. Перестав плакать, мать спросила, нельзя ли отпустить ее мужа из концлагеря — разрешение на эмиграцию в Шанхай уже получено. Ведь власти хотят, чтобы все евреи покинули Германию!

«Да, конечно, мы хотим избавиться от евреев, но только нашим собственным способом», — засмеялся он.

У него было узкое, невыразительное лицо с маленькими серыми глазками. В какой-то момент матери даже показалось — сейчас он вытащит пистолет. В то же время у нее возникло ощущение, что он исподтишка любуется ею. Может, его удивила смелость матери, а может, она понравилась ему — ведь она была красивой женщиной. Во всяком случае, он записал анкетные данные моего отца и сказал, что рассмотрит его дело, если представится такая возможность. Потом он замолчал и углубился в чтение бумаг, лежащих на письменном столе.

Казалось, он совсем забыл о матери. Подождав некоторое время, она напомнила — он должен подписать пропуск, иначе она не сможет выйти отсюда.

Он взглянул на мать с наигранным удивлением:

«Что, разве тебе у нас не понравилось?» Она молча протянула ему пропуск. Человек за столом подписал его. Мать вышла из комнаты, беспрепятственно дошла до ворот, сдала пропуск и очутилась за залитой солнцем улице. У нее было ощущение, как будто она вынырнула на поверхность из глубокого омута.

Мы стали ждать решения. «Наш эсэсовец» больше не приходил. Он появился у дверей нашей квартиры только в начале января 1940-го, одетый в военный мундир. Молча передав нам письмо, он бегом спустился по лестнице.

«У меня нет сил вскрыть это письмо. Я знаю — в нем извещение о смерти твоего отца. „Чокнутый“ слишком труслив, он не мог мне сам сказать об этом и поэтому сразу ушел».

Мать говорила без всякого выражения, почти беззвучно. Сев на диван, она тупо уставилась в пол.

«Давай я вскрою письмо!» — после недолгого молчания предложил я.

«Хорошо», — согласилась мать. — «Пойди на кухню и вскрой письмо там».

Я пошел на кухню. Точного текста этого письма я уже не помню, но в нем говорилось, что в конце января отец будет отпущен из лагеря. Он должен быть помещен в больницу. Мать сама должна организовать перевозку и в назначенное время быть у ворот лагеря с санитарным транспортом. Точную дату нам сообщат отдельно. Обязательным условием является также то, что отец должен быть помещен в еврейскую больницу, в специальное отделение для заключенных концлагеря.

Требование предоставить санитарный транспорт было плохим знаком. Однако мать развила бурную деятельность. Она вступила в яростный спор с ведомством, предоставляющим транспорт для перевозки больных. Ее не хотели слушать — это письмо, как там выразились, было «полуофициальным». И нужно ждать официального запроса с указанием точного времени. Вот тогда, было сказано матери, можно будет организовать перевозку.

На наше счастье, через пару дней снова появился «чокнутый эсэсовец», который устроил все быстро и без проволочек.

Первого февраля 1940 года мать в санитарной машине поехала в Заксенхаузен. Перед воротами лагеря водитель остановил машину. Мать вышла из машины. Через несколько минут из ворот появился элегантный офицер-эсэсовец.

Вежливо поздоровавшись с матерью, он попросил ее вернуться в машину. Один из лагерных охранников сел за руль, и машина въехала на территорию лагеря.

Перед зданием комендатуры машина остановилась. Мать провели в уютную, хорошо обставленную комнату, и офицер

спросил, не желает ли она чего-нибудь.

Мать отказалась. Тогда офицер рассказал — отец серьезно болен. Уже несколько недель он страдает от сильных болей в желудке и в состоянии принимать только небольшое количество жидкой пищи. Поэтому и понадобилась перевозка. А сейчас он лично сопроводит санитарную машину до барака и положит туда еще одно одеяло — ему кажется, что одного одеяла, имеющегося в машине, недостаточно.

До последнего момента матери казалось, что это какая-то злая шутка.

Однако через некоторое время санитарная машина вернулась. Офицер-эсэсовец вышел из машины и чрезвычайно вежливо попрощался с матерью. Водитель предложил ей занять место позади носилок с больным. Войдя в машину, мать наклонилась над носилками и сама чуть не упала замертво.

Она узнала отца только по глазам.

В больнице я видел отца в последний раз. Там, в больнице, отец рассказал матери о том, что с ним сделали. Шепотом — он вынужден был дать расписку в том, что никому не расскажет о том, что пережил в лагере.

Через четыре недели после того, как отец был помещен в концлагерь (кажется, это был день капитуляции Польши), комендант лагеря позволил себе «немного пошутить». Барак, в котором содержались евреи, был загерметизирован. Все его окна и двери была наглухо заколочены. Заключенные — барак был забит людьми до отказа — были брошены на произвол судьбы. Через три дня двери барака внезапно распахнулись. У входа стоял комендант лагеря, а у его ног — наполненные водой ведра.

«А ну, кто может выдуть целое ведро? Но смотрите: не справитесь — потом костей не соберете!» — крикнул комендант.

Отец вызвался в числе первых и, разумеется, не справился. Тогда эсэсовцы набросились на него, били по животу и по грудной клетке и отпустили только тогда, когда поняли, что он не выживет. Через два месяца отец в страшных мучениях умер. Даже в больничном дворе было слышно, как он кричал от боли.

В те дни я вообще не видел матери — она все время пропадала у отца в больнице. Заботу обо мне взяла на себя ее сестра, моя тетка. Она была довольно скупой женщиной. Когда я стянул из теткиного кошелька двадцать марок, чтобы купить себе духовой пистолет, она с возмущением сообщила об этом матери. Страшно рассердившись, мать рассказала о моем поступке отцу. И до самой смерти он не хотел больше видеть меня, хотя мать умоляла его не придавать этому особого значения:

«Ведь он еще ребенок!»

Больше отца живым я не видел.

Во время похорон я глядел на грубо сколоченный дощатый гроб, не желая верить, что в нем лежит отец. Когда мне сказали, что нужно бросить на гроб горсть земли, я сделал это. Мать была словно помешанная. «Зачем ты бросил эту грязь на своего отца?» — закричала она и спрыгнула в могилу. Ее насильно вытащили оттуда. Друг нашей семьи, учитель начальной школы Ганс Кохман безуспешно пытался образумить мать. Больше всего мне хотелось убежать, но мои ноги словно приросли к земле.

Долгое время мы с матерью говорили лишь по необходимости. Даже позднее, когда в доме на Айзенахерштрассе мы были вынуждены жить в одной комнате, мы старались как можно меньше разговаривать друг с другом. Я был очень привязан к отцу. Больше, чем к матери. Или сегодня, после всего пережитого, мне это только кажется?..

Вечером того же дня, когда мать отправили с работы домой, мы вновь увидели «нашего эсэсовца». Он был в штатском и выглядел чрезвычайно взволнованным. Похоже, сказал он, против евреев что-то затевается: на следующее утро все работающие евреи должны быть арестованы на своих рабочих местах и доставлены на Гроссегамбургерштрассе. А оттуда они будут отправлены куда-то на восток.

Мать отнеслась к этому сообщению очень спокойно. И рассказала, что сегодня утром бригадир отослал ее домой.

«Вы должны быть благодарны ему», — сказал «наш эсэсовец».

Он попросил мать оставаться следующие дни дома и ждать дальнейшего развития событий. Потом попрощался с нами. Мы понимали, что больше не увидим его.

После войны его родители разыскали нас в Берлине и некоторое время даже жили у нас. Они рассказали, что вскоре после событий 43-го года их сын ходатайствовал о выходе из национал-социалистической партии, был арестован, после мучительных допросов в составе штрафного батальона отправлен на восточный фронт и погиб где-то у Старой Русы.

После ухода «нашего эсэсовца» появилась Лона.

«Что творится в здании верховного суда на Александерплац!» — начала она. — «Говорят о какой-то большой акции гестапо, но когда и где это произойдет, никто не знает».

Она обняла меня и попросила не выходить завтра на работу. Да, я тогда работал. Мне было одиннадцать лет, и я работал в еврейской больнице. Все еврейские школы были закрыты, а нас, детей, распределили на работу. Сначала на еврейское кладбище в Вайсензее, а позднее — в еврейскую больницу.

На кладбище мы чувствовали себя совсем неплохо — свежий

воздух, приемлемая еда. Конечно, запах гари, доносившийся с Иранишерштрассе, был довольно сильным, но все же работа на кладбище нам даже нравилась. Однако люди из гестапо решили, что работа на кладбище слишком хороша для нас.

Начальство еврейской больницы придумало для нас другую работу.

В отделении для туберкулезников мы должны были выносить судна с экскрементами, мыть больных, выслушивать их жалобы, причитания и придирки.

Кроме того, мы должны были перевозить умерших в расположенную в подвале мертвецкую. Обычно тележки с покойниками стояли в больничных коридорах. С этими тележками мы спускались на лифте вниз. Умершие были накрыты зелеными покрывалами, как правило, короткими. Из-под покрывал торчали восковые ноги.

Я и сейчас не слишком высок, а тогда и вовсе был небольшого роста. Длинные тележки загораживали дорогу к лифту. Толкая перед собой тележку с покойником, мне все время приходилось смотреть по сторонам, чтобы не сбиться с пути.

Иногда санитары ради забавы внезапно выключали свет в подвале и он погружался во тьму, только смутно белели ноги покойника, да где-то наверху гудели трубы отопления. Вначале я страшно пугался и начинал громко кричать, но со временем привык к этим шуткам.

Позднее мы даже стали соревноваться — кто быстрее довезет своего покойника до подвала. Однажды это привело к столкновению моей тележки с тележкой, которую толкал мой школьный товарищ. Его покойник вывалился на пол, и мы с трудом втащили тяжелое тело обратно.

Санитар в мертвецкой вначале ругался, а потом перестал обращать внимание на наши игры. Наверное, он думал — чем скорее мы ко всему этому привыкнем, тем будет лучше.

Этот санитар спас нам жизнь, — проигнорировав предупреждение Лоны, я на следующий день явился на работу.

В тот день мы с моим приятелем Гюнтером Мессовом прикатили в мертвецкую тележки с покойниками. Санитар закрыл за нами дверь.

«Послушайте, ребята», — начал он, — «сегодня люди из гестапо „наведут здесь порядок“ — так они это называют. Они заберут весь еврейский персонал больницы. Вам отсюда тоже не выйти. Вот и решайте — хотите, чтобы вас забрали и увезли, или хотите обратно к своим?»

Мы кивнули.

«Вы можете лазить?»

Мы кивнули снова.

«Значит так. На лифте вам подниматься нельзя. Поднимайтесь по лестнице. Дойдете до двери. Эта дверь — во двор, где стоят машины для перевозки покойников. Ворота закрыты, но двор обнесен железной решеткой. Через эту решетку вы перелезете на улицу. Сможете это сделать?»

Мы с Гюнтером переглянулись. «Конечно, сможем», — сказал я. — «Когда нам нужно уходить?»

«Немедленно. Если пойдете назад по коридору, тут вас и сцапают».

«На какую улицу мы вылезем?»

«На Шульштрассе».

«Там полно народу, могут заметить, что мы лезем через забор».

«Ваше дело. Больше я ничем не могу помочь».

Мы опять переглянулись. Что у этого санитара на уме? Может, он хочет устроить нам ловушку? Неужели нет никакого другого выхода? Ведь это будет выглядеть как бегство, и там, на улице, нас уже ждут, чтобы схватить? Я убежден — мой друг думал то же самое. Но если все действительно так, как говорит этот санитар, если я не попытаюсь убежать отсюда, то я никогда больше не увижу свою мать.

«Поторапливайтесь. Скоро они начнут обшаривать двор, и тогда вам не выбраться!»

Он подошел к двери, осторожно открыл ее и выглянул в коридор. «Сорвите это», — показал санитар на желтые звезды на нашей одежде. Потом выразительно поглядел на открытую дверь — давайте, топайте отсюда, — и исчез в полутьме коридора. Было слышно, как он спускается по лестнице.

Мы влезли на железную ограду с таким видом, как будто нам просто интересно. Просто двое мальчишек залезли на забор. Мы даже повисели немного наверху — мол, а не спуститься ли нам обратно? И спрыгнули с забора на улицу. Проходившие мимо люди не обратили на нас внимания, никто не сделал нам замечания. Мы пожали друг другу руки. Повернувшись, Гюнтер нерешительно пошел вверх по улице. Больше я его никогда не видел.

Придя домой, я увидел — мать паковала вещи.

«Зачем ты это делаешь?» — спросил я.

«В любой момент нам нужно будет уходить отсюда. Я беру с собой только самое необходимое».

«А почему бы нам не остаться здесь? Может быть, мы пойдем к Лоне?»

«Ни в коем случае! Они ведь знают, что мы с ней дружим!

Она же была компаньоном отца! Нас в первую очередь будут искать у Лоны. Да сейчас и она тоже не знает, у кого мы могли бы укрыться».

Но ведь Лона обещала отцу заботиться о нас! Она как-то сказала мне — если возникнет необходимость, она найдет для нас убежище. Когда я рассказал матери об этом разговоре, она только невесело усмехнулась и промолчала. И продолжала паковать вещи.

Я не говорил матери о том, что произошло со мной в больнице. У меня не хватило на это смелости. Зато я сказал, что не хочу, чтобы меня отправляли куда-нибудь одного.

«Я тоже не хочу», — ответила мать. — «Но сейчас нужно использовать любую возможность для спасения. Лона познакомила меня с одним человеком, который сможет нам помочь. Во всяком случае, она так думает. Этот человек коммунист и готов помогать каждому, кто не согласен с нацистами или кого они преследуют».

«Ты мне об этом никогда не рассказывала».

«Откровенно говоря, мне и сейчас не нужно было это делать. Кроме того, этот парень довольно глуп, да к тому же ужасно задается, как будто и в самом деле в ближайшее время собирается начать решительные действия против Гитлера и его банды и сразу с этим покончить».

«Но может, он действительно поможет нам спрятаться? Хотя бы на первое время. А там будет видно».

«Больше я об этом человеке не слышала. Несколько раз я спрашивала о нем у Лоны. А она каждый раз отвечала — если у него появится какая-нибудь идея, он даст о себе знать. Да я особо и не надеюсь — этот тип не похож на серьезного человека. А женщинам он может луну с неба пообещать, если они — как бы тебе сказать… — если они ему понравятся».

«Ну конечно, ты ему понравилась — ведь ты же такая красивая!» — сказал я.

«Ах ты, маленький сводник!» — рассмеялась мать. — «Неужели ты думаешь, что я собираюсь за него замуж? У него где-то в пригороде хозяйство, он выращивает овощи. А с этого можно жить даже без продовольственных карточек. Сейчас, сказал знакомый Лоны, он не может взять нас к себе — гестапо следит за ним, там знают, что он состоял в коммунистической партии. Но у него найдутся друзья, которые смогли бы спрятать нас у себя. А если так и дальше пойдет и обстановка станет еще более хаотичной, то он, мол, сможет тогда не опасаться гестапо — у гестапо наверняка будут другие заботы. Знаешь, я не поверила ни одному его слову. Тоже мне, коммунист-предприниматель! Да он

просто хвастун, вот он кто! Он все время спрашивал, нет ли у меня в запасе денег. Если есть, то тогда, наверное, можно что-то сделать — за деньги кто-нибудь у себя спрячет».

Я спросил мать — не думает ли она, что он, наверное, тоже хотел бы получить с нее деньги.

«Да нет, он просто болтун», — покачала она головой. — «Он женат, и на жизнь им с женой хватает».

Она снова засмеялась. Я любил, когда мать смеялась. Когда ее что-то смешило, она смеялась безудержно, от всей души.

Отец часто смешил ее. Внешне они совершенно не подходили друг другу — мой невзрачный отец и моя красивая мать. Он был ниже ее ростом, с выпяченной нижней губой. У него были серые глаза и жидкие пепельные волосы.

Однажды я спросил мать, почему она вышла за него замуж. И она рассказала, что была тогда уже помолвлена с другим, очень богатым молодым человеком. Отец возник в ее жизни внезапно, когда она и ее жених праздновали помолвку. Его привел в дом один из знакомых жениха. Отец был неистощимым шутником и мог легко развеселить любую компанию.

«Он сидел напротив нас за длинным, покрытым белой скатертью столом и рассказывал одну смешную историю за другой. Он рассказывал о жизни еврейских местечек и их обитателей. И говорил, что авторы этих историй — Кафка, Толстой, Тургенев, Марк Твен. Все слушали его, забыв о еде. И смеялись, смеялись до колик в животе. И никто не удивлялся, почему, например, Марк Твен обладает таким специфическим еврейским юмором. А отец твой потешался в душе над необразованностью сидящих за столом людей. Он был гений, твой отец.

Я смотрела на него не отрываясь, забыв обо всем на свете. У меня было ощущение, что все эти придуманные им истории он рассказывает только для меня одной. Я вдруг поняла — это моя судьба, больше мы не сможем друг без друга. Гости, казалось, вообще ничего не замечали. Внезапно он протянул мне через стол руку. Я подала ему свою. И, не разжимая рук, — гости вынуждены были пригнуть головы к столу — мы пошли к выходу. Ах, каким удивительным был твой отец, этот маленький, с виду такой невзрачный человек! Просто удивительным!»

Она заплакала.

«Я его очень, очень любила. Иногда я думаю — если бы я не встретила его, я бы сейчас в полной безопасности, обеспеченно и без забот жила в Америке».

«Но тогда ты бы никогда не познакомилась со мной!»

«Ты прав», — обнимая меня, ответила мать. — «Что значит

Америка по сравнению с тобой?»

На следующее утро я проснулся от непривычного шума. Мать стояла у окна и смотрела во двор. Заметив, что я уже не сплю, она обернулась в мою сторону:

«Они выводят людей из садовых домиков!»

Спрыгнув с кровати, я подбежал к окну. Одетые в черную форму, в стальных касках и со штыками наперевес, эсэсовцы подгоняли людей, торопили их.

«Нам надо побыстрее одеваться», — сказал я. Обернувшись, я оцепенел от ужаса: мать сидела на кровати и беззвучно плакала, глядя перед собой. Она как-то сразу постарела и выглядела бесконечно уставшей.

«Мама, одевайся, пожалуйста. Нам надо уходить».

«Куда?» — истерически закричала она. — «Куда нам идти? Ты разве знаешь, куда мы можем идти?»

Она кричала как безумная. Такой я никогда ее не видел. Передо был совершенно чужой, незнакомый человек. И я ударил ее. Ударил изо всех сил. По лицу. В тот момент я не сознавал, что делаю, но в следующую секунду понял — я совершил что-то ужасное.

А она сразу успокоилась и безо всякого возмущения спросила:

«Ты ударил мать?»

От ужаса я ничего не мог ответить. Мать легко провела рукой по моим волосам. «Одеваемся. С собой ничего не берем. Оставь все как есть. Только деньги и мои украшения. Быстрей, быстрей, быстрей!»

Она засовывала все в сумку, одновременно одеваясь и торопя меня.

Мать сорвала с моего пальто и курточки желтую звезду. То же самое она проделала со своим костюмом и зимним пальто. Мы бросились мимо кухни к выходу из квартиры. Дверь в комнату соседей по квартире была открыта, они могли нас видеть. Но они не показывались. В кухне тоже никого не было. Но в эту минуту мне было не до соседей — все мысли были сосредоточены на одном: нам нужно уйти, и поскорее. В доме, где мы жили, была очень красивая деревянная лестница и исправно работавший лифт. Но работал этот лифт медленно. Как только мы вышли из квартиры, я сразу же нажал кнопку вызова.

Мы услышали, как лифт пришел в движение. Но как медленно, как медленно!

Перегнувшись через лестничные перила, мать напряженно вглядывалась вниз.

И они появились. Мы слышали, как загрохотали их сапоги.

Я все еще держал палец на кнопке. «Чертов антисемит!» — шепотом выругал я медленно поднимающийся лифт.

«Ты что-то сказал?» — спросила мать. Она казалась совершенно спокойной.

«Лифт никак не поднимается!»

«Посмотрим, кто будет здесь раньше», — усмехнувшись, прошептала она.

И в этот момент лифт пришел. Войдя в лифт, мать нажала на кнопку первого этажа и крепко прижала меня к себе:

«Вот видишь, лифт вовсе не антисемит!»

Выйдя из лифта на первом этаже, мы услышали — они уже были наверху и барабанили в двери. У входа в дом стояли мужчины в черной форме. «Что здесь происходит?» — обратилась к ним мать.

Человек в черной форме мельком взглянул на нее:

«Не стойте здесь, проходите!»

Нам не нужно было повторять это дважды. И тут моя мать сделала нечто совершенно неожиданное. У меня и сейчас начинается сердцебиение, стоит мне об этом вспомнить.

Мы уже миновали двор и вышли на улицу. Внезапно мать выпустила мою руку и пошла назад к дому. Подойдя к входной двери, она заглянула в подъезд и спросила что-то у человека в черной форме. Тот отрицательно покачал головой, и мать медленно, неспеша вернулась ко мне. Я никогда не интересовался, что она сказала ему или о чем его спросила.

Мы спустились вниз по Айзенахерштрассе, пересекли Груневальдштрассе и пошли дальше. На Розенхаймерштрассе мы увидели толпу людей.

Мы бессознательно подошли ближе. Смешавшись с толпой, мы протиснулись в первые ряды, чтобы увидеть, что происходит.

Розенхаймерштрассе была улицей, заселенной по преимуществу евреями. И теперь ее обитателей — мужчин, женщин, детей — люди в черных формах выводили из домов и грубо заталкивали в стоявшие наготове грузовики с открытыми кузовами. Из одного из домов вместе с другими вышла старая женщина. Она вела за руку девочку лет шести.

Внезапно малышка вырвалась и побежала назад. «Я хочу к маме, я хочу к маме!» — не переставая, кричала она.

Один из эсэсовцев прицелился и выстрелил. Девочка упала. Двое эсэсовцев подошли к ней, схватили и понесли к грузовику, куда уже забралась ее бабушка. Девочка молчала и только сжимала руками колено — очевидно, ее ранило в ногу. Задний борт кузова грузовика закрыли, и он тронулся.

«Как он смог выстрелить в такую маленькую девочку! Он же

легко мог ее догнать!» — громко сказала мать.

«Да ведь она же убежала!»

Женщина, стоявшая рядом с матерью, пристально посмотрела на нее.

«Пойдем отсюда!» — потянул я мать.

Меня внезапно охватил страх. Я был потрясен не только жестоким хладнокровием людей в черных формах, но и жестокостью, прозвучавшему в голосе этой женщины.

Мы вернулись на Груневальдштрассе, миновали Мартин-Лютер-штрассе и Литценбургерштрассе. Перед кинотеатром «Паласт» мы остановились и вошли туда.

В кинотеатре начался послеобеденный сеанс. Шел «Золотой город» с Кристиной Зедербаум в главной роли — почему-то в каждом фильме она обязательно тонула. Тогда этот фильм показался мне очень захватывающим, поэтому после войны я просмотрел его еще раз, но на этот раз нашел его довольно безвкусным.

После сеанса мы прошли через Тиргартен к Бранденбургским воротам. Мать считала, что нам нужно поехать поездом в Экнер или Штраусберг. Там во время воздушных налетов мы могли укрыться в траншеях, вырытых для защиты от осколков.

Такие траншеи должны были устраивать все владельцы садовых участков, если их дома находились далеко от настоящего бомбоубежища. Эти траншеи были снабжены навесами, опирающимися на деревянные балки. В случае неожиданной бомбардировки в такой траншее мог укрыться любой человек, оказавшийся поблизости. «Там никто не потребует у нас документов, да и лишних расспросов тоже можно избежать. И уйти незаметно».

Мы уже подходили к вокзалу, когда завыла сирена воздушной тревоги.

Поблизости были бомбоубежища, и мы могли бы укрыться в одном из них. Но мы спрятались в подъезде какого-то дома.

В старых берлинских домах под лестницей, ведущей с первого этажа наверх, обычно есть небольшая площадка. Если пригнуть голову, там можно спрятаться.

Мать крепко прижала меня к себе. Мы слышали, как жильцы дома спускались вниз по лестнице, спеша укрыться в подвале или ближайшем бомбоубежище.

Иногда мы видели чьи-то ноги. Если ноги вдруг почему-то останавливались, мы замирали, боясь, что нас обнаружат.

Тем временем стало совсем темно. В доме, наконец, все затихло. А потом началось. Сначала вдалеке загремели зенитные орудия противовоздушной обороны. Затем зенитки загрохотали

где-то рядом, и мы услышали нарастающий гул моторов. Гул становился все ближе, превращался в рев, заглушающий грохот зенитной канонады.

«Боже мой», — думал я, — «там, в этих самолетах — люди в другой военной форме, и говорят они на другом языке, а мы сидим здесь внизу, и где-то рядом — подлая банда убийц с их подлым дядюшкой Адольфом. И сейчас на всю эту подлую банду сбросят бомбы. Но вместе с ними можем погибнуть и мы. Да, мы тоже можем погибнуть на этой площадке под лестницей. И никто не будет знать, что мы — евреи. Если жильцы дома, которые спряталась в подвале, останутся живы, они извлекут наши трупы из-под развалин и похоронят в братской могиле, не зная, что похоронили евреев в одной могиле с арийцами. И тем самым опозорят эту арийскую могилу. Вот будет потеха!»

На меня напал приступ безудержного смеха. Мать еще крепче прижала меня к себе. «Прекрати!» — прошептала она.

Внезапно раздался страшный грохот. Видимо, бомбили очень сильно.

«Янки шутить не любят», — думал я. — «Они вам покажут! Ваши щегольские мундиры разнесет в клочья, да и вас заодно!»

Я и сейчас хорошо помню охватившее меня тогда ощущение мстительной радости. В тот момент я совсем не думал, что тоже могу погибнуть — это вдруг стало мне безразлично. После каждого бомбового удара мне хотелось аплодировать. «Ну еще, еще разок!» — повторял я про себя.

Из этого состояния меня вывела мать. «Они приближаются», — прошептала она и прислушалась. — «Это американцы с их громадными самолетами. Если нам не повезет, мы не выберемся отсюда живыми».

Она взглянула на меня. «Сейчас ты выглядишь почти моим ровесником. Но забота о нашем спасении — мое дело. Тебе не надо об этом беспокоиться. Все будет хорошо. Как-нибудь мы устроимся. Я обещаю тебе».

Мать казалась такой волевой, такой сильной. Я верил каждому ее слову.

Грозящая нам опасность сделала ее особенно энергичной и предприимчивой. И такой она оставалась до конца войны.

Разрывы бомб становились все слышнее — бомбы рвались где-то совсем близко. Беспрерывно грохотали зенитки. Внезапно рвануло так, что все задрожало — стены, потолок, лестница. В подъезде стало светло как днем.

«Сейчас этот дом развалится», — подумал я.

«Наверное, бомба попала в соседний дом или куда-то рядом», — сказала мать.

Тогда я еще не мог отличить на слух звук разрыва тяжелой бомбы от разрыва авиационной мины. Позднее я узнал — перед тем как разорваться, бомба «свистит» гораздо дольше, мина же взрывается почти сразу.

Воздушный налет продолжался бесконечно долго. Мать поглядела на свои маленькие часики — подарок отца, с которым она никогда не расставалась.

«Когда у американцев бомбы закончатся? Похоже, они не спешат улетать», — сказала она. Стало совсем тихо, однако отбоя еще не было. «Нужно уходить отсюда, пока не вернулись жильцы», — снова прошептала мать. — «Но с другой стороны, будет тоже плохо, если кто-нибудь нас на улице заметит.

Подозрительно — женщина с сыном вышли на улицу до отбоя».

Я пожал плечами.

«Надо сматываться — на улице опять совсем темно. Вряд ли с нами может что-то случиться. Не стоит ждать, пока из подвала выйдут люди и нас тут увидят. Они тут же вызовут полицейских. И тогда уж нас обязательно арестуют».

Но вслух я не сказал ничего — матери надо уже самой понимать, чем она рискует.

Наконец прозвучал сигнал отбоя. Мать схватила сумку и, опередив меня, выбежала из подъезда. Вокруг все горело. Пылающие перекрытия домов рушились на асфальт. Тут и там раздавались крики:

«Осторожно, осторожно! Крыша падает!» В темноте что-то потрескивало и шипело. Никто не знал, что может произойти в следующее мгновение — в любом месте могло что-нибудь обрушиться или взорваться. На улице появились первые пожарные машины с выключенными фарами. «Немедленно уходите с улицы!» — кричали пожарные. — «Или жить надоело?»

Быстро, как только могли, мы побежали к подъезду соседнего дома.

Повсюду из домов выходили люди, гадали — какую часть города бомбили на этот раз больше всего.

«Больше всего — тут, у нас», — говорили одни.

«Да нет», — возражали другие. — «Взгляните на небо там, позади Александерплац. Больше всего бомбили Пренцельберг и Франкфуртераллее, почти до Лихтенберга».

«А что же наши-то — ведь надо было сбить эти американские самолеты, пока они здесь все не разбомбили!»

«Какая разница! Тогда бы самолеты упали на город вместе со всеми бомбами и все равно бы разорвались!»

«А ведь толстый Герман обещал, что ни одна вражеская бомба

не упадет на Германию!»

«Эти обещания — просто брехня, выеденного яйца не стоят!»

Все засмеялись. Сгорбившись, стараясь не привлекать к себе внимания, мать стояла рядом с собравшимися. «А вы откуда?» — спросил ее кто-то.

«Из Лихтенберга», — ответила мать. — «Мы были в гостях тут, недалеко. Надеюсь, наш дом уцелел».

«Как же вы собираетесь добраться до дома?»

«Мы подождем и поедем с первой электричкой».

«Что же, вы так и будете торчать здесь всю ночь? Зайдите-ка лучше к нам. Чашка кофе — правда, жидкого — у нас тоже найдется. Да и парнишке вашему надо бы поспать немного».

Рядом с нами, сострадательно глядя на меня, стояла полная темноволосая женщина.

«Нам неудобно затруднять вас», — сказала мать. — «Ведь скоро, наверное, опять будет электричка. А в школу он завтра не пойдет, нечего и думать. Завтра выспится».

«Выспится, если ваш дом еще цел», — вмешался в разговор муж женщины. — «Подождете у нас, а будет электричка, вот тогда и поедете».

Карл Хотце — так звали того коммуниста-огородника — и в самом деле помог нам. На следующее утро мы на электричке поехали в Лихтенберг. (Мать ночью назвала почему-то именно это место!). Люди, у которых мы провели остаток ночи, захотели непременно проводить нас до вокзала. Мать позвонила Лоне. Та сразу же сняла трубку. Теперь она называла мою мать «фрау Гемберг».

«Где вы пропадали все время? Я уже думала, не случилось ли с вами чего-нибудь — ведь бомбят!»

Лона хотела встретиться с нами в нашем любимом кафе. Если, конечно, его не разбомбило.

Еще раньше Лона и мать договорились, — назначая по телефону встречу друг с другом, «нашим любимым кафе» будут называть станцию метро Крумме-Ланке. От Лихтенберга до Крумме-Ланке мы ехали долго. Нам повезло — после бомбардировки в городе царил хаос, и поэтому документы у нас никто не проверял.

На перроне мы увидели Лону. Она молча показала нам на противоположную сторону платформы — нам надо перейти туда. Вслед за Лонной мы сели в поезд, едущий в центр города. На следующей остановке Лона сошла. Мы тоже вышли и пошли за ней вниз по улице. Внезапно она остановилась, оглянулась — не следит ли за ней кто-нибудь — и наконец заговорила с нами. Она казалась очень взволнованной.

«Куда вы пропали? Я уже думала, что вместе с другими евреями вас повезли на Гроссе-Гамбургерштрассе, и даже ездила туда».

«Уж тогда ты ничем не смогла бы нам помочь», — ответила мать.

«Но у меня с собой была громадная сумка с продуктами», — взяв меня за руку, сказала Лона.

«Хотце нашел для вас место. Думаю, вам придется что-то заплатить. Но во всяком случае, в ближайшие несколько дней вы не будете на улице». — продолжала Лона. — «Хозяйка квартиры — не коммунистка. Она русская и сама бежала когда-то от коммунистов. В этом доме она живет уже двадцать три года. Роза (она теперь называла мать „Роза Гемберг“, и я ненавидел это имя), эта женщина живет одна. Наверное, у нее с Хотце что-то было. Советую тебе не рассказывать ей лишнего».

Мы шли довольно долго до станции метро Оскар-Хеленехайм. Спустившись в метро, мы доехали до Виттенбергплац. Оттуда мы опять пошли пешком до Савиньиплац и сели в электричку. На следующей остановке мы вышли, пешком дошли до Курфюрстендамм и свернули на Гекторштрассе. Лона называла это «заметать следы». Я и сегодня помню, как болели тогда мои ноги. Мне хотелось только одного — лечь где-нибудь и уснуть. Все вдруг стало как-то безразлично. Даже если бы нас арестовали и привезли на Гроссе-Гамбургерштрассе. Лишь бы дали хоть какой-нибудь матрац. А кто знает, как нам будет у этой русской…

Людмила Дмитриева обладала аристократической внешностью. Узкое лицо, голубые миндалевидные глаза, темные волосы (наверное, крашеные — кожа была довольно морщинистой). У нее были тонкие, красиво очерченные губы. Она непрерывно курила сигареты, вставленные в черный мундштук с длинным серебряным наконечником. Дымя сигаретой, она неспешно провела нас по квартире.

Это была типично берлинская квартира. Из большой прихожей, повернув направо, можно было попасть в анфиладу просторных комнат, отделенных одна от другой раздвижными дверьми. Больше всего меня поразил музыкальный салон — там стоял огромный рояль, на полу был большой ковер. Другой мебели в комнате не было. Анфилада комнат заканчивалась выходившей в коридор дверью. В этот же коридор выходила комната для прислуги, ванная и еще одна маленькая комната. Коридор заканчивался дверью с матовым зарешеченным стеклом. «Это второй вход в квартиру, для прислуги», — сказала Дмитриева.

Она взглянула на мать. У нее был очень низкий голос, глаза смотрели холодно и равнодушно. Мать слегка улыбнулась и кивнула с таким видом, как будто в лучшие времена у нее тоже было что-то подобное.

«Вы можете расположиться в комнате для прислуги, а ваш сын — в маленькой комнате. Конечно, вы можете поменяться друг с другом, но я думаю — вам разумнее ночевать рядом с дверью в основные комнаты. Я предполагаю, что у вас более чуткий сон, чем у этого молодого человека».

Дмитриева в первый раз посмотрела на меня. Посмотрела тем же равнодушным, холодным взглядом, которым до этого смотрела на мою мать.

Взгляд этой женщины испугал меня, но голос и акцент меня очаровали. Она казалась существом из иного мира.

На Лону, видимо, Дмитриева тоже произвела сильное впечатление. Мать же выглядела совершенно невозмутимой. Она сказала, что спит довольно крепко, к тому же она — взрослый человек и поэтому нуждается в большей комнате, чем ее сын, но, очевидно, предложение госпожи Дмитриевой имеет уважительные причины, и она, конечно, возражать не будет. Людмила Дмитриева кивнула в знак согласия и, окутанная сигаретным дымом, направилась обратно в музыкальный салон. «Дверь слева в прихожей ведет в мои личные апартаменты. У меня часто бывают гости. Я прошу вас ни при каких обстоятельствах в эти комнаты не заглядывать. Кроме того, здесь, в музыкальном салоне, часто устраиваются концерты, и тогда вам нужно оставаться в ваших комнатах и сидеть там как можно тише. В такие вечера я буду запирать двери в ваши комнаты. Ключи будут находиться у меня. Только тогда, когда уйдут все гости, я опять открою ваши двери. Это необходимо, потому что среди гостей иногда могут быть господа из партии. Иногда», — подчеркнула она. В первый раз я увидел подобие улыбки в ее глазах.

«Теперь этот молодой человек может идти к себе в комнату, а мы должны обсудить некоторые финансовые дела».

С этими словами она отпустила меня.

Речь Дмитриевой всегда была такой, и в ее присутствии мы тоже начали так говорить. Мать иногда выражалась так изысканно, что у нее, по ее собственным словам, «язык спотыкался». Когда мы оставались одни, она копировала акцент Людмилы, а я покатывался от смеха. Она тоже говорила, коверкая гласные в словах. У меня и по сей день сохранилась скверная привычка подсмеиваться над плохим произношением.

И все же это был, пожалуй, самый приятный, хотя и короткий,

период нашего подпольного житья. Насколько было можно вообще говорить тогда о чем-то приятном. Мать быстро подружилась с Людмилой. Дмитриева была щедрым человеком, когда дело касалось денежных расчетов. Они с матерью вели общее хозяйство, в которое каждый вносил столько, сколько мог. О нашем положении мы вспоминали только во время вечерних концертов. В такие вечера мы сидели очень тихо, вслушиваясь в приглушенные звуки рояля. Иногда к роялю присоединялись скрипка или альт. И всегда исполнялась классическая музыка.

Однако заканчивался концерт каким-нибудь нацистским гимном. Когда перед началом воздушного налета начинала выть сирена, гости с недовольными возгласами спускались в подвал или направлялись в бомбоубежище. Мы с матерью оставались в квартире одни и ждали начала налета.

Говорят, ко всему можно привыкнуть. Но к воздушным налетам я так и не привык. Грохот зенитных орудий, удары бомб, свист авиационных мин. Затем — внезапное короткое затишье, и слышнее становился гул моторов американских «летающих крепостей». И снова — грохот зениток и разрывы бомб. Все сливалось в какую-то страшную, адскую музыку. Сидя в нашей комнатушке, я пытался оставаться спокойным, старался держать себя в руках. Это мне хорошо удавалось. Во всяком случае, мать не делала попыток успокоить меня. Но внутренний холод, внутренняя дрожь охватывали все мое существо и еще долго не проходили после конца налета. Иногда я даже начинал стучать зубами, и тогда мать думала, что я простудился и ей нужно срочно принимать какие-то меры против моей простуды.

Наконец звучал отбой, и мы слышали, как Дмитриева отпирает дверь квартиры. Она звала нас в музыкальный салон и спрашивала, как мы перенесли налет. Потом направлялась на кухню и готовила чай.

Свой чай она запивала большим количеством водки. Матери же водки никогда не предлагала. Скупилась, наверное. И чем больше она пила, тем веселей становилась и начинала рассказывать о России, о царе, о придворной жизни. Дмитриева была гофдамой, состояла на службе при царице. Она рассказывала нам о грандиозных балах, устраиваемых при дворе, об оргиях с шампанским и икрой — хорошенькие придворные фрейлины голым задом садились в наполненные икрой блюда, а молодые придворные офицеры эту икру потом с них слизывали. «Вот это была жизнь», — со вздохом говорила она, глядя на меня блестящими глазами.

Я находил эти рассказы отвратительными, а Людмилу считал очень противной. Поэтому постоянно изводил мать вопросами —

когда же наконец Карл Хотце заберет нас отсюда.

Однажды после очередного вопроса мать внимательно посмотрела на меня и сказала:

«Молись Богу, чтобы мы оставались тут еще долго».

«Но ведь мы здесь в самом центре города и его очень сильно бомбят. Когда-нибудь бомба наверняка попадет и в этот дом. А в пригороде можно укрыться в траншее под навесом».

«Бомбят везде».

«Пригород бомбят гораздо реже».

«А почему ты думаешь, что Хотце захочет устроить нас в пригороде? Если он вообще захочет».

«Ты же говорила — он сам живет в пригороде».

«Почему ты думаешь, что он сможет поселить нас там? Может быть, он хочет оставить нас здесь до конца войны. Кто знает? Не должно же с нами случиться что-то еще худшее».

Она улыбнулась, обняла меня. Я не стал ей возражать. Матери было хорошо здесь. Она считала, что именно здесь лучше всего пережить войну. Другой возможности она просто не видела.

Людмила была блестящей пианисткой. Шопена она могла играть бесконечно.

Вначале она оставляла открытой дверь музыкального салона, и мы могли только слышать музыку. Мне это очень нравилось. Позднее она стала приглашать нас в музыкальный салон, ставила там два стула, наливала нам чай. Мы ставили наши чашки на пол. Мать делала мечтательные глаза и разыгрывала светскую даму.

Я же очень скучал. Иногда, наигрывая что-нибудь, Людмила рассказывала о своей жизни. По какой-то причине — я думаю, это была несчастная любовь — она оставила службу при дворе и вышла замуж за богатого еврея по фамилии Эпштейн, с которым уехала в Берлин. Она жила с ним в этой квартире, а в начале тридцатых годов развелась. При разводе Эпштейн оставил ей приличную сумму. Он уехал в Америку и вплоть до начала войны присылал ей деньги и ценные подарки.

Она рассказывала об этом с такой легкостью, так беззаботно и даже весело, что мать начинала безудержно смеяться. Но мое лицо от этих рассказов всегда становилось мрачным. И однажды после очередной веселой истории про Эпштейна Людмила спросила, почему во время ее рассказов у меня такое печальное выражение.

«Мне его жаль», — сказал я.

«Почему?»

«Я и сам не знаю — просто жаль его».

Людмила засмеялась и ударила по клавишам. «Это из

фортепианного концерта Чайковского», — объяснила она.

Проснувшись однажды ночью, я увидел Людмилу, стоявшую возле моей кровати. Я ужасно испугался и чуть не закричал от страха, но она быстро зажала мне рот ладонью. От нее пахло водкой и табаком. Заметив, что мой испуг прошел, она села на край кровати и спокойно посмотрела на меня.

«Не мог бы ты пойти ко мне ненадолго? Знаешь, у меня тоже был маленький мальчик. Когда он умер, ему было столько же лет, сколько тебе. Я его очень любила. Мы обычно лежали вместе в одной кровати, и мальчику нравилось, когда перед сном я рассказывала ему разные истории. Хочешь, я расскажу тебе сказку?»

«Мне уже двенадцать лет».

«Я знаю».

«Мне скоро будет тринадцать».

Я не знал, как от нее отделаться.

«Я же тебе сказала — моему мальчику было столько же, сколько тебе».

Она становилась все более нетерпеливой.

«Сегодня ночью я не могу быть одна — у меня сегодня одна очень печальная дата. Понимаешь? В этот день я уговорила мужа дать мне развод».

«Почему?»

«Я расскажу тебе. Я хотела бы рассказать это каждому — пусть меня поймут правильно».

Она была очень пьяна. Любопытство мое становилось все сильнее, но страх не отпускал меня. Хотя немного успокаивало, что мать спит рядом, в соседней комнате. Людмила мягко, но настойчиво тянула меня из кровати. С большой неохотой я подчинился. Что делать? Закричать? Разбудить мать? Какие последствия это будет иметь для нас обоих? Дмитриева просто выставит нас на улицу.

«Ладно», — подумал я. — «Не прячет же она пистолет под подушкой!»

При мысли об этом я вдруг рассмеялся. Людмила снова зажала мне рот ладонью.

«Что это тебя так рассмешило?» — спросила она.

Я ответил, что не уверен — не спрятан ли у нее под подушкой пистолет.

«Ах вот оно что!» — рассмеялась Дмитриева. Крадучись, мы прошли мимо комнаты, в которой спала мать, и через музыкальный салон вошли в комнату Людмилы.

Потом мы, согреваясь, лежали в ее постели. Комната Людмилы была на удивление скромно обставлена. Правда,

кровать была широкая. Сегодня я назвал бы эту комнату с ее спартанской обстановкой жилищем холостяка. Комната, вероятно, не отапливалась, в ней было холодно и неуютно, да и лежать в постели с Людмилой было довольно противно.

Неожиданно она захотела знать, обрезан ли я. При этом она по-девчоночьи хихикала. Я радовался, что в комнате было темно и я не видел ее лица.

Она снова заговорила о своем муже — он был тоже обрезан, и ей это ужасно нравилось. Она хотела бы спать только с обрезанными мужчинами. Но разве найдешь такого в сегодняшней Германии? Время от времени, не переставая говорить, она отхлебывала от стоящей рядом с кроватью бутылки. Я попытался отодвинуться на край кровати, но скоро потихоньку заполз обратно под одеяло — Людмила, сознательно или нет, придерживала его, и я страшно замерз.

Внезапно она придвинулась ближе и прижалась ко мне. «Да ты совсем закоченел», — сказала она и принялась ласкающими движениями массировать меня. Потом я почувствовал ее руку на моем члене. «Нравится?» — спросила она. Голос ее слегка дрожал. Я ничего не ответил. Мне было противно и одновременно хорошо. Я молчал и позволял ей действовать дальше. Лицо ее мне видеть не хотелось. Было совсем тихо. Людмила взяла мою руку и стала ею гладить себя по телу там, где она хотела.

Наконец она расслабилась и опять заговорила девчоночьим голосом:

«Ты уже совсем мужчина, маленький мужчина».

«Можно, я пойду к себе в комнату? Я устал, да и мама иногда ночью приходит посмотреть, как я сплю».

«Я думаю, она спит крепко», — хихикнула Людмила. — «Она сама однажды сказала это при тебе».

«Наверное, она сказала это, чтобы успокоить вас. Кто сейчас может спать спокойно?»

«Я вижу, ты умен не по годам. Ладно, поцелуй меня хотя бы!» — сказала она. В комнате стало светлее, и теперь я видел ее лицо.

«Только бы уйти», — думал я. — «Поцеловать ее, и все, и скорей отсюда».

Я уже вылез из кровати. Людмила спокойно смотрела на меня. Нагнувшись, я поцеловал ее в щеку.

«Поцелуй меня по-настоящему», — потребовала она.

Я поцеловал ее в губы. Меня чуть не стошнило. Быстро, стараясь не шуметь, я выскользнул из комнаты. Уже выходя, я снова услышал ее негромкое хихиканье.

Только бы проскочить без происшествий мимо маминой

комнаты! Как в тумане добрался я до своей постели. Скоро я заснул и спал почти до полудня.

Меня разбудила мать:

«Одевайся быстрее — дневной налет!»

Однако звука сирены слышно не было.

«Ну, что же ты? Давай одевайся, быстро, быстро!»

«К чему такая спешка? Не все ли равно, черт побери, буду я одет или нет? Ведь если в меня попадет, от меня мало что останется!» — закричал я.

Мать изумленно уставилась на меня:

«Это что такое? Как ты со мной разговариваешь?»

Она возмущенно повернулась и пошла к себе в комнату.

Не слишком ли громко мы кричали? Ведь если бы кто-нибудь услышал нас и понял, что в квартире, кроме Людмилы, есть еще люди, что было бы с нами? Да и Людмилой тоже. Нам повезло — все было тихо. Только где-то далеко слышались залпы зениток. Очевидно, на этот раз бомбили другую часть города. Наконец дали отбой, и в мою комнату вошла мать. Она плакала. И держалась со мной холодно и даже отчужденно.

«Ты никогда не разговаривал со мной так», — начала она. — «Твой отец этого бы не потерпел. Как ты можешь разговаривать с матерью в таком тоне? Отвечай!»

Я не отвечал, только отводил глаза. Да и что я мог ответить? При воспоминании о прошедшей ночи мне становилось дурно. Я злился на себя самого за то, что после всего происшедшего чувствовал себя вполне нормально.

«Должно быть, я порядочное дерьмо», — думал я. От этой мысли мне становилось легче. Я не боялся рассказать матери о ночном происшествии — мне просто не хотелось огорчать ее еще больше.

«Ты же можешь мне сказать, что тебя так беспокоит. Совершенно естественно — дети в твоем возрасте тоже страдают от депрессии, если они вынуждены так жить. Расскажи о своих переживаниях, поделись со мной, иначе тебе будет все тяжелее. Ты должен выговориться. Ну, сынок, поговори со своей мамой. Что тебя так пугает?»

Она придвинулась ближе ко мне.

«Боже мой», — думал я, — «какое счастье, что я после этого вымылся и от меня ничем не пахнет!».

«Так что же все-таки случилось?»

Она обняла меня за плечи и прижала к себе. И я вдруг заплакал и между всхлипами говорил, говорил, говорил… Я даже не понимал, что говорил, я знал только одно: все, о чем я говорил тогда — ложь, ложь и ложь. Я говорил о бомбах, о гестапо, о том,

что почти не выхожу из этой чертовой квартиры на улицу, на воздух. Это была истерика, самая настоящая истерика. Впрочем, в подобной ситуации вполне естественная. Мать тихонько покачивала меня, как младенца. Она обещала мне сделать все, что в ее силах, для того, чтобы мы пережили войну и чтобы со мной ничего не случилось Я помню лишь, что ужасно устал, лег в постель и сразу заснул. Разбудила меня мать. В руках у нее была тарелка капустного супа. «Вот, чашка молока», — с улыбкой сказала она, подражая польско-еврейскому выговору своей матери — моей бабушки. Когда мы с братом были маленькими, бабушка приезжала к нам. По утрам она будила нас и давала каждому большую чашку молока. «Чашка молока» стала ходячей поговоркой в нашей семье.

«Бабушка умерла», — сказал я. Мать оцепенела.

«Откуда ты знаешь?» Она старалась сохранить самообладание.

«Бабушка умерла», — повторил я. — «Ее забрали эсэсовцы. Ведь и отца тоже больше нет. От него ведь мало что осталось».

Мать поставила тарелку на стул и вышла из комнаты. Меня охватило раскаяние, я готов был убить себя за причиненную ее боль. И этого я никогда не прощу себе.

Прошло еще несколько недель. За это время мне пару раз «разрешалось» лечь в постель к Дмитриевой. В тот поздний вечер мы с матерью опять были одни в большой людмилиной квартире. Бомбы рвались где-то совсем недалеко.

Внезапно в доме раздался страшный треск. Грохнул взрыв, и на какое-то мгновение наступила тишина. Затем мы услышали крики. Оконные жалюзи были разорваны в клочья, осколки стекол, выбитых взрывной волной, усеяли пол. В комнате стало очень светло — огонь пожирал соседний дом.

«Спокойно», — закричала мать, хотя я не успел произнести ни слова..

Я услышал — в нашей квартире что-то трещало. Дым из музыкального салона проникал сквозь дверь, ведущую в наш коридор. Наш дом тоже горел! Мать бросилась к себе в комнату, схватила свой портфель — одежду во время налетов мы надевали сразу же — и вернулась ко мне. «Через парадное выйти невозможно. Нам нужно попытаться выбраться через дверь для прислуги. Только я не знаю, куда она выходит. Наверное, на лестницу черного хода».

Дверь для прислуги была обита железом. Нам пришлось затратить довольно много времени, чтобы ее открыть — видимо, жар покорежил железную обивку.

Наконец матери удалось повернуть ключ в замочной

скважине. Мы очутились на лестничной площадке черного хода и вышли на улицу. Ну наконец-то и в наш дом тоже попало! Мною овладело непонятное спокойствие. Внутреннее напряжение исчезло. Откуда-то появилась уверенность, что с нами не случится ничего плохого.

Вокруг творилось что-то страшное. Изо всех окон вырывалось пламя, дым становился все гуще, взрывы гремели не переставая. Удивительно, но зенитки вообще перестали стрелять. Только слышался глухой рокот моторов самолетов-истребителей, да время от времени в небе появлялись «рождественские елки» — так назывались осветительные ракеты, которыми истребители освещали район бомбардировок. Вдруг раздался оглушительный треск. Казалось, шатается весь Курфюрстендам. Поднявшийся ветер разогнал дым и пыль, и мы увидели — большие угловые дома просто исчезли. Их больше не было. На улице — никого, кроме нас с матерью. Совсем одни, мы стояли и смотрели на происходящее.

Вокруг грохотало, трещало, гремело. Страха мы не испытывали, было только чувство глубокого удовлетворения. Мы в любое мгновение могли погибнуть от разорвавшейся поблизости бомбы, от любого случайного осколка.

Но мы знали — с нами ничего не случится. Я чувствовал себя неуязвимым, я был уверен, что могу перенести все, и это придавало мне силы.

Это ощущение сохранилось у меня до сегодняшнего дня. Со временем оно бледнеет, стирается, но я все еще помню запах гари, вкус пыли, которая скрипела на зубах.

Сколько времени мы стояли так, я не помню. Помню только, что откуда-то внезапно появилась Дмитриева и в чем-то тихо убеждала мать. Помню еще, что я был поглощен тем, что творилось вокруг, и не прислушивался к их разговору.

Очнулся я лишь тогда, когда мать, тоже тихо, отвечала Людмиле. «Лона не может взять нас к себе. Она говорит — наши отношения хорошо известны гестапо. Уж во всяком случае там знают, что ей достался магазин мужа, и подозревает, что за ней ведется постоянное наблюдение».

«Думаю, что наблюдением они не ограничились. Ее уже наверняка пару раз допрашивали», — сказала Людмила. — «Гестапо постоянно ужесточает свои действия. Они быстро расправляются с теми, кого подозревают. Скорее всего, это лишь предлог для отказа. Я понимаю — Лона просто боится брать вас к себе. Мне понадобится пара недель, а потом я опять смогу взять вас. Не могли бы вы обратиться к Карлу Хотце? Он очень находчивый человек. У вас есть номер его телефона?»

«Нет», — ответила мать. — «Мы всегда связывались с ним через Беге-Фауде-Фуркерт».

«Кто это?»

«Лона. Она три раза была замужем» Я посмотрел на Дмитриеву. Опять эта скрытая усмешка в глазах! Однако вечного мундштука с сигаретой во рту не было. Без него она выглядела просто голой.

«Откуда» — думал я — «ей так хорошо известны действия гестапо? Откуда она знает, за кем следят, а за кем — нет? Еще в самом начале нашего знакомства она не делала секрета из того, что у нее контакты с членами партии. Но насколько эти контакты тесные? Почему она помогала нам? И почему, если она действительно была агентом гестапо, нас до сих пор не арестовали?»

Несколько раз я пытался выставить Дмитриеву в неприглядном свете перед матерью. Прямо о своих подозрениях я говорить не мог — я мог лишь намекнуть на них. Однако мать ни о чем и слышать не хотела.

«Живем мы здесь или нет?» — говорила она в таких случаях. — «Неужели она собирается сдать нас гестапо? Может, она использует нас в каких-то своих целях? Зачем ей это нужно? Я даже не хочу говорить о том, какой опасности подвергается Людмила, пряча нас. К тому же она — русская и была замужем за евреем».

Мать говорила убедительно. А рассказывать о ночных посещениях людмилиной спальни мне не хотелось.

«Я не имею права давать вам номер телефона Карла Хотце. Ну да ладно, рискну».

Дмитриева вытащила из своей сумки из крокодиловой кожи небольшую записную книжку и карандаш в серебряном футлярчике, что-то написала и оторвав листок, протянула его матери.

«По крайней мере, у вас ничего не сгорело — ведь все ваши вещи с вами. А я, честно говоря, жалею только о моем рояле — это был настоящий „Бехштайн“».

Дозвониться до Хотце матери так и не удалось. И до Лоны тоже. Никто не отвечал. Мы стояли у телефонной будки и пытались что-то придумать Повсюду валялась домашняя утварь, горящие обломки мебели. Люди оттаскивали свое добро поближе к проезжей части улицы, чтобы спасти от огня.

Какой-то человек с совершенно безумным видом подбежал к телефонной будке.

«Санитар, санитар!» — не переставая, кричал он. Он в исступлении вырвал из будки телефонный аппарат и швырнул его

на тротуар. И побежал дальше, выкрикивая те же слова. Мы тоже пошли прочь от телефонной будки. За порчу народного имущества полагалась смертная казнь. Но на наше счастье, тогда такого приказа еще не было. А кроме того, кому было об этом рассказывать?

Разве что американским пилотам…

Мы шли очень быстро, почти бежали. Куда — мы и сами не знали. Незаметно для себя мы очутились на Моммзенштрассе. От быстрой ходьбы мы запыхались. И тут мы услышали — рядом с нами тоже кто-то тяжело дышал. Женщина среднего возраста бормотала негромко, как бы про себя: «Этот парень, наверное, свихнулся! Небось, с фронта пришел! А какие тут могут быть санитары? У бедняги, может, вся семья погибла!»

Мы остановились. Мы просто не могли больше. Но Дмитриеву, казалось, эта гонка ничуть не утомила. Даже сигарету изо рта не вынула.

Женщина, не замедляя быстрой ходьбы, все говорила и говорила. Вконец запыхавшись, она тоже остановилась, не переставая говорить.

«Наверное, домой в отпуск пришел, а тут всю семью бомбой… И теперь он думает, что на улице найдет какую-то помощь — он же должен что-то как можно быстрее сделать для своих!»

«Не кричите так громко», — попросила Дмитриева.

«Но ведь отбоя еще не было», — возразила женщина. — «Вы думаете, кто-нибудь из бонз рискнет появиться на улице до отбоя?»

«Не останавливайтесь, идите дальше. Не то мы все опять попадем в самое пекло!» — сказала Дмитриева. Ее русский акцент стал как-то особенно отчетлив. Но женщина, казалось, этого не заметила.

«Не дадите ли сигарету?»

«Это моя последняя», — ответила Людмила.

«Оставьте мне немного покурить».

«Интересно, как отнесется Дмитриева к этой просьбе?» — подумал я. Она вынула окурок из мундштука и отдала женщине. «Докуривайте и идите в подвал или в бомбоубежище».

«А вы?» — спросила женщина.

«Наш дом только что разбомбило».

Женщина пристально посмотрела на нас, потом как-то нерешительно подняла правую руку и свернула в сторону.

«Разбомбило!» Тогда это слово было самым ходовым.

«У меня идея», — сказала Дмитриева. Порывшись в сумке, она вынула оттуда новую сигарету. Мы вошли в подъезд какого-то дома, и она вставила сигарету в мундштук.

«Сейчас я и сама не знаю, куда идти, но поблизости есть отель, куда я часто устраивала моих друзей. Если нам повезет, мы сможем провести там остаток ночи. А потом я зарегистрируюсь как пострадавшая от бомбежки, а вы, может быть, за это время сумеете связаться с Карлом Хотце или с Лоной».

«Но сначала нам нужно дождаться отбоя», — сказала мать.

Я не помню, сколько времени простояли мы в том подъезде. Наконец прозвучал отбой, и мы двинулись дальше.

Отель, о котором говорила Дмитриева, находился на Кантштрассе. Мы молили Бога только о том, чтобы его еще не разбомбило. Его не разбомбило! Мы позвонили. Все было тихо. Вдруг перед нами как из-под земли появились два солдата. Их называли «цепными псами», потому что они носили подвешенный на цепочке жетон.

«Вы здесь живете?» — спросил один из них.

«Нет, но хотели бы снять здесь номер», — сказала Дмитриева.

Солдат насторожился. «Вы иностранка?» — спросил он.

«Я уже двадцать три года живу в Германии, у меня немецкое гражданство. Наш дом примерно час назад разбомбило».

«Ваши документы!»

Кажется, мы попались. Меня охватила дрожь. Убежать? Или притвориться непонимающим простачком? А может, упасть, будто потерял сознание? Я взглянул на мать. Она незаметно покачала головой — стой на месте, спокойнее. Что это означало?

«Почему она так спокойна?» — думал я. Людмила тем временем достала из сумки паспорт.

Солдат внимательно проверил паспорт и вернул владелице. «А вы», — повернулся он к матери, — «ваш дом тоже разбомбило?»

«Мы живем в одном доме».

Мать поставила свой портфель на тротуар, порылась в кармане пальто и спросила Дмитриеву: «Нет ли у тебя случайно ключа от моего портфеля?»

«Откуда у меня твой ключ?» — ответила Дмитриева. — «Дайка я еще разок проверю!»

Она не торопясь обшарила карманы маминого пальто. Эта сцена была похожа на цирковое представление — однажды в цирке я видел, как клоун проделывал нечто подобное. Интересно, что они обе задумали? Всем своим видом мать показывала, как ее волнует отсутствие ключа. «Его здесь нет!» — трагическим шепотом сказала она.

Дмитриева села на край тротуара, широко расставив ноги. Медленным, элегантным движением она сняла туфли, и перевернув, легонько потрясла их.

Мать с беспомощным видом ходила вокруг нее. Я подумал — сейчас она заплачет. Ее лицо исказила бессмысленная ухмылка. Оба «цепных пса» тоже ухмылялись.

Дмитриева, видимо, почувствовала растерянность матери. Внезапно она вскочила, в руке у нее был маленький ключик. «Вот он, нашла!» — закричала она. «Вот он!» — повторила она неожиданно высоким голосом.

Она стояла, с неизменной сигаретой во рту, высоко подняв руку, в которой был зажат ключ. В ее позе было что-то комическое. Я громко засмеялся. Следом за мной истерически засмеялась мать. Оба солдата тоже начали смеяться. Засмеялась и Дмитриева.

Наконец, прекратив смеяться, она отдала матери ключ и сказала: «Ну, открой портфель, покажи свои документы, а я позвоню еще раз — может, откроют».

Мать наклонилась над портфелем. Я оцепенел от страха. Что делать?

Отвлечь внимание «цепных псов»? Снова затеять какую-нибудь клоунаду?

До сих пор молчавший второй солдат обратился к матери: «Ладно-ладно, оставьте, мы вам верим. Так где вас разбомбило?»

«На Гекторштрассе», — ответила мать.

«Да, эту улицу бомбили основательно. Не открывают?» — спросил он у Дмитриевой. — «Не трудитесь — палец сломаете. Идемте, тут недалеко наша машина. Мы собираем всех, кто потерял жилье».

«Куда вы нас отвезете?» — спросила мать.

«На Лехнинерплац. Там собирают всех, кто пострадал во время бомбежки. Вы сможете там получить еду и переночевать. А завтра отправитесь к родственникам, или, может быть, вам предоставят другое жилье».

Когда мы были уже в машине, один из солдат спросил Дмитриеву — не работала ли она в цирке.

«Да, раньше работала. Но теперь я на пенсии», — ухмыльнулась она и посмотрела на меня. Ее ответ развеселил меня. Я засмеялся.

На Лехнинерплац для пострадавших от бомбежек освободили здание кинотеатра. Выстояв очередь, мы получили стакан горячей воды.

«Вот так супчик!» — ухмыльнулась Людмила. И прошептала:

«Хорошо бы к этому немного водки».

Однако матери было не до шуток. «Что же нам дальше делать?» — спросила она тихо. «Исчезнуть. Вы же сможете это сделать», — улыбнулась Дмитриева.

Она держалась так, как будто ей никакого дела до нас не было, как будто она хотела сказать:

«Я сделала для вас достаточно. Теперь действуйте самостоятельно».

Я был потрясен. Всем своим видом Дмитриева показывала, что не хочет больше с нами знаться. Она повернулась к нам спиной. От нее так и веяло холодом и отчужденностью.

Мы с матерью переглянулись. «Черт побери», — подумал я. — «А мама считает эту женщину своей подругой!» Мы к этому времени еще не успели зарегистрироваться, и поэтому к нам быстро подошла полная женщина в сестринской форме и прижала меня к себе. «Ты что, один здесь?»

«Это мой сын», — сказала мать, потянув меня в сторону.

«Детей здесь обслуживают отдельно. Ему не нужно стоять в очереди. Сейчас мальчик пойдет со мной. А когда он проснется, вы получите его обратно. Но сначала вам и вашему сыну нужно зарегистрироваться».

Она смеялась и подталкивала меня вперед. Я оглянулся на мать — она успокаивающе помахала мне.

А потом я увидел Людмилу. Я проходил мимо нее, и она смотрела на меня.

«Спокойной ночи», — вежливо сказал я.

«Кто это?» — спросила сестра.

«Подруга моей мамы», — ответил я.

«Ее дом тоже разбомбило?»

«Мы жили в одном доме» «Ну хорошо. Завтра утром вы все увидитесь снова».

Она вела меня к дверям мимо стоящих в очереди людей, мимо стола, у которого такие же сестры разливали суп. Поодаль от стола стояли мужчины в форме вермахта и несколько мужчин в пальто. Взгляд у них был такой же равнодушный, как у Дмитриевой. Казалось, их ничто не интересует. Но у меня было ощущение, что они очень внимательно наблюдают за нами.

«Когда я вырасту, я тоже стану эсэсовцем», — кивнул я на стоящих позади стола людей.

«Где ты видишь эсэсовцев?» — спросила сестра, подталкивая меня к выходу. — «Все эсэсовцы — на фронте».

«Не такой уж я дурак», — усмехнулся я. — «Разве вы не видели у них под пальто эсэсовской формы?»

Мною овладело какое-то непонятное возбуждение. Меня так и подмывало рассказать этой тетке все. Интересно, что произойдет потом?

«Я еврейская свинья, маленькая еврейская свинья, и если бы янки нас сегодня не разбомбили, я бы все еще торчал в этой

аристократической квартире. И никогда бы сюда не попал, если бы не бомбежка».

Внезапно она остановилась и внимательно поглядела на меня. События этой ночи вконец измучили меня, и я не помнил, подумал ли я об этом или сказал это вслух. Что бы она сделала в таком случае? Может, она схватила бы меня за шиворот и потащила к гестаповцам? А может — и нет. Эта тетка казалась такой добродушной!

«Ты какой-то странный. Уж не свихнулся ли ты часом? Если начнешь реветь, я отправлю тебя обратно в очередь. И ты будешь стоять там до посинения».

«Или до пожелтения», — ухмыльнулся я.

«Почему — до пожелтения?» — раздраженно спросила она.

«Потому что шестиконечная звезда — желтая», — мысленно ответил я, но вслух сказал, пожав плечами:

«Да просто так».

«Немецкий мальчик не должен плакать. Во всяком случае, не показывать своих слез».

При этом у самой сестры повлажнели глаза и задрожали губы. Неужели она жалеет меня?

«Если кому-нибудь бывает плохо, лицо у него желтеет», — пояснил я.

Она растерянно взглянула на меня. Потом прижала меня к себе. «Боже мой», — вздохнула она, — «я желала бы для тебя совсем другого детства».

Она толкнула дверь, и я очутился в довольно большом помещении. На полу лежали матрацы и куча сложенных одеял.

«Дети получают молоко и гороховый суп, а кто будет пукать, получит по заду», — попыталась пошутить она.

Я подошел к одному из матрацев. Я так устал, что, наверное, смог бы спать стоя.

«Нет-нет», — поняла она мое желание. — «Сначала помойся и почисть зубы».

Она показала на дверь в противоположной стене.

«У меня нет зубной щетки», — угрюмо сказал я. Настроение у меня было отвратительное.

«В таком случае можно почистить и пальцем», — не унималась она. — «А ну, марш мыться! И сними с себя одежду. Я принесу тебе полотенце».

Она вышла, оставив дверь открытой. Когда она вернулась, я все еще стоял на прежнем месте.

«Я уже почистил зубы. Пальцем», — сказал я.

Она была неумолима.

«Разденься и повесь одежду на крючок».

Я не трогался с места. Наконец она поняла.

«Вот в чем дело! Ты стесняешься! Ладно, я выйду, а ты мойся. Когда будешь готов, я приду опять и дам тебе поесть. А потом ты ляжешь спать. Ну давай, пошевеливайся!»

И с этими словами она скрылась за дверью.

«Никогда не снимай штаны в присутствии чужих людей», — сказала однажды мать. — «И в туалет старайся заходить тогда, когда там никого нет. Иначе все сразу сообразят, кто ты».

Я торопился изо всех сил. Когда она вернулась, я уже кончил мыться и снова одевал пальто.

«Пальто можешь снять. Сверни его и положи под голову вместо подушки».

Она подвела меня к лежащему у самой стены матрацу. Рядом с матрацем уже стояла миска с едой.

«Ешь», — сказала она.

«Не хочу», — отрицательно покачал я головой. — «Я очень устал и хочу спать».

«Съешь хотя бы пару ложек».

Возражать я не стал и начал есть. А она смотрела на меня повлажневшими, полными участия глазами. Потом легко погладила меня по голове и вышла.

В зале были дети. Много детей. Пожалуй, я был здесь самым старшим по возрасту. Некоторые лежали на матрацах, другие носились взад и вперед, играли в футбол, свернув в узел старое одеяло, и при этом орали как сумасшедшие. Раньше я и не представлял, что смогу заснуть при таком адском шуме.

Я попытался заснуть. У меня была привычка — когда я не мог заснуть, то начинал тихонько покачиваться, как на пароходе. Поэтому я не сразу заметил, что кто-то трясет меня и пытается поднять с матраца. Я закричал так, как будто меня резали. Мать (это она трясла меня) зажала мне рот.

«Мы должны идти», — прошептала она и громко прибавила: «Может быть, мы застанем дома тетю Лону. На какое-то время она может нас принять».

«Ради этого не стоило вам будить мальчика, фрау Гемберг».

Позади матери стояла «моя» сестра. «Симпатичный паренек, похож на итальянца. Ты итальянец?»

Она улыбнулась, и я почувствовал, как задрожала рука матери. «Знаете, у своей тети ему будет лучше — там обстановка более привычная. И спать он там сможет до позднего утра».

«Если снова не начнется тревога».

Сестра все еще улыбалась.

«Ну хорошо, идите. Наверное, это будет самое правильное».

Она вдруг наклонилась ко мне:

«А вступать в СС пока погоди, ладно?»

Как-то сразу посерьезнев, «моя» сестра долгим, внимательным взглядом посмотрела на меня. Потом снова погладила меня по голове и скрылась за дверью.

Мать села возле меня на матрац. «Почему эта сестра говорила о вступлении в СС?» — обеспокоено спросила она.

«Она спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту, и я ответил, что хочу вступить в СС», — объяснил я.

«Юмор у тебя просто бесподобный», — сказала мать и вытянулась на матраце рядом со мной: «Только на пару минут — я сегодня глаз не сомкнула».

«А я серьезно. Я бы охотно вступил в ряды СС. Шикарные мундиры! Лучшие люди фюрера! И власти были бы на моей стороне. Да знаешь ли ты, сколько евреев было бы в СС, если бы им не было нужно носить желтую звезду! Мой лучший друг Хайнц Крамаш…» — «Он, кажется, тоже жил на Эльбефельдерштрассе?» — перебила меня мать «Да, в соседнем доме на четвертом этаже».

Мать посмотрела на меня. «Ну и что же он сказал?» — спросила она после долгого молчания.

«И зачем только мы родились погаными евреями! — Вот что он сказал!»

Я произнес это совсем негромко, почти шепотом, но мать тут же зажала мне рот рукой. И оглянулась по сторонам — не услышал ли кто-нибудь. В зале не прекращались беготня и шум. На нас, похоже, никто не обращал внимания.

Я заплакал. Я чувствовал себя совершенно измученным. Рука матери по-прежнему зажимала мне рот.

«Посуди сам», — сказала она тихо. — «Ведь им скоро конец. Войну они наверняка проиграли. Русские уже вплотную подошли к польской границе, а англичане и американцы уже в Италии».

Мать обняла меня.

«А если они создадут какое-нибудь чудо-оружие?» — всхлипывал я.

«Да нет, теперь уж они больше ничего не создадут — американцы и англичане бьют их почем зря», — прошептала она.

«Но мне надоело все время убегать. Им-то ведь никуда убегать не нужно!»

«Они должны гоняться за нами. А это тоже утомительно. Но, может быть, все скоро изменится. И тогда они сами будут убегать как угорелые».

Я посмотрел на мать и засмеялся. Она тоже начала смеяться. Мы смеялись так, что слезы выступили на глазах. Громко смеяться мы не могли. Но мы смеялись. Смеялись и не могли

остановиться. Мы просто корчились от смеха.

«Ну все, кончили!» С трудом переведя дыхание, мать попыталась подняться с матраца. И снова затряслась от беззвучного смеха.

Внезапно у нее начался приступ кашля. Мать кашляла и кашляла, она просто захлебывалась от кашля. На нас стали оборачиваться. Даже крик и беготня вокруг стали как будто меньше.

«Ничего-ничего», — задыхаясь, говорила мать. — «Я просто поперхнулась».

Наконец мы вышли из зала. Мать подошла к стоявшему у входа регистрационному столу.

«Моя фамилия Гемберг», — сказала она. — «А это мой сын. Мы уже зарегистрировались у вас и теперь попытаемся сами подыскать себе жилье».

Я продолжал хихикать.

«Ну что ж, удачи», — сказал сидевший за столом мужчина и строго посмотрел на меня.

Я бежал по улице, мать шла следом за мной. Она все еще покашливала.

Убедившись, что нас никто не слышит, мать сказала: «Мы должны договориться, что скажем в случае необходимости».

«Ясно», — сказал я и снова засмеялся.

«Прекрати смеяться! Ну, так как тебя зовут?» — спросила она строго.

«Михаэль Деген», — хихикнул я.

«Как тебя зовут?!» Мать почти кричала.

Я оглянулся и приложил палец к губам. Она испугалась, ее лицо стало каким-то обиженным.

«Ну ладно. Меня зовут Макс Гемберг, я из Лихтенберга, жил на площади Германа Геринга, мой дом разбомбило».

«Какой номер дома?»

«Понятия не имею».

«Ну что же ты?»

«А ты сама-то знаешь?»

«Тоже нет».

Она опять рассмеялась.

«Да есть ли на самом деле площадь Германа Геринга?»

«Почем я знаю?»

Быстро, почти бегом, громко хохоча, мы пересекли Курфюрстендам. Никогда я так не любил мать, как в тот момент. Мною вновь овладело прежнее чувство надежности, уверенности в себе. Был прекрасный, сияющий, солнечный день. На ясном голубом небе не было ни облачка.

Повсюду воняло горелым. Запах гари смешивался с тошнотворно-сладковатым трупным запахом. Впечатление было такое, как будто все вокруг сровнял гигантский паровой каток.

Однако для нас все это не имело никакого значения. Светило солнце, было тепло, и чем больше был царящий вокруг хаос, тем безопаснее мы себя чувствовали.

«Хорошо бы сейчас искупаться. Окунуться в горячую воду. Какое блаженство!» — размечтался я. — «Помнишь, как мы были с тетей Региной на Груневальдском озере? Она не умела плавать, но делала энергичные гребки руками, а вода ей дохошидила от силы до колен».

«Не смейся над ней!»

«Я не смеюсь. Это было чудно. Ну что, пойдем поплаваем?» — спросил я. В эту минуту мне не хотелось думать ни о чем плохом. Мне хотелось, чтобы с лица матери исчезло это озабоченное, мрачное выражение.

«Ладно», — сказала она. — «Пойдем на Груневальдское озеро. И если не найдем там места, где можно переночевать, то в крайнем случае, там можно будет утопиться».

Я остановился.

«Извини», — пробурчала мать и взяла меня за руку. — «Нам нужно попытаться поймать Лону. Надеюсь, ее дом не разбомбило».

«Если бы мы там немного подождали, может быть, нам дали бы еще поесть», — сказал я осторожно.

«Так тебе и дали поесть! Знаешь, какие там буквоеды сидят? Во время воздушных налетов они в первую очередь думают о спасении своей документации».

Мы пришли на Оливаерплац и зашли в маленькое кафе на углу Ксантенерштрассе. Нам предложили бурую воду, лишь отдаленно напоминавшую кофе.

«На большее я и не рассчитывала», — сказала мать. — «По крайней мере, что-то горячее».

Она попросила разрешения позвонить по телефону.

«Попытайтесь», — ответила хозяйка.

Мне очень хотелось есть. Я сидел, медленно потягивая горячую, темную жидкость. В кафе было очень темно, хотя время едва перевалило за полдень.

Почти все окна в помещении были затемнены, а электричество экономили. Я замерз, а горячее питье согревало меня.

«Можно мне еще одну чашку?» — попросил я.

«Ну-ну, молодой человек! Две чашки кофе? В твоем возрасте это вредно для здоровья».

Мы засмеялись, и хозяйка налила мне из термоса еще одну чашку. Потом присела за стол рядом со мной и стала смотреть, как я пью.

«Твоя мама может заплатить?»

«Сколько стоит эта черная вода?» — спросил я.

Похоже, здесь ей было скучно. Мой вопрос ее явно развеселил.

«Для постоянных клиентов у меня припрятана пара пирожных. Хочешь?»

«Я не знаю, сможет ли мама заплатить за них. Мы в этих местах вообще никогда не бывали. Наш дом разбомбило».

«Не беспокойся, это за наш счет».

Она пошла к стойке.

Мать вернулась довольно скоро. «Быстрее, мы должны встретиться с Карлом Хотце», — сказала она.

«Хотите пирожное?» — спросила из-за стойки хозяйка. — «Ваш мальчик сказал, что ваш дом разбомбило. У вас обоих такой измученный вид! И кофе свой вы еще не выпили».

Мать торопливо глотала куски пирожного, запивая их кофе. «Сколько я вам должна?» — спросила она, закончив есть.

«Заплатите только за три чашки кофе. Платить за пирожные не нужно. Считайте, что вас и вашего сына я пригласила».

«Три чашки?» Мать посмотрела на меня.

«Мне было так холодно!» — сказал я.

«Не бойтесь, это ему не повредит», — засмеялась хозяйка.

Мать расплатилась и поблагодарила. Я пожал хозяйке руку. Она так по-доброму отнеслась ко мне! Это было, как мимолетная ласка. Я почувствовал себя не «этнически неполноценным» еврейским мальчиком, а обычным берлинцем, таким же, как хозяйка кафе.

До сегодняшнего дня я не могу освободиться от этого чувства недоброкачественности, неполноценности, привитого мне еще в детстве.

Мы вышли из кафе. И опять вспомнил я слова моего друга Хайнца Крамаша.

«Поганые евреи!» — громко сказал я.

«Что?!» Мать остановилась как вкопанная.

Я молчал.

«Что ты сейчас сказал?»

«Так, ничего».

Она схватила меня за руку и потащила за собой. «Глупый мальчишка, думай, что говоришь!»

Мать шла все быстрее, мы почти бежали по Уландштрассе. «Скоро ты будешь гордиться тем, что мы здесь пережили!»

«Если мы останемся живы», — сказал я, с трудом переводя дыхание.

«Да, если мы останемся живы», — согласилась мать.

«Хочу есть», — заныл я.

«Ты же съел пирожное!»

«Хочу есть!»

На подобные заявления мать реагировала панически. Она просто не могла перенести, если я хотел есть или уставал. Я это знал и иногда пользовался ситуацией, чтобы помучить ее. В таких случаях ее лицо застывало. Она изо всех сил старалась не выдать себя, не заплакать. И от этого иногда становилась грубой. Схватив за запястье, она потащила меня вперед.

«У меня мало денег, сперва мне нужно продать украшения», — проворчала она. — «Тогда мы опять сможем купить продовольственные карточки. Ты ведь сможешь потерпеть?»

«Может, Лона принесет какие-нибудь продукты».

«Да», — сказала мать. — «Когда урчит в животе, тут уж не до шуток».

Коротко засмеявшись, она обняла меня. «Идем, дорога оказалась длиннее, чем я думала».

«Но мы могли бы поехать».

«Лона по телефону сказала мне, что проверки на дорогах участились и нам вообще лучше не пользоваться транспортом».

Мы дошли до Гогенцоллерндам. На другой стороне улицы мы увидели Лону.

Она стояла довольно далеко от нас возле груды обломков. Лона сделала нам знак — идите в направлении Фербеллинерплац — и сама пошла в том же направлении. На голове у нее был платок. Издали ее фигура казалась квадратной.

К нам подошел какой-то мужчина. Он как со старой знакомой поздоровался с матерью. Он так энергично тряс ее руку, что я даже немного испугался — а вдруг рука оторвется! Потом мужчина предложил нам идти вместе с ним. Он достал из кармана куртки кулечек изюма и протянул нам. Мать, поблагодарив, отказалась. Я отказываться не стал.

Это и был тот самый Карл Хотце. Он казался мне пожилым человеком. Тогда ему, наверное, было сорок с небольшим. На нем были штаны из тика, закрепленные у щиколоток велосипедными зажимами, и коричневая, вся в каких-то пятнах, куртка. Он вел за руль старый велосипед. Хотце часто останавливался, и тогда велосипед прислонялся к его бедру. Выглядел он странно и одновременно очень независимо. Он был высокого роста, поджарый и очень мускулистый, голова была совершенно лишена

волос и казалась отполированной, взгляд был значительным и даже несколько угрожающим. Потом я понял, почему он так смотрел. Один глаз у него был стеклянным.

От Карла Хотце веяло спокойствием и уверенностью. Речь его была скупа, однако он обладал даром передать необходимое несколькими словами.

«Наконец нашелся человек, который займется делом», — обрадовался я про себя. — «От всех этих баб толку мало».

Я посмотрел на противоположную сторону улицы — Лона шла в том же направлении. В нашу сторону она ни разу не взглянула.

Когда мы останавливались, Лона останавливалась тоже, начинала рыться в своей сумке и осматриваться вокруг с таким видом, как будто что-то потеряла.

Потом я услышал — Хотце тихо говорил матери, что разговаривал с госпожой Дмитриевой. Она передает привет и велела сообщить, что нашла квартиру на Байершенштрассе недалеко от Оливаерплац. Она собирается там поселиться, но пока не знает, как и чем будет обставлять квартиру. Но эту проблему наверняка можно разрешить. В ближайшие две недели это будет сделано с его помощью. А мы эти две недели сможем прожить у знакомых господина Фуркерта.

«Теперь я вас обоих туда поведу», — сказал Хотце. — «Их фамилия Тойбер. Я не знаю этих людей, но Лона тоже там будет. Нам нужно добраться до Губенерштрассе. На метро туда доехать легко — если метро работает. Но пешком добираться безопаснее. В транспорте проверяют документы, причем очень внимательно проверяют. А с вашими старыми документами пользоваться транспортом по меньшей мере рискованно».

Хотце знал все. Если идти быстрее, сказал он, дойти можно за пару часов. Это, конечно, нелегко, но попробовать все же нужно. Мать кивнула — хорошо, она согласна.

Хотце положил ей на плечо руку:

«В крайнем случае можно рискнуть и воспользоваться метро».

Он кивнул Лоне, и та сразу скрылась в вестибюле метро. А мы свернули на Бранденбургишестрассе. У меня было впечатление — мать все больше теряла самоконтроль. Казалось, все стало ей абсолютно безразлично — лишь бы только добраться, наконец, куда-нибудь. Мы шли и шли. Хотце пытался развеселить нас.

«Коротышка» (так назвал он меня с самого начала), — «если ты устал, садись на багажник, а я повезу. То же самое я могу предложить твоей маме».

«А вы?»

«Я вообще не устаю. Однажды я прошагал в строю двадцать четыре часа. Без перерыва».

Я вопросительно посмотрел на него.

«В концлагере», — весело сказал Хотце. — «Там никакого выбора не было. Не сможешь идти — получишь пулю».

«Вы были в концлагере?» Мать с изумлением взглянула на Хотце.

«Да».

«В каком?»

«В Бухенвальде».

«А почему?»

«Против меня никаких улик не было, но все же держали меня там два с половиной года. Как уголовника».

Он засмеялся. Какое-то время мы шли молча. Только теперь я заметил, как страшно разрушен город. Расчищались лишь основные пути проезда транспорта.

Боковые улицы во многих местах были непроходимыми. Они были сплошь покрыты грудами обломков и мусора. Пожарники искали в руинах выживших, пытаясь проникнуть в засыпанные щебнем подвалы. Повсюду пахло гарью. Среди руин еще тлели балки домовых перекрытий. Время от времени откуда-нибудь вырывались отдельные языки пламени.

«Да, наделала здесь дел эта война», — сказал Хотце. — «Многие солдаты, приехавшие домой на побывку, прерывают свой отпуск и возвращаются в часть. Это вполне можно понять».

«Но ведь там погибают сотни тысяч!» — возразила мать.

«Здесь тоже», — проворчал Хотце.

Мать внимательно посмотрела на него.

«На фронте гибнут не только немцы».

«Да, не только немцы. Вы правы. Я даже уверен, что до сих пор погибало больше русских, чем немцев», — согласился он. — «Но иногда положение меняется», — добавил Хотце.

Через какое-то время мы дошли до Ноллендорфплац и теперь брели вдоль городской надземки. Я шел, механически переставляя ноги. Любая пешеходная прогулка до сих пор тяжела для меня — каждый раз я должен себя заставлять.

Ехать на велосипеде, плавать — только не идти пешком. Однако на багажник я не хотел ни в коем случае. Хотце все чаще поглядывал в мою сторону, как будто хотел спросить: «Ну как, еще не надумал? Давай, смелее!»

В конце концов я не выдержал. И от Бюловштрассе ехал на багажнике. Прошло еще довольно много времени. Наконец мы дошли до Губенерштрассе и остановились перед каким-то замызганным подъездом. На стене висела табличка с фамилиями

жильцов.

«Это здесь, второй этаж налево», сказал Хотце, найдя на табличке нужную фамилию.

Мать поднималась по лестнице, с трудом переставляя уставшие ноги. Мы следовали за ней. Хотце позвонил. Мы услышали, как за дверью кто-то громко, сиплым голосом, выругался. Затем дверь открылась. На пороге стояла старая женщина. Нас с матерью она, кажется, даже не заметила.

«Если вы пришли к Хильде, то зря — она сегодня сюда вообще не заявлялась. Я же ей говорила, что здесь она может принимать клиентов только по вечерам. Так что придется вам потерпеть до вечера», — грубо обратилась она к Хотце.

Женщина уже хотела захлопнуть дверь, но увидела нас с матерью. Она носила очки с очень толстыми стеклами. Из-за этого глаза ее казались огромными, как у совы.

«А этим что здесь нужно?» — уставилась она на нас.

«Я думаю, Фуркерт о нас вам уже говорил».

Хотце с наглой ухмылкой протянул женщине руку.

Взглянув на нас с матерью еще раз, она нерешительно пожала протянутую руку. У нее были скрюченные, очевидно, пораженные артрозом пальцы. Хотце ответил ей своим энергичным пожатием.

«Вы из криминальной полиции?» — спросила женщина, не спуская с него глаз.

«Нет», — засмеялся Хотце, — «но сначала пропустите нас в квартиру. Фрау Фуркерт еще не пришла?»

«Нет», — ответила женщина, тоже засмеявшись. Но с места не сдвинулась.

«Если мы будем еще долго тут торчать, это может кончиться неприятностью. Для всех нас».

Стеклянный глаз Хотце, на который упал свет, угрожающе сверкнул. Подумав, женщина пропустила нас в квартиру. Хотце подтолкнул нас с матерью вперед и закрыл за собой дверь. Мы очутились в длинном, темном коридоре. В полутьме по обеим сторонам коридора я различил несколько дверей. Точного их количества я не смог определить. Все двери были закрыты. Открытой оставалась только ближайшая к выходу дверь на левой стороне.

«Ну так что же дальше?» — спросила женщина.

«Мы будем ждать фрау Фуркерт», — сказал Хотце. — «У вас найдется пара стульев для ребенка и его матери? Они прошли пешком большое расстояние и очень устали».

«Идемте со мной!»

Через открытую дверь она привела нас в большую кухню.

«Вы можете посидеть здесь».

Она указала на стоявшие вокруг стола стулья. Рассадив нас по местам, она убрала со стола и начала мыть посуду. Хотце, улыбаясь, наблюдал за ней.

«Откуда вы знаете Фуркерта?» — спросил он женщину.

«Это не ваше дело».

Я засмеялся. Она обернулась и посмотрела на меня. Эту женщину все звали «мамаша Тойбер». У нее были три дочери — Грета, Хильда и Роза. Все три зарабатывали на жизнь проституцией. Еще у мамаши Тойбер был муж, очень старый человек. Говорил он на хорошем немецком и держался чрезвычайно вежливо. Он совершенно не подходил ко всей остальной компании. Позднее мы узнали, что когда-то он был врачом, но ввязался в какие-то сомнительные махинации, после чего ему запретили заниматься врачебной практикой. Чаще всего он появлялся на кухне рано утром, и позавтракав, исчезал. Домой он возвращался поздно вечером. Он занимался какими-то непонятными, загадочными делами. Когда я однажды спросил об этом мамашу Тойбер, она лишь засмеялась своим хриплым смехом, затем выставила меня из кухни и захлопнула дверь.

Думаю, сама мамаша Тойбер тоже подторговывала сексуальными услугами своих дочек. «Ведь надо же на что-то жить», — обычно говорила она. Речь ее была смесью восточнопрусского и берлинского диалектов. Мамаша Тойбер была груба, вульгарна и в то же время сердобольна — типичная содержательница борделя.

Она нравилась мне. Глаза ее за толстыми стеклами очков смотрели хитро и насмешливо. Никогда нельзя было понять, действительно ли она думает то, о чем говорит. Однако я всегда знал — сердце у нее было доброе. Моя мать ее с трудом выносила.

Лона Беге-Фауде-Фуркерт два с лишним часа проторчала в метро и явилась в квартиру мамаши Тойбер совершенно без сил. У нее дважды проверяли документы и содержимое ее большой сумки, да еще допытывались, почему у нее в сумке так много продуктов.

«Ну и что же ты им ответила?» — спросила мамаша Тойбер.

«Я сказала, что во время воздушного налета всегда беру с собой в подвал свои запасы. Ведь никогда не знаешь — уцелела ли твоя квартира и где потом добыть еду».

«А у тебя ничего не отобрали?»

«Неужели я похожа на торговку с черного рынка?»

Мы засмеялись, а мамаша Тойбер с жадным блеском в глазах поинтересовалась:

«Так что же у тебя там, в сумке?»

«Еда. Еда для обоих. На всю следующую неделю. А Карл, может, еще и овощи раздобудет», — сказала Лона.

«Ну конечно, на моем огороде тоже кое-что имеется», — кивнул, улыбаясь, Хотце.

«Так как же насчет деньжат?» Мамаша Тойбер снова уставилась на Хотце.

Было видно, что этот человек произвел на нее впечатление.

«Сначала мне надо поговорить с Розой с глазу на глаз», — сказала Лона, — «а потом и о деньжатах потолкуем. Где бы нам ненадолго уединиться?»

«Можете пойти в комнату Греты — в конце коридора налево. Я и собиралась разместить вас там».

Лона с матерью вышли из кухни. Мамаша Тойбер стала рыться в сумке Лоны.

«Вы не считаете, что рыться в чужой сумке не совсем прилично?» — язвительно осведомился Хотце.

«В конце концов должна же я знать, хватит ли мне этого», — ничуть не смутившись, ответила мамаша Тойбер.

«Вам — нет. Этого должно хватить двоим — матери и сыну», — засмеялся Хотце и погладил меня по голове.

«Думаю, и мне кое-что перепадет», — возразила мамаша Тойбер. — «Кофе! Настоящий кофе, свежесмолотый! Неужели меня не угостят хоть чашечкой? Наверняка это Фуркерт добыл. Только ему нужно быть осторожным, а то опять в кутузку попадет».

Она засмеялась своим хриплым смехом. Вернулись на кухню мать с Лоной, и Лона снова вышла с мамашей Тойбер. Обе женщины, видимо, обо всем договорились — через некоторое время мамаша Тойбер опять появилась на кухне и сказала матери:

«Можете пойти взглянуть и положить там свои вещички. Но комната, само собой, остается за Гретой».

Вместе с мамашей Тойбер мы пошли по длинному коридору и вошли в комнату. Это была большая, темная комната с эркером. Обстановку комнаты составляли двуспальная кровать и громадный, во всю стену, платяной шкаф. В ногах кровати стояла старая кушетка. Еще одна такая же старая кушетка с подголовником стояла в эркере. Над кроватью в позолоченной раме под стеклом висело изображение Божьей Матери с младенцем и четками в руках. Мамаша Тойбер объяснила нам, что мы будем спать на кушетках, а Грета — на двуспальной кровати.

«Грета замужем?» — спросила мать.

«Иногда», — ухмыльнулась мамаша Тойбер и взглянула на меня. Я ответил ей вежливой улыбкой.

«А ее мужу не помешает, что в спальне находятся чужие люди?» — не унималась мать.

«Смотря по тому, за кем в данный момент она замужем», — ответила мамаша Тойбер.

В комнату вошла Лона, и старуха удалилась, прикрыв за собой дверь.

«Это что, частный бордель?» — недовольно спросила мать. Все происходящее явно раздражало ее, но Лона дала ей понять, что иного выхода сейчас нет. Спасибо, что хоть здесь можно укрыться! Ничего, это долго не продлится — Людмила скоро устроится на новой квартире и снова сможет взять нас к себе. А кроме того, у Хотце, может быть, тоже кое-что найдется. Даже где-нибудь за городской чертой — там было бы спокойнее и не так опасно.

«Вот выручка за последние три недели. С этими деньгами ты сможешь продержаться какое-то время. И тебе не придется продавать свои украшения. Правда, я не знаю, как все пойдет дальше — норма выдачи продуктов становится все меньше, да и качество их ухудшается, но еще какое-то время можно существовать довольно сносно. Одно время мы вместе с Якобом хотели открыть продовольственный магазин — ведь людям нужно есть каждый день! Но разве смог бы он предлагать покупателям одновременно свиную колбасу, сыр и молоко? Хотя сам был большим любителем ветчины. Он называл ветчину „кошерной свининой“».

«У Якоба был туберкулез, и по состоянию здоровья он не мог строго придерживаться кошерной кухни. Так что ничего смешного в этом нет».

«Но сам-то он любил пошутить», — сухо возразила Лона.

«Больные туберкулезом должны есть жирную пищу и свинину», — убежденно продолжала мать.

«Не говори глупостей, Анна-Розалия! Ты тоже всегда охотно ела ветчину. Или ты заразилась от него туберкулезом?»

Лона по-прежнему делила с нами заработанную выручку. К этому ее никто не принуждал — ведь у нас больше не было никаких прав на владение магазином.

Как истинная арийка, она имела полное право владеть магазином единолично. И могла наплевать на нас, даже относиться к нам, как к врагам нации. Вместо этого она ежемесячно делила с нами доход от магазина. В память о моем отце.

Законной владелицей магазина Лона считала мою мать. Кроме того, она считала себя обязанной обеспечивать нас продуктами и продовольственными карточками. Я убежден, что

она вместе со своим мужем проворачивала какие-то дела на черном рынке. У Фуркерта там наверняка были связи. Однако нам до этого не было никакого дела. Мы хотели выжить, и Лона прилагала немало сил для того, чтобы это нам удалось.

«Мама, не спорь с Лоной!» — мысленно умолял я мать.

«Да понимаешь ли ты, что здесь может увидеть мальчик? Как отнесся бы к этому Якоб?»

«Якоб хотел, чтобы вы оба выжили. Перед смертью он просил меня помогать вам, и я обещала ему это. И свое обещание сдержу!»

Обе долго смотрели друг на друга. И, как мне казалось, смотрели не слишком дружелюбно. В их настороженных взглядах я почувствовал нечто такое, чего раньше не замечал. Я никогда не задумывался об их взаимоотношениях. Впрочем, никогда и не хотел.

Наконец мать сменила тему. Слава Богу! Она спросила Лону, как ей следует вести себя в сомнительных ситуациях, и та посоветовала ей держаться в зависимости от обстоятельств. Это будет самое разумное. Главное — уцелеть, выжить, а для этого нужно чем-то жертвовать. И, без сомнения, войне скоро настанет конец. Русские отвоевали уже почти всю Украину, союзники заняли южную Италию, а американцы сбрасывают на Германию целые вагоны бомб. «Как ты думаешь, долго ли еще можно выдержать такое? Тут уж никакие призывы, никакие лозунги не помогут», — закончила свою речь Лона.

«А каковы политические позиции этой семьи?» — поинтересовалась мать.

«Да нет у них никаких позиций! Английских радиостанций они не слушают — им нужны только деньги. Смотри, не вздумай спросить их о чем-то таком».

У Тойберов кроме дочерей Греты, Хильды и Розы был еще сын, которого звали Феликс. Этот Феликс был удивительно похож на еврея. Из-за этой похожести ему постоянно попадало на улице. Поэтому, приезжая с фронта на побывку, он никогда не снимал военной формы.

«Ума не приложу — где это я умудрилась переспать с евреем?» — удивлялась мамаша Тойбер.

У Греты, старшей дочери, впереди было три зуба. Еще пара сгнивших, черных корешков торчала в нижней челюсти. Она была маленького роста и обладала поразительно кривыми ногами. Гретин сын Хорст свободно пролезал между ее ногами, даже когда она плотно сдвигала пятки.

«Мои ноги — мой капитал! Иной раз я показываю клиентам этот цирковой номер с Хорстом. Мужики просто балдеют! А уж

заводятся так, что только держись!» — хвасталась Грета.

Хильда, средняя дочь, никого, по ее собственному выражению, в дом не приваживала — ее сын Гарри должен вырасти благовоспитанным, культурным человеком, а не каким-нибудь ночлежником или сутенером. А вот Гретин Хорст, считала Хильда, обязательно вырастет шалопаем. «Он уже сейчас знает все фокусы, которые проделывают мужики с его мамашей. И, небось, тоже скоро с бабами путаться начнет. Но мой Гарри должен учиться».

Однако действительность оказалась совсем иной. На маленького Хорста, почти всегда спавшего в постели вместе с матерью, ее ремесло не повлияло — он вырос вполне нормальным человеком, учился, получил профессию, прилично зарабатывал. Его двоюродный брат Гарри, наоборот, стал уголовником, а потом и вовсе пропал где-то заграницей.

Самой привлекательной была младшая, Роза. Она всегда была опрятно одета, ухожена, от нее хорошо пахло. Роза была первой женщиной, в которую я был немножко влюблен. Иногда, если гости Греты слишком расходились, я спал в Розиной постели. Роза гладила меня и шепотом повторяла:

«Все будет хорошо!»

Время от времени Роза на целый день исчезала, и мы очень беспокоились.

Когда она возвращалась, измотанная и растрепанная, то проклинала своих клиентов и отвратительные номера, которые те снимали для свиданий.

«К чертовой матери всех этих поганых мужиков и эту гнусную возню с ними», — бормотала Роза и гладила меня с какой-то особой нежностью. Как она мне нравилась!

Гарри и Хорст, разумеется, не знали, кто мы. «Наши пострадавшие от бомбежки друзья», — смеясь, говорила мамаша Тойбер. Ее громкий, хриплый смех был слышен во всем доме.

Иногда по ночам случались происшествия. Однажды мать, очевидно, увидела во сне что-то страшное и громко закричала. Она кричала так страшно, что мы все вскочили.

В первую минуту я подумал, что Грету поколотил ее очередной клиент. Это бывало довольно часто. Однако кричала моя мать.

Грета включила ночную лампу. Рядом с ней действительно лежал мужчина.

Бедняга так перепугался, что у него волосы на голове встали дыбом. Вскочив с кровати, Грета подбежала к матери и принялась трясти ее. Разбудив мать, Грета отправилась на кухню, сварила кофе, и все выпили по чашечке. Даже маленький Хорст сделал

пару глотков.

В другой раз один из клиентов Греты поднял такой шум, что мать из своей постели перебралась ко мне и плача, зажала мне рот рукой. Я обнял ее и попытался успокоить, но она была совершенно подавлена происходящим. Дело кончилось тем, что через два дня мы перебрались в комнату Розы. Обе — Роза и мать — спали на Розиной кровати, а я — на матраце, который старый Тойбер притащил из чьей-то разбомбленной квартиры. «Смотри, получишь когда-нибудь пулю в затылок, если будешь мародерничать», — покачав головой, сказала мамаша Тойбер. — «Нехватало еще, чтобы по твоей милости кто-то разнюхал про наших постояльцев».

Перебравшись в комнату Розы, мы, наконец, обрели относительный покой.

Теперь мы могли спать всю ночь без происшествий. Если, конечно, не было воздушной тревоги.

И все-таки нам пришлось искать новое место, потому что приехавший с фронта на побывку Феликс устроил большой скандал, узнав, что мы евреи. Лона на этот раз действовала очень энергично и быстро нашла для нас новое пристанище в дачном поселке, принадлежащем обществу огородников. Одна из знакомых Лоны была членом этого общества и предоставила в наше распоряжение свой садовый домик, даже не спрашивая, кому и для чего он нужен. Наверное, это было ей совершенно безразлично. А может быть, она подумала, что Фуркерт опять совершил что-то криминальное и вынужден скрываться.

В садовых домиках общества огородников не было ни души. Стояла необычно холодная для начала декабря погода, и мы страшно мерзли.

В домике была старая печь с металлическими конфорками, которую мы без особого успеха пытались топить. К тому же по вечерам нам нельзя было зажигать свет — его тотчас бы заметили. По ночам было так холодно, что у нас сводило губы. К счастью, у нас были старые пуховые перины. Мы укрывались ими, не снимая верхней одежды. В верхней одежде и под перинами было более или менее терпимо. Лона навещала нас каждые три дня. Она приходила ранним утром и приносила нам, как она выражалась, что-нибудь пожевать. Она тоже попыталась справиться с нашей печкой. Домик сразу наполнился удушливым чадом. Мы начали кашлять и кашляли долго, до боли в легких. Однако разжечь огонь в печке Лоне удалось. Через пару часов чад вытянуло, мы снова закрыли окно, и в домике стало тепло. Торжествующе усмехнувшись, Лона посмотрела на свои руки: «Это настоящие рабочие руки», — сказала она. — «Очень

пригодились в такое тяжелое время».

«Мои руки работали гораздо больше твоих. Ты себе и представить не можешь», — с усмешкой ответила мать.

«Так почему же ты не смогла справиться с этой печкой? Или твои еврейские руки слишком хороши для такой работы?»

Обе с вызовом смотрели друг на друга. Наконец мать отвела глаза и обернулась ко мне. И вдруг Лона беззвучно заплакала.

«Я ведь тоже не железная», — жалобным голосом сказала она. — «Я сама не знаю, что говорю. Не могу совладать со своими нервами, и все тут! И все время у меня перед глазами Якоб, там, в больнице на Иранишенштрассе. Я всякий раз удивлялась, что умирающий может так разумно говорить. Помнишь, голова у него стала маленькой, как у ребенка! С тех пор не могу избавиться от страха. Я боюсь эсэсовцев, этих кровавых псов!»

Она подошла к матери, которая все еще смотрела в мою сторону, и обняла ее. «Не принимай это так близко к сердцу, Роза. Я ведь не хотела обидеть тебя, хотела только напомнить, что я из рабочей семьи. А у евреев предубеждение против пролетариев. Это меня раздражает. Но ты же знаешь — я не антисемитка. И никогда ею не была».

Все еще обнимая мать, Лона усадила ее на стул.

«Все вы в той или иной степени антисемиты. Только в некоторых антисемитизм запрятан очень глубоко. А чуть что, он сразу вылезает наружу».

Мать продолжала смотреть на меня.

«Я тут ради вас на части рвусь, всякий раз помираю от страха — а вдруг эсэсовцы что-то пронюхали и теперь возьмут меня в оборот, а ты упрекаешь меня в антисемитизме».

«Я не упрекаю тебя в антисемитизме. Я только сказала, что каждый из вас хоть чуть-чуть, да антисемит. Скрытый антисемит. Иначе зачем было тебе упоминать о моих еврейских руках?»

«А разве я не упомянула о моих пролетарских руках?» Лона вскинула свои руки вверх, и обе затряслись от смеха. Они хохотали громко, заливисто, по-девчоночьи. Казалось, сейчас они выбегут из домика и начнут играть в салки. «Какую чушь они только что несли!» — подумал я, глядя на них.

Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, таким заброшенным, как в тот момент. Мне еще не было тринадцати лет, но я, как мне казалось тогда, был уже совершенно никому не нужен. Матери без меня было бы гораздо проще.

Да и Лоне, наверное, прятать одну мать было бы во много раз легче, чем нас двоих. Да так ли уж на самом деле хочу я дожить до конца войны? Что будет с нами, если наци все-таки выиграют эту войну? Если у них в руках вдруг окажется какое-нибудь чудо-

оружие? Стоит ли в таком случае цепляться за жизнь? И вообще — сколько еще времени нужно прятаться? Прятаться в этом холоде, с этими глупыми женщинами?

Я тосковал по теплой постели Розы Тойбер, по ее грубоватому берлинскому говору. Я тосковал по дому, — своему, настоящему дому с кирпичными стенами, деревянными полами и закрывающимися дверьми.

Стоя у окна садового домика, я глядел на безотрадный пейзаж, на серое декабрьское небо. Я не понимал тогда, какое это счастье — вот так стоять и смотреть на унылый пейзаж за окном, на затянутое облаками небо. Я заплакал.

Обе женщины бросились ко мне, наперебой стараясь обнять, утешить. «Да, конечно, мы не сдержались, это наша вина. Но таких стычек никогда больше не будет», — уверяли они меня.

Я принимал ласку матери, выслушивал ее обещания, но мировая скорбь все больше овладевала мною. Целые дни я молчал, не произнося ни слова. Молчал даже тогда, когда мать пыталась вызвать меня на разговор. На все вопросы я или кивал в знак согласия, или качал головой. Молча.

Я видел, как страдает мать от моего молчания, как с трудом подавляет в себе желание сорваться, закричать на меня. Это ей почти всегда удавалось. Но я упрямо молчал. Думаю, мне даже доставляло удовольствие мучить ее.

Теперь Лона все чаще присылала к нам своего мужа, Фуркерта. Он приносил нам продукты, теплое белье, а однажды даже принес для матери новую, с иголочки, военную шинель. «Это наверняка краденое», — сказала мать, когда Фуркерт ушел. Она брезгливо подняла шинель двумя пальцами.

«Мы должны отдать это Лоне обратно. Вещь, конечно, теплая, но оставлять ее нам нельзя».

Я удивленно уставился на мать.

«Думаю, отдавать шинель обратно не нужно. Фуркерт может обидеться, и кто знает, как он себя тогда поведет».

Фуркерт приходил к нам все чаще, даже тогда, когда Лона не просила его об этом. Очевидно, моя мать нравилась ему. Иногда он приносил целые чемоданы с какой-то дешевой одеждой.

«Теперь ты можешь открыть здесь трикотажный магазин», — ухмыляясь, говорил он матери.

Его подарки пугали нас. И вдруг он пропал. Может, Лона запретила ему приходить к нам? А может, он опять попал в тюрьму? В нашем садовом домике снова стало скучно. Чемоданы с одеждой Лона унесла, дав понять, что ее муж украл эти вещи. Запасы топлива были у нас на исходе. В кладовке становилось все меньше угольных брикетов и дров. Мать сказала об этом Лоне, и

та обещала, что хозяйка домика опять завезет нам топливо. Однако ничего нам так и не завезли. Топливо приходилось экономить. Мать проявляла чудеса изобретательности, стараясь сохранить в домике тепло.

Именно в это время мне пришла в голову мысль убежать. Я не хотел быть обузой (так мне казалось) для матери, но и она тоже не должна были стеснять меня. У меня был план. Я хотел обойти все еще оставшиеся в Берлине консульства. Но сначала нужно будет разузнать, нет ли там немецких представителей. Самое безопасное, думал я, обратиться к шведам. Швеция — нейтральная страна, участия в войне она не принимает, и там, кажется, почти нет антисемитов. «Почему?» — спросил однажды мой отец и сам на этот вопрос ответил:

«Там слишком холодно для нас — ведь мы же восточные люди! И еврейская община там, наверное, крошечная».

Тогда все смеялись отцовской шутке. Отец был замечательным рассказчиком. Каждую субботу у нас собирались друзья и родные, чтобы послушать его удивительные истории. У отца уже тогда были больные легкие, поэтому обычно он лежал в столовой на широком диване.

Мать ставила на стол громадные блюда с картофелем и вареной говядиной, к которой она всегда подавала тертый хрен. После еды на стол ставилась настойка из изюма. Все набрасывались на еду как после недельного поста. Отец не ел вместе со всеми, но с удовольствием смотрел, как гости расправлялись с едой. Время от времени он рассказывал какой-нибудь анекдот или коротенькую историю. Когда же на столе появлялась настойка, наступала очередь основного повествования. Некоторые истории он рассказывал по нескольку раз, но каждый раз по-разному.

Одна из историй называлась «Анна и собака». Насколько я помню, речь в ней шла о страхе, который испытывала мать при виде собак. Однажды, когда она с полными сумками возвращалась домой, ей навстречу откуда-то выскочил пудель. Сумки были тяжелые, быстро идти она не могла. Увидев пса, она от страха остановилась как вкопанная. Подбежав к матери, собака прыгнула на нее. Руки матери были заняты, и тогда в отчаянии она укусила собаку за нос.

Собака, визжа, побежала обратно к своей хозяйке. Та сразу же заявила в полицию, и это обернулось для отца длительным судебным разбирательством.

Речь шла о том, что еврейский укус носа арийской собаки приравнивается к серьезному преступлению. Отец смог помешать аресту матери только потому, что судья, который занимался этим

делом, не выносил собак. Отец клятвенно пообещал судье отравить пуделя. О чем и уведомил хозяйку собаки, после чего та покинула Берлин и перебралась в Баварию, где, как ей стало известно, к собакам относятся намного лучше. «Шведскую историю» отец рассказывал много раз. Главной фигурой в ней был ассимилировавшийся еврей по имени Абрахам Эклунд, который на вопрос, почему его назвали этим библейским именем, ответил: «Один из моих предков был главным раввином у викингов».

Итак, я решил — нужно идти в шведское консульство. К викингам. И однажды утром, когда мать ушла, чтобы встретиться с Лоной, я осуществил свое намерение. В кармане у меня всегда было немного денег — на всякий случай.

Полистав телефонную книгу, я нашел нужный мне адрес. Шведское консульство находилось тогда в районе Вильмерсдорф недалеко от Траутенауштрассе. Я не помню, как добрался до консульства. Помню только, что очутился перед довольно высокими коваными воротами с вделанным в эти ворота электрическим звонком. Я нажал кнопку звонка. Из дома торопливо вышел какой-то человек в теплом пальто и на хорошем немецком языке попросил меня снять палец с кнопки. Он быстро провел меня в дом. Снаружи здание консульства выглядело довольно скромно, но внутри показалось мне очень просторным.

«И что же дальше?» — подумал я. Человек в пальто привел меня в хорошо обставленную теплую комнату. Прикрыв за собой дверь, он указал мне на кресло и затем снял пальто. Он был без пиджака, в одной верхней рубашке. «Тебе повезло, что не работает аварийная сигнализация», — сказал он. — «Ты мог бы звонить и звонить, пока палец к кнопке не примерзнет!»

«А что произойдет, если аварийная сигнализация сработает?» — спросил я.

В глубине моей души шевельнулся страх.

«Мы соединены с ближайшим полицейским участком. И после сигнала они уже через пару минут здесь. Вот тогда бы тебе и влетело!»

Замолчав, он посмотрел на меня. Я тоже молчал.

«Тебе холодно?» — через какое-то время спросил он.

«Немного».

Он поднялся с кресла и вышел в дверь, расположенную позади его письменного стола. Я остался один. В комнате было тепло, я согрелся. Но пусть он думает, что мне холодно — это не повредит, а он отнесется ко мне с сочувствием. Но ведь он в любой момент может привести сюда полицию! Что мне тогда делать?

Прошло довольно много времени. Что-то здесь не так, подумал я. Он же меня совсем не знает — как же он оставил меня одного в своем кабинете? Ведь я могу что-нибудь украсть и убежать! Может, дом охраняется? Хотя я никого не заметил. Я хотел уже подняться и уйти, но тут дверь открылась, и в комнату вошел мой новый знакомый с большим подносом в руках. Он поставил поднос на столик возле дивана и сказал, что сегодня тоже еще не ел. Подойдя к открытой двери, он сказал кому-то несколько слов, очевидно, по-шведски, и закрыл дверь снова.

«Давай, начинай», — пригласил он и сел на диван. — «Ты же хочешь есть, поэтому и пришел сюда, не так ли?»

Я поглядел на поднос. На нем стояли тарелки с какой-то красной колбасой, разными сортами сыра, джем, масло и корзинка с хлебом.

«Ну, ешь же», — подбодрил он меня. — «Не бойся, это не ядовито».

«А почему колбаса такая красная?» — спросил я.

Он рассмеялся.

«Чтобы свежее выглядела».

Вдруг дверь снова открылась, и какой-то человек внес в комнату еще один поднос, на котором стояли чашки и большой чайник. Человек молча поставил поднос на столик и вышел.

«Чай?» — спросил мой новый знакомый и, не дожидаясь моего согласия, наполнил мою чашку.

Я начал есть.

«У нас часто бывают немецкие дети, которые соскучились по настоящему завтраку. Особенно после бомбардировок. Но сначала они, конечно, должны записаться. Бездомные вроде тебя обычно к нам не приходят».

«Вы только что говорили по-шведски?»

«Да, я же швед!»

«Откуда вы так хорошо знаете немецкий?»

«Я учил немецкий в школе. А сотрудники посольства получают специальное образование и обязаны учить язык. И кроме того, моя мать — немка. Правда, она отказалась от немецкого гражданства и приняла шведское».

«Почему?»

«Так она захотела. Ради порядка. Хотя мой отец не возражал, если бы она осталась гражданкой Германии».

Мое любопытство, по-видимому, развлекало его.

«А почему она не захотела сохранить гражданство?» — повторил я.

«Я тебе уже сказал — ради порядка».

«Ради порядка не обязательно становиться шведкой».

Страх все больше овладевал мною. Я хотел только одного — уйти отсюда.

Меня не покидало ощущение, что в любую минуту здесь может появиться полиция.

«Почему это тебя так интересует? Ешь, сколько захочешь, пей свой чай, а потом можешь уходить. А если ты думаешь, что я или моя мать имеют что-то против Германии, ты ошибаешься. Нам Германия нравится, она прекрасна».

«Прекрасна? С непрерывными бомбежками? С улицами в развалинах?»

«Довоенную Германию мы тоже знали».

Он испытующе посмотрел на меня. Неожиданно для самого себя я решил рискнуть и рассказать ему все.

«Я пришел сюда не ради еды. Я пришел просить у вас защиты и помощи. Моя мама не может больше таскать за собой».

Он смотрел на меня. Лицо его оставалось бесстрастным, но глаза были печальны.

«Кто твоя мать?» — спокойно спросил он.

«Моя мама еврейка», — ответил я.

«Значит, ты еврей? Или твой отец немец?»

«Моего отца почти убили в Заксенхаузене».

«Почти?»

«Он умер в еврейской больнице на Иранишенштрассе. Незадолго до смерти моя мама забрала его из концентрационного лагеря уже смертельно больным».

«Твоя мать, наверное, очень хорошая женщина».

«Да, конечно».

«Я бы с удовольствием познакомился с ней».

«Это невозможно. Она не знает, что я здесь».

«Ну и дела!»

«Мы живем в садовом домике. Там очень холодно, и мы ужасно мерзнем. И еды у нас тоже маловато. Думаю, без меня ей, может, легче будет продержаться».

«Наверняка нет!»

Он спокойно смотрел на меня. По его лицу было невозможно понять, о чем он думал.

«Ты хоть раз задумывался над тем, как беспокоятся матери о своих детях? А если то, что ты рассказал, — правда, представляешь, как она боится за тебя?»

«Она наверняка рада, что я ушел», — врал я. — «Думаю, что нам будет легче пробиться в одиночку. Сюда она никогда бы не решилась прийти».

«Съешь еще что-нибудь! И знаешь, что я думаю? Ни одному твоему слову я не верю. Сказки ты хорошо умеешь рассказывать».

«Вы считаете, что я вас обманываю? Что я все придумал?»

«Сколько тебе лет?»

«Двенадцать».

«Для твоего возраста ты очень хитер».

«Я бы себе тоже не поверил», — ухмыльнулся я.

«Идем со мной».

Он встал и взял меня за руку. Я попытался сопротивляться, но он потащил меня с собой. Мы вышли в дверь позади его письменного стола и пошли по довольно длинному коридору. Наконец мы остановились перед полуоткрытой дверью. Это был туалет. Он втолкнул меня туда и закрыл за собой дверь.

«Ты, конечно, хочешь писать?» — спросил он.

«Нет, не хочу».

«Но тебе нужно пописать. А ну, снимай штаны!»

«А вам не нужно писать?» — ухмыльнулся я.

«Сейчас ты у меня получишь!»

Я почувствовал — он очень рассердился. Я спустил штаны. Он коротко взглянул и велел мне снова натянуть штаны. Потом мы вернулись в его кабинет. Он велел мне подождать и вышел куда-то. К моему собственному удивлению, это совершенно не испугало меня. Все происходящее даже начинало нравиться мне. Мне было интересно — что он теперь предпримет. Кушетка, на которой я сидел, была очень удобной. Я лег и вытянул ноги.

«Посмотрим, что теперь будет. Или здесь появятся полицейские, или он приведет с собой двух викингов, которые переправят меня через границу».

Незаметно для себя я заснул и проспал, должно быть, довольно долго. Когда он разбудил меня, я вскочил, как ужаленный. Он закрыл мне рот рукой и попытался успокоить.

«Нам надо серьезно поговорить», — сказал он и сел рядом со мной на кушетку. — «Ты, конечно, понимаешь, почему в туалете я заставил тебя спустить штаны. Поверь, мне самому было очень неприятно. Но ты, наверное, и сам догадываешься, с какими уловками нам приходится сейчас сталкиваться. Хорошо, я готов тебе поверить. Но в этом случае возникают две проблемы. Во-первых, я не посол, а всего лишь атташе, секретарь посольства. Это означает, что у меня нет никаких полномочий и сам я ничего не решаю. Без ведома посла я не имею права что-либо предпринимать и тем более обещать что-то. В Германии посла сейчас нет, он будет только к концу недели. Посол — единственный человек, который смог бы — предположительно смог бы — найти какой-то выход. Но я хочу тебе сказать: не жди, что он может переправить тебя через границу в Швецию. Он не имеет на это права, а на незаконные действия никто из нас,

сотрудников посольства, не пойдет. Вторая проблема: твоя мать. Даже если бы мы могли что-то для тебя сделать, при всех обстоятельствах нам необходимо согласие твоей матери. Я предлагаю тебе вернуться к матери и посоветоваться с ней. После этого ты можешь снова связаться с нами. Может быть, к этому времени мы что-нибудь придумаем».

«Как?» — спросил я.

«Что как»?

«Как я могу снова связаться с вами?»

Я чувствовал себя совершенно разбитым. У меня не было сил подняться. Мне было ужасно стыдно, и хотел я только одного: уйти отсюда. Но я продолжал говорить.

«Вы же сами сказали, что мне здорово повезло, раз удалось попасть сюда. А если хотите отделаться от меня, скажите об этом прямо».

Он пропустил мое заявление мимо ушей.

«Я дам тебе номер телефона. Позвони мне на следующей неделе. Если трубку снимет кто-то другой, не говори ничего. Вообще ничего. Ты можешь разговаривать только со мной. Как я тебя узнаю?»

«Я не могу назвать вам своей настоящей фамилии. Сейчас моя фамилия Гемберг».

«Мне совсем необязательно знать, как твоя настоящая фамилия», — перебил он меня. И добавил, посмотрев мне в лицо: «Более того. Позвонив по телефону, ты должен к своей фамилии добавить что-нибудь. Например, химчистка Гемберг или что-то в этом роде».

«Химчистка Гемберг, Нойкельн», — съязвил я. Он засмеялся.

«„Нойкельн“ можешь не добавлять. И пожалуйста, отнесись абсолютно серьезно к тому, о чем мы с тобой договорились. Еще одно. В посольстве никто не знает, что мы знакомы. Это я говорю в моих собственных интересах, потому что не уверен, одобрит ли здесь кто-нибудь мои действия. А о самом после говорить вообще не нужно».

Он написал на листке номер телефона и поспешно выставил меня за дверь.

«В чем-то он похож на нашего „чокнутого эсэсовца“», — подумал я, снова оказавшись по другую сторону кованых ворот. Бережно сложив листок с телефонным номером, я спрятал его в своем ботинке.

Затем я отправился обратно в Нойкельн. Назад, в промерзший садовый домик, к матери — она, наверное, еле жива от страха. Этот швед прав. Занятый собственными переживаниями, я совсем забыл о матери. Мне стало совестно.

Однако когда я подошел к домику, то увидел, что мать еще не вернулась. Ключ все еще лежал в условленном месте. Я отпер дверь. Огонь в печурке погас, в домике было холодно и сыро. «Если мне сейчас удастся разжечь огонь и согреть комнату, у мамы, наверное, и настроение улучшится», — подумал я.

Я еще никогда не растапливал печь, но мне сразу удалось это

сделать.

Случайно ли так получилось, или дрова были сухими, — не знаю. Через какое-то время я подбросил в печку пару угольных брикетов. Комната быстро согрелась.

Наконец вернулась мать, нагруженная тяжелыми сумками, и без сил повалилась на кровать. Она, кажется, даже не заметила, как тепло в домике.

«Долго меня не было?» — спросила она. — «Что ты делал все это время? Надеюсь, ты не очень беспокоился?»

Я молча стоял перед лежащей на кровати матерью. Когда же она, наконец, почувствует, как у нас тепло?

«Знаешь, где я была?» — продолжала она. — «Я была у Хотце в Каульсдорфе. Жены его не было, но я познакомилась с его свояченицей. Дом у Хотце небольшой, но с большим садом. Нас туда отвез его друг, господин Радни У Радни — птицеферма недалеко от Кепеника, патруль его почти никогда не проверяет. Это было очень приятно. Посмотри, что я принесла!»

Она вскочила с кровати и с торжеством показала мне содержимое сумок.

«Видишь, цыпленок! Как давно я не ела курятины!»

Мать была вне себя от радости. Один за другим она вытаскивала из сумок продукты: масло, буханку хлеба, сельдерей и кольраби.

«Овощи дал Хотце», — говорила она. — «У него большой огород. Он дал мне еще морковь, она такая полезная, особенно для глаз и зубов. В твоем возрасте нужно есть побольше овощей. Ничего, ты еще наверстаешь упущенное. Хотце говорит, — весь этот ужас скоро закончится».

Такой счастливой я не видел мать уже очень давно. Она то и дело взвешивала в руке тушку цыпленка и восхищенно повторяла:

«Смотри, какой откормленный!»

Матери хотелось, чтобы я тоже разделил ее радость. Мы разложили все принесенное на кровати.

«Сегодня вечером мы устроим пир! Наедимся до отвала!»

Теперь, наконец, она увидела, что в печке пылает огонь.

«Ты затопил печку!» — воскликнула она и порывисто обняла меня. — «Потрясающе! Ты просто гений. Мой сын гений!»

Она бросилась вместе со мной на кровать, прямо на всю эту снедь.

«Мама!» — закричал я. — «Осторожно, масло!»

«Мама, осторожно, масло!» — смеясь, передразнила меня она.

На нее напал приступ безудержного хохота. От смеха она закашлялась. Я хлопал ее по спине, чтобы она перестала.

«Мама, осторожно, масло!» — задыхаясь от смеха, повторила

она. — «Сегодня вечером в меню — мама, масло и цыпленок».

Мне было совсем не до смеха. Я был рад, что мать не заметила моего состояния. На следующей неделе я позвонил в шведское посольство. Атташе сразу снял трубку. Он сказал, что я должен оставаться там, где нахожусь в данный момент. Он сам придет ко мне. Теперь я не помню, почему мы встретились с ним у станции метро Янновицбрюкке. Он вышел из метро и сразу, не поздоровавшись, потянул меня прочь от входа. Мать опять ушла куда-то «за добычей», и у меня было много времени.

«Где твоя мама?» — неприветливо спросил он.

Я рассказал ему, что она уже три дня как исчезла, и я не знаю, где ее искать. Кроме того, у меня закончились топливо и продукты, но не могу же я без конца бегать по городу! От этой беготни я страшно устаю, а пользоваться городским транспортом не могу — опасно.

Как и в первый раз, он опять сказал, что не верит ни одному моему слову. Тогда я попросил его пойти вместе со мной в поселок огородников, чтобы он сам мог убедиться в том, что я говорю чистую правду. Про себя я молился, чтобы мать к этому времени еще не вернулась Было бы лучше всего, если она вернется ближе к вечеру. К моей просьбе атташе отнесся очень серьезно. Какое-то время он с недовольным видом шел со мной пешком. Однако ему это скоро надоело.

«Давай рискнем, поедем на метро. Куда нам ехать?»

«До Германплац. А оттуда — минут десять пешком».

Нам повезло. Увидев наш домик, он вначале не хотел входить туда. Я открыл дверь и вошел внутрь. Помедлив, он последовал за мной, быстро огляделся по сторонам и снова взял меня за руку.

«Идем», — сказал он. — «Закрой дверь и идем отсюда».

«Сейчас здесь безопаснее, чем где-нибудь в другом месте. Осталось еще немного дров, и я могу затопить печку, если вам холодно. В это время года здесь никто не бывает. Нас никто не услышит», — продолжал я свою игру.

«Идем отсюда» — повторил атташе.

Я заметил — он боится. Он боится оставаться здесь, и с каждой минутой боится все больше.

«Мы отправимся на станцию „Штеттинский вокзал“. Хорошо бы тебе переодеться. У тебя здесь есть другая одежда?»

Я отрицательно покачал головой.

«Ни другой шапки, ни другого шарфа, ни других ботинок?»

«Нет. Только то, что на мне надето».

«Ну ладно. Идем».

Он буквально вытащил меня из домика. Я закрыл дверь и положил ключ в условленное место.

«Это для мамы. Может быть, она еще вернется сюда».

Он был просто в панике, да и я сам себе в этот момент казался таким жалким, ничтожным. По дороге к вокзалу он сказал, что никаких возможностей переправить меня в Швецию нет. Это нежелательно для обеих сторон, Обе страны — и Германия, и Швеция — уже приняли все меры, чтобы предотвратить подобные случаи. А теперь он хочет представить меня сестре из шведского Красного Креста, которая держит связь с немецким Красным Крестом и национал-социалистическим женским объединением. Подобные связи нужно поддерживать для того, чтобы облегчить положение людей, которые в этом нуждаются. Во всяком случае, эта сестра, наверное, знает путь, чтобы вывезти меня из опасной зоны.

Его начальник, шведский консул, ничего не обо мне не знает. Атташе не хочет впутывать своего шефа в эту историю. Да, он хотел мне помочь, но это было только его собственной инициативой, и поэтому я никогда и ни при каких обстоятельствах не должен ссылаться на содействие консульства.

После дневного воздушного налета (этот налет мы переждали в одном из городских бомбоубежищ, причем атташе выдал меня за своего приехавшего из Швеции родственника и, видимо, произвел на всех впечатление, предъявив свой дипломатический паспорт) мы, наконец, добрались до Штеттинского вокзала.

Некоторое время нам пришлось подождать. Затем к нам подошла какая-то женщина и спросила его, не он ли — господин из шведского посольства. Атташе кивнул и тихо заговорил с ней по-шведски. Во время этой беседы женщина все чаще поглядывала в мою сторону. На ее лице появилось испуганное выражение. Затем атташе поднялся, быстро попрощался со мной и исчез. Больше я его никогда не видел.

«У тебя не слишком-то арийская внешность», — прошептала женщина.

Она присела рядом со мной.

«Ты чистокровный еврей?»

Ее вопрос рассмешил меня.

«Все ясно. Значит, чистокровный», — тихо сказала она.

Она говорила с сильным акцентом. Несколько раз, не поняв ее, я вынужден был переспрашивать.

«Сейчас я передам тебя моей подруге. Она будет знать, кто ты. Я и не ожидала, что ты такой смуглый».

«Меня часто принимают за итальянца».

«Хорошо. Но каким образом итальянский мальчик очутился в Берлине у Штеттинского вокзала? Да, непростая ситуация», — сказала она.

Я улыбнулся, и она улыбнулась мне в ответ.

«На всякий случай: твой отец воюет на восточном фронте, а твоя мать погибла во время бомбежки. Такая легенда тебя устраивает?»

«Только при необходимости», — прошептал я.

«Не беспокойся. Моя подруга сама расскажет о тебе. Но ты это тоже должен знать».

Взяв меня за руку, она вместе со мной вышла из комнаты.

Это была высокая, костлявая женщина с тяжелой челюстью и волосами соломенного цвета. Ее солидный вид внушал уважение. Но ее низкий голос звучал мягко, нежно и доверительно.

На вокзале царил невероятный хаос. Часть вокзала при последнем налете была разрушена, некоторые платформы были разворочены, завалены грудами битого кирпича и мусора.

«Сейчас я познакомлю тебя с одной сестрой из женского НС-объединения. Ты знаешь, что означают эти буквы?»

«Я знаю, что эти сестры делают, а НС — это, наверное, что-то связанное с нацистами».

«Замолчи!» Она страшно рассердилась, и ее акцент стал еще более заметным.

«Никогда так не говори, а то все узнают, кто ты. Ты ведь уже достаточно большой, чтобы это понимать».

Женщина взяла меня за плечи и встряхнула. Она внезапно преобразилась, выражение лица стало суровым. Даже голос стал каким-то жестким.

«Ты согласен со мной?»

Я кивнул.

«Если ты не можешь владеть собой, то в таком случае я не хочу тебя с ней знакомить. Ты понимаешь меня?»

«Понимаю», — быстро сказал я.

«Обещаешь мне, что будешь говорить только то, чему я тебя учила? Иначе всем нам крышка, а мою подругу сразу расстреляют».

Я согласно кивнул, но про себя подумал: «Ну уж это, конечно, явное преувеличение».

«Моя подруга очень хорошая женщина, а состоит она в национал-социалистической попечительской организации только потому, что хочет помогать другим людям. Всем без исключения, понимаешь?»

«Понимаю», — ответил я.

«Ну хорошо, тогда идем».

На мгновение остановившись, она еще раз внимательно посмотрела на меня.

«Ты и в самом деле выглядишь как-то слишком… по-

южному».

«Что, слишком на еврея похож?» — тихо спросил я.

Она снова посмотрела на меня долгим взглядом. «Да нет, пожалуй, больше на итальянца», — засмеялась она и потянула меня за собой.

На вокзале царил ужасный шум. Люди стояли на путях и пытались поднять свой багаж на уцелевшую платформу. В самой середине рабочие расчищали завалы. К вокзалу медленно подходили поезда и, пуская пар, ждали, когда можно будет снова подъехать к платформе. Казалось, будто весь Берлин собрался уезжать.

«И убитые есть?» — спросил я.

«Очень много», — ответила шведка. — «Бомба попала в состав, в котором ехали военные. В самую середину. Вагоны первого класса, и такие чистые! Там было много солдат-эсэсовцев. Они все направлялись на восточный фронт».

Женщина посмотрела на меня, как будто хотела увидеть, как я отнесся к ее рассказу. Я сделал непроницаемое лицо.

«Тебя это очень огорчает, правда ведь?»

«Очень!» — ответил я. Она сочувственно улыбнулась.

Мы остановились перед небольшим, наспех сколоченным деревянным бараком, на котором красной краской был нарисован крест. Не постучав, шведка открыла входную дверь.

Сначала я увидел детей. Несколько детей сидело на стоявших вдоль стен деревянных скамейках. Остальные стояли, тесно сгрудившись. Некоторые были ранены. Маленькая девочка с забинтованной головой вызывающе посмотрела на меня.

«Какая у тебя красивая шапка», — сказала шведка и погладила девочку по щеке.

«Это повязка», — спокойно ответила малышка, не спуская с меня глаз. — «Меня тяжело ранило. Я только-только попрощалась с моим папой, и вдруг как хлопнет! Папу, наверное, убило».

Она проговорила это с какой-то гордостью. Глаза ее оставались совершенно сухими. Я молчал.

«Сколько тебе лет?» — спросила меня девочка.

«Двенадцать», — послушно ответил я.

«Тогда тебе надо подождать. Моему папе было двадцать восемь».

Моя шведка осторожно, но энергично пробиралась сквозь толпу детей, таща меня за собой. У торцевой стены стоял грубо сколоченный деревянный стол и два стула — один перед столом, другой позади него. За столом сидела высокая, полная женщина с темными, собранными в строгий пучок волосами. Лицо у нее было очень усталое, но приветливое. Она взглянула на нас с

таким видом, как будто ждала нас уже давно.

«А вот и вы», — сказала она, поднявшись нам навстречу.

Она поздоровалась с моей шведкой за руку и предложила ей сесть, указав жестом на второй свободный стул. «Сейчас я запишу данные этого молодого человека, а потом включу вас в список».

Ну и великанша! Она показалась мне гораздо выше шведки. У нее был приятный акцент.

«Она австрийка», — подумал я.

Ее голос был похож на голос актрисы в фильме, который мы с матерью смотрели во время поисков нашего первого убежища.

Женщина записала сведения обо мне:

«Макс Гемберг, проживал в районе Шарлоттенбург, остался без жилья в результате бомбежки, мать не найдена, отец на восточном фронте».

Откуда-то из-под стола она достала серое одеяло и сунула его мне в руки. «Это государственная собственность», — сказала она. — «Отдашь обратно, когда тебе больше не будет нужно».

Потом снова повернулась к шведке.

«Через полчаса, если Господь Бог и американцы это допустят, отсюда отходит поезд на Уккермарк. В этом поезде наша организация отправляет туда детей, чьи родители пропали без вести, погибли или не найдены. Детей привезут в район Страсбург-Уккермарк, в бывший учебный центр „гитлерюгенда“. Самое главное — это место не бомбят. Во всяком случае, пока не бомбят. Но в любой день лагерь может потребоваться вермахту, и тогда будем думать дальше».

Она разговаривала с нами и одновременно непрерывно что-то писала. Внезапно она подняла глаза от своих записей и улыбнулась мне:

«Я буду сопровождать поезд, поэтому во время пути мы будем часто видеться. А в Уккермарке я устрою так, чтобы ты жил рядом со мной».

«Как зовут твоего отца?» — не глядя на меня, неожиданно спросила она. Я не был готов к такому вопросу и ответил:

«Якоб».

«Как зовут твоего отца? Хельмут, Франц, Отто?»

«Адольф», — сказал я.

Она посмотрела на меня. «Адольф», — повторила она и записала в своей тетради. — «Адольф Гемберг. Красиво звучит. Советую тебе держаться увереннее — даже чуть-чуть нахальства тоже не помешает».

Она наклонилась вперед.

«А насчет Якоба — этой промашки ты больше не допускай, понял?»

«Я не понял вопроса», — прошептал я.

«К подобному вопросу ты должен быть готов всегда, его могут задать тебе снова. Если ты ответишь, как в первый раз, сам знаешь, где можешь оказаться».

«Как зовут твою мать?»

Она испытующе посмотрела на меня.

«Роза».

«Ну что ж, поверим», — проворчала она, записывая. — «Тебе только одиннадцать лет, понял?»

«Да».

«Для твоего возраста ты не такой уж высокий. А братья и сестры у тебя есть?»

«Я единственный ребенок».

«Где твой отец?»

«На восточном фронте».

«Где именно на восточном фронте? Ты ведь должен знать, на каком участке фронта воюет твой отец!»

«У нас уже давно не было от него никаких известий. Последнее письмо было с севера, кажется, где-то возле Ладожского озера».

«Какой чин имеет твой отец?»

«Унтер-офицер», — ответил я без запинки.

Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.

«Когда ты в последний раз видел свою мать?» Ее голос становился все громче.

«Последние недели мы жили в Нойкельне, в садовом домике. Она ушла за покупками, и как раз в это время началась воздушная тревога. Обратно она не вернулась».

«А где же был ты во время воздушной тревоги?»

«Я спрятался в траншее недалеко от нашего домика».

«И ты потом не искал мать?»

Теперь она почти кричала. В комнате, наоборот, стало тише — к нашей беседе начали прислушиваться.

«Я обошел все магазины в нашей округе, которые были еще открыты. Ее никто не видел».

Я подумал о матери — она, наверное, теперь в ужасном состоянии. Может, забыв всякую осторожность, она уже начала искать меня? Только теперь до меня дошло, что я натворил, убежав из дома. И я заплакал. Я плакал все громче, все безутешнее. Если бы только я смог вернуться обратно! Кажется, все бы отдал, лишь бы удрать отсюда.

«Ну-ну, не плачь. Меня зовут сестра Эрна. Эрна Нихоф».

Через стол она протянула ко мне руку, но я цеплялся за мою шведку из Красного Креста.

«Я хочу домой», — всхлипывал я. — «Может быть, моя мама все-таки вернулась».

«Сколько времени ты оставался один в домике?»

«Два дня».

«Два дня? К сожалению, за это время с ней могло что-то случиться. Но сразу воображать себе самое худшее все же не нужно. Может быть, она лежит в больнице. Мы постараемся разузнать что-нибудь о твоей маме».

Она встала из-за стола.

«Попрощайся со своей приятельницей и поблагодари ее за все».

«Знаешь, ты очень хорошо справился со всем!»

Она снова внимательно посмотрела на меня. Я подал шведке руку. У меня было ощущение, что теперь я окончательно отрезан от остального мира.

«А теперь сядь на скамейку и подожди, пока я закончу свою работу. Мне нужно оформить других детей».

Мы сидели в тесном и душном вагоне. Наш поезд ехал очень медленно, иногда останавливаясь. Приходилось ждать, пока проезжал встречный поезд и можно было ехать дальше. Маленькая девочка, дочь погибшего при бомбежке эсэсовца, сидела рядом со мной. Мысли мои были далеко — я очень беспокоился о матери и думал лишь о том, как бы поскорей к ней вернуться. Мать девочки тоже состояла в национал-социалистической попечительской организации и тоже помогала «надзирать» за нами. Малышка так и сказала — «надзирать».

Это прозвучало совсем по-взрослому и одновременно как-то по-обывательски. Из-за этого девочка показалась мне просто маленьким чудовищем, хотя и была очень хорошенькой, светловолосой, кудрявой, с большими карими глазами. Ей очень хотелось иметь брата. Старшего брата. Это, конечно, уже невозможно. Но может быть, папа все же не погиб. Мама очень-очень быстро передала ее нашей сестре Эрне и опять куда-то убежала. А ее папа должен был воевать за будущее всех немцев — так всегда говорила мама.

Не прекращая болтать, она смотрела из окна поезда. И даже становилась коленками на скамейку, если видела что-то, интересовавшее ее.

В Страсбург мы приехали только поздно ночью. Нас погрузили в военный автомобиль-фургон с притушенными фарами и нарисованным на борту красным крестом и повезли куда-то. Эрна сразу села рядом со мной, спросила, как я себя чувствую, потом откинулась назад и тут же уснула.

Нас разместили в огромной помещичьей усадьбе. Самых

маленьких поселили в основном здании, старших распределили по баракам. В бараках нас встретила целая толпа сестер, членов этой же попечительской организации. Каждому из нас выделили по кровати. Мы бросили на кровати наши вещи и быстро легли, укрывшись привезенными с собой одеялами. Умываться с дороги нас, слава Богу, не заставили. Уже засыпая, я услышал, как кто-то сказал:

«Завтра будет большой банный день».

Было еще темно, когда я проснулся оттого, что кто-то довольно сильно тряс меня. Возле моей кровати стояла сестра Эрна.

«Собери свои вещи и идем со мной», — сказала она.

Я молча натянул брюки, сунул подмышку одеяло и куртку и последовал за Эрной. Быстрыми шагами она направилась через двор к основному зданию. Мы поднялись по лестнице к тяжелой железной двери, и Эрна открыла ее. За дверью оказался огромный зал. Через весь зал мы прошли к какой-то маленькой дверце. Эрна открыла дверцу. Мы вошли в комнату, в которой рядами стояли кровати. Сколько их было, я разглядеть не смог. Предостерегающим жестом Эрна приложила палец к губам и указала мне на пустующую кровать рядом с дверью. Потом она куда-то исчезла, а я сразу лег на кровать и укрылся своим одеялом. Я почувствовал, что подо мной не соломенный матрац, а что-то мягкое, очень удобное. Что именно это было, я так и не разобрался — слишком устал за минувший день.

Внезапно в комнате снова появилась Эрна. Она наклонилась надо мной и прошептала мне в ухо:

«Я сплю совсем рядом, за стеной, в маленькой комнатке. Не бойся ничего. Спи спокойно. Утром я тебе все покажу».

Я смертельно устал, и поэтому уснул сразу. Но и во сне я не переставал беспокоиться. Мне снились мать и Лона, которые искали меня, блуждая среди развалин. Я видел во сне Карла Хотце с его угрожающе блестевшим стеклянным глазом. То и дело я просыпался и надеялся лишь на то, что не разговаривал и не кричал во сне.

На следующее утро все выглядело гораздо приветливее. Меня разбудили соседи по комнате. Все кровати стояли вплотную одна к другой — можно было, не вставая со своей, перелезть на соседнюю, чем и занимались лежавшие на кроватях дети. Моя кровать стояла очень близко от двери — чтобы открыть ее, достаточно было просто протянуть руку.

Нас повели в большую умывальную, но, к частью, там можно было не снимать трусы. Те, у кого не было с собой, получили даже мыло и зубные щетки. Потом все пошли в

импровизированную столовую. Мы сидели за длинными столами. На завтрак нам обычно давали молоко, много хлеба и маргарин, а по выходным полагался даже мед и сливовое повидло.

Я чувствовал себя так плохо, что пропало даже желание есть. Днем меня клонило ко сну. Ночью же я часто не мог уснуть и плакал, укрывшись с головой одеялом. Я был в совершенном отчаянии и думал лишь о том, как вернуться обратно. Эрна наблюдала за мной с возрастающим беспокойством. Я буквально чувствовал, как растет ее страх. Через три дня Эрна отвела меня в сторонку.

«Нам нужно поговорить», — сказала она. — «Как ты считаешь?»

Я ничего не ответил, только посмотрел на нее.

«После обеда — это самое удобное время — мы с тобой пойдем погулять».

Сказав это, она заторопилась — ей надо было вовремя быть в столовой. Она шла очень быстро, и я с трудом поспевал за ней. Остановившись, она обернулась и без обиняков спросила, хочу ли я вернуться в Берлин. Я утвердительно кивнул. Знаю ли я, где моя мать? Я кивнул снова.

«Ах ты маленький наглец! Что ты натворил! Ты думал — это игра, интересное приключение?» — набросилась она на меня.

Я расплакался. Мне было невмоготу ее слушать, хотелось спрятаться, исчезнуть. Но Эрна не обращала внимания на мои слезы.

«Да знаешь ли ты, какой опасности меня подвергаешь? А какие неприятности из-за тебя могут быть у немецкого Красного Креста? А о нашей шведской приятельнице и говорить нечего. Какая муха тебя укусила?»

Она не могла прийти в себя от негодования.

«Сейчас же скажи мне, где твоя мать».

«Нет!» — закричал я.

«Я очень легко могу это узнать. Если я сейчас сообщу в гестапо, что к нам прибился какой-то мальчик без документов, мне поверят, а тебя будут допрашивать до тех пор, пока ты не скажешь, где находится твоя мать».

Она замолчала, ожидая моей реакции.

«Ну, так где же твоя мать? Все еще в Берлине?»

Я молчал.

«Господи, должна же я как-то привезти тебя обратно!»

Она обняла меня и прижала к себе.

«Я ведь только хочу знать, куда тебя везти — в Берлин, в Коттбус или в Финстервальде».

«Но ты говорила о гестапо!»

«Кто-то же должен попугать тебя! А то до сих пор, кажется, тебе было все нипочем!»

Она улыбнулась мне, и лицо ее мгновенно преобразилось. Она излучала доброту, глаза ее смеялись. Неожиданно для самого себя я обнял ее. Мне никуда не хотелось отпускать ее. Она гладила меня по голове.

«Ты доставляешь мне цорес», — сказала она.

От неожиданности у меня пересохло в горле. «Откуда ты это знаешь?» — спросил я.

«Что?»

«Цорес — это по-еврейски».

«Ну вот, теперь я еще и еврейский знаю!» — засмеялась она. — «Дома у нас всегда так говорили. Может быть, Гитлер обращался бы с вами по-другому, если бы вы ему растолковали, что такое цорес».

Я взял ее под руку, и мы медленно пошли в столовую.

«Значит, ты хочешь назад? К маме? И она сейчас в Берлине? Верно?»

«Да».

«А ты знаешь, какое горе ей причинил?»

«Да, теперь я это понял».

Она сочувственно кивнула.

«Остается только надеяться, что твоя мама не натворит глупостей. Вы, конечно, скрываетесь? Как же трудно будет отвезти тебя в Берлин! Все матери отправляют своих детей оттуда, а ты хочешь назад. И вот что я тебе скажу».

Она остановилась.

«Я делаю это только ради твоей матери. Всего бы лучше — оставить тебя здесь, да еще поколотить за твои проделки. Ладно, не нервничай. Я что-нибудь придумаю. И перестань плакать по ночам — дети слышат!»

Спустя несколько дней Эрна вошла в помещение, где у нас были импровизированные занятия, и во всеуслышание объявила: ей сообщили, что мой отец сейчас в отпуске и приехал с восточного фронта в Берлин. Отпуск у него только два дня, и он очень хочет повидаться со мной. Поэтому я после обеда должен собрать свои вещи и быть готовым к отъезду.

Однако отправиться в путь мы смогли лишь вечером. В Страсбурге мы четыре часа ждали поезд и только на рассвете, смертельно уставшие, приехали в Берлин. Эрна Нихоф отпросилась со службы, чтобы «отвезти меня на свидание к отцу, приехавшему в отпуск с восточного фронта». «У меня остается еще два дня, и я могу навестить сестру, Я уж и забыла, как она выглядит», — объяснила мне Эрна. Потом она предложила, если я

хочу, сопровождать меня в поисках матери. По мнению Эрны, вместе с ней мне будет безопаснее.

«Наверное, я смогу лучше объяснить маме твое отсутствие», — ласково улыбнувшись, прибавила она.

«Если бы я был старше, то женился бы на тебе», — прошептал я.

«А я бы не вышла бы за тебя замуж», — ответила она тоже шепотом. — «Немецкая женщина не должна выходить замуж за еврея. Это было бы противозаконно. Гитлер категорически против таких браков!»

«Позор для нации», — сказал я.

«Вот именно», — засмеялась она. — «И кроме того, нам нужно согласие твоей мамы — ведь ты же несовершеннолетний!»

Мы хохотали как сумасшедшие. Эрна даже погрозила мне — тише, не так громко. Мы сидели одни в старом, душном вагоне, но все же нужно было вести себя осторожнее — вдруг кто-нибудь ненароком услышит.

«Враг подслушивает», — шепотом прочла она надпись на плакате, висящем на стене вагона. На плакате был изображен черноволосый человек с еврейской внешностью.

«Какого врага они имеют в виду?» — тихо спросил я.

«Тебя», — ответила она. — «Ты ведь и есть тот самый. И тебя нам всем нужно остерегаться».

Она крепче прижала меня к себе и выглянула в вагонное окно. Поезд ехал все медленнее и наконец остановился. Мы были уже недалеко от Берлина. Из вагонного окна было не слишком-то много видно, но издали были отчетливо слышны разрывы бомб и грохот зенитных орудий.

«Как же все разворочено», — проворчала она. — «Если так и дальше пойдет, только бункер фюрера и уцелеет».

Через несколько часов ожидания поезд изменил направление, и мы прибыли на Лертер, один из берлинских вокзалов. На метро мы добрались до Германплац, а оттуда пешком дошли до нашего садового домика. В условленном месте ключа не было. Эрна Нихоф выжидательно взглянула на меня.

«Идем», — тихо сказала она. — «Сматываемся отсюда».

Но дверь вдруг открылась. Перед нами стояла моя мать. Она сильно похудела. Рядом с внушительной фигурой Эрны она казалась особенно хрупкой.

«Раньше она не была такой», — подумал я.

«Мама», — сказал я. — «Это Эрна».

«Я сотрудница попечительской организации, привезла вашего мальчика».

Эрна протянула матери руку. Мать не заметила протянутой

руки. Видимо, она даже не понимала, что ей говорили.

«Он заблудился», — добавила Эрна, все еще протягивая руку.

Мать нерешительно пожала протянутую руку, а я сказал:

«Я вернулся бы раньше, но не удалось».

И поняв, как глупо все это выглядело, взглянул на Эрну.

«Может, нам лучше пройти в дом, там удобнее беседовать», — сказала Эрна.

Мать без возражений впустила ее внутрь. Я быстро вошел вслед за Эрной. Мать закрыла дверь, но по-прежнему стояла у входа.

«Где вы его задержали?» — спросила она.

«На вокзале», — ответила Эрна.

Лицо ее приняло официальное выражение.

«Он слонялся по вокзалу».

«По какому еще вокзалу?» — в полном замешательстве спросила мать.

«По Штеттинскому».

«Что тебе там понадобилось?» Мать наконец обернулась ко мне.

«Я хотел уехать. Уехать из Берлина. Я не хотел быть обузой для тебя».

Внезапно мать с быстротой молнии бросилась ко мне и ударила меня по лицу. В эту пощечину она, казалось, вложила весь страх, все отчаяние последних дней. Удар был таким сильным, что я отлетел к противоположной стене и у меня из носа пошла кровь.

«Вот это да! В самую точку!» — изумленно выдохнула Эрна. — «Скажи честно — разве ты этого не заслужил?»

Мать опустилась на стул и зарыдала. Она выглядела такой больной и измученной. Мне хотелось броситься к ней, обнять ее ноги, но я не сделал этого. Чувство вины перед матерью осталось в моей душе до сегодняшнего дня. Эрна подошла к матери, положила ей руку на плечо. Все молчали. Наконец, прервав молчание, мать представилась:

«Меня зовут Роза Гемберг».

«А меня — Эрна Нихоф. Не знаю, как зовут вас на самом деле, но уж наверняка не Роза Гемберг. И отец мальчика вовсе не на восточном фронте. Знаю только, что вашего мальчика я задержала на вокзале во время дежурства».

Она огляделась.

«Когда зима будет на исходе, вам нужно уходить отсюда — владельцы домиков наверняка заявятся сажать овощи. Я не хотела бы…»

Она на мгновение замолчала.

«Что вы бы не хотели?» — перебила ее мать.

«Я бы не хотела, чтобы вы попали в неприятную ситуацию».

Эрна быстрыми шагами направилась к дверям. На пороге она обернулась и взглянула на меня.

«Будь здоров, мой маленький», — спокойно сказала она. — «И пусть вам повезет», — пожелала она матери.

Она уже открыла дверь, но вдруг вернулась назад, открыла свою сумку, достала оттуда карандаш и листок бумаги и что-то записала. Затем протянула листок матери.

«Не потеряйте и постарайтесь не оставлять на видном месте. Это мой адрес и номер телефона».

Она заботливо закрыла сумку и вышла из домика.

Оставшись одни, мы долго смотрели друг на друга.

«Нам нужно уходить отсюда. Кто знает, что она собирается сделать», — сказала мать.

«Она могла сделать что-нибудь еще раньше», — возразил я.

«Может, она хотела выяснить, где мы прячемся. Меня-то ведь она не знала».

«Тогда бы она не взяла меня в Страсбург», — сказал я.

«Куда? В Страсбург?» — спросила мать. Глаза ее тревожно заблестели.

«Я тебе все расскажу, но ты не бей меня больше, ладно?»

Она молчала. Я рассказал ей все. Мать выслушала мой рассказ со спокойным, бесстрастным лицом, ни разу не перебив меня. Когда я кончил, она встала и направилась к плите.

«Хочешь пить?» — спросила она. — «У меня есть мятный чай».

Я пил чай, ожидая, что она снова набросится на меня, но она заговорила со мной совершенно спокойно.

«Знаешь ли ты, что отец еще раньше сомневался в твоем уме и хотел проверить состояние твоей психики? Конечно, странности есть у многих. Это допустимо, но подвергать опасности других людей и даже собственную мать — это уже переходит всякие границы. И если тебе еще раз придет на ум что-нибудь подобное, ты больше не найдешь меня. Тогда я добровольно отправлюсь в газовую камеру».

Я испугался. До сих пор она не говорила о нашем будущем с такой беспощадной жесткостью. Конечно, мы знали, что могло ожидать нас, но не хотели думать об этом.

«Я не хочу пережить такое еще раз», — продолжала мать. — «Пока ты „путешествовал“, Людмила предложила нам снова устроиться у нее. Но когда Лона пришла, чтобы сообщить нам об этом, ты уже исчез. Все это время я оставалась в домике. Лона, как могла, заботилась обо мне. Теперь мы запрем домик и

переберемся к Людмиле. Она живет сейчас на Байришенштрассе, недалеко от Оливаерплац, ей удалось найти довольно просторную квартиру. И прошу тебя: больше — никаких фокусов! В этом случае опасность угрожает не только нам, но и Людмиле».

«А почему бы нам не остаться здесь?» — спросил я. — «Зимой здесь безопаснее всего».

«Иногда совсем недурно помыться в настоящей ванне, сварить еду на нормальной плите, а не мучиться часами, чтобы разжечь огонь. И не просыпаться по ночам от холода».

«Мне совсем не хочется возвращаться к этой Людмиле. Она опять затащит меня к себе в постель и заставит гладить ее между ног», — подумал я. — «Уж лучше мерзнуть по ночам и мучиться, разжигая огонь в нашей печурке».

Я уже собирался сказать об этом матери, но увидел слезы в ее глазах, увидел, как она устала и измучилась.

«А если я пообещаю тебе, что буду делать все сам? Я смогу растапливать печь. Даже по ночам. Ты можешь разбудить меня, когда захочешь. Тебе ничего не нужно делать — я сам все сделаю. Ты сама говорила, что я разжигаю печь гениально. Ведь говорила же, помнишь?»

Но мать была неумолима и на уговоры не поддавалась. Сегодня я почти убежден — она сама не захотела бы перебираться к Людмиле, если бы я рассказал, что происходило между мной и этой женщиной. Может быть, она бы даже рискнула нашей безопасностью, чтобы не допустить этого. Я и сегодня помню слова матери — «Тогда я добровольно отправлюсь в газовую камеру».

Но в то время мне оставалось только одно — согласиться с ней и возобновить эту отвратительную дружбу.

Опять пройдя пешком добрую половину Берлина, мы оказались на Байершенштрассе, в новой квартире Людмилы Дмитриевой. Квартира была на пятом этаже, под самой крышей. По сравнению с прежней роскошной квартирой новая казалась помещением для прислуги.

В квартире было четыре комнаты. Две занимала сама Людмила, одна предназначалась для матери, еще одна — для меня. Обстановка всех комнат была чрезвычайно проста. В каждой комнате стояли кровать, шкаф и один стул.

Лишь в самой большой комнате стоял стол и несколько стульев. Моя комната была самой маленькой и напоминала чулан. Но зато в квартире была большая ванная и прекрасная кухня. Кухня была самым теплым местом в квартире, и мы проводили в ней много времени.

Людмила, казалось, была довольна, что мы снова жили

вместе. Мать отлично готовила, прекрасно справлялась с немудреным хозяйством нашей маленькой компании, и Людмила могла целыми днями играть на маленьком, взятом напрокат пианино.

Мать оказалась права. Наше новое жилище было просторнее, уютнее и теплее садового домика. Но главное — мы снова повеселели. Новая квартира казалась нам чем-то прочным, стабильным, почти семейным очагом. Лона могла без опаски заглядывать к нам, приносила деньги и купленные на черном рынке продукты. Время от времени она даже оставалась ночевать в комнате матери. В такие вечера все три женщины сидели на кухне. Людмила и Лона пили. Мать не переносила никакого алкоголя, но принимала участие в общей беседе. Я обычно тоже сидел на кухне вместе со всеми, и мне разрешалось отправляться в постель попозже. Из кухни до меня доносился громкий смех Людмилы и веселый, заразительный смех Лоны. Рассказы Людмилы — про себя я называл их «русскими сказками» — и в самом деле были очень интересными. По ее словам, все рассказанное произошло когда-то или с ней самой, или с членами ее семьи.

Мне были не слишком понятны ее рассказы о придворных празднествах, о любовных приключениях ее старших сестер, о поместье, которым владела ее семья, жившая, по словам Людмилы, на широкую ногу. Но однажды в моем присутствии она рассказала о резне, устроенном в этом поместье большевиками. Причем большевики натравили на владельцев поместья жителей окрестных деревень, в том числе и собственных слуг Людмилы. «Это было гораздо страшнее того, что творят нацисты», — уверяла она.

Взглянув на мать, я совершенно спокойно спросил Людмилу — в России тоже людей отправляли в газовые камеры? Она отрицательно покачала головой — нет, ее соотечественники не могли организовать что-то подобное, у них не было условий для этого, да и сейчас у них наверняка ничего такого нет, иначе немцы не смогли бы так быстро захватить Россию.

«Это как раз тот особый немецкий талант, русским далеко до этого», — говорила она. — «И если бы Америка не вмешалась в войну, немцы сегодня были во Владивостоке и уже объединились бы с японцами. В России людей приканчивали очень просто. Да и палачей там хватало. Во всяком случае, у Сталина было для этого много времени».

Она подняла указательный палец. «Знаете», — сказала она со своим особенным акцентом, — «вообще не очень-то не ясно, кто хуже — Гитлер или Сталин».

Лона громко расхохоталась.

«Ну хорошо, Людмила. Я подарю тебе моего Гитлера, а твоего Сталина ты тоже попридержи. Вот это будет сделка!»

«Конечно, для евреев Гитлер не совсем то, что нужно», — немного смущенно объяснила Людмила.

Это объяснение развеселило мать. Она засмеялась — в нашем новом жилище она оттаяла и опять стала смешливой.

Мы провели на Байершенштрассе несколько недель. Это было прекрасное время! Правда, воздушные налеты здесь были даже более частыми, чем на Гекторштрассе. А мы жили на последнем, пятом этаже, и попадание бомбы в дом означало бы для нас смерть. Но ощущение защищенности, семейного очага, которое давала нам эта квартира, было сильнее страха. Людмила больше не предпринимала попыток затащить меня в свою постель. То ли тогда, в большой квартире, ей было одиноко, то ли просто пропала охота к подобного рода играм — не знаю. Во всяком случае, я был очень доволен. Наверное, при попытке возобновить эти игры я устроил бы скандал. А последствия меня не волновали. В присутствии Дмитриевой я больше не чувствовал себя скованно и охотно слушал рассказы о ее прежней, российской жизни. «Да, что и говорить, неплохо жили русские в то время. А теперь Гитлер взялся за них», — думал я про себя. Когда я высказал свои соображения вслух, лицо Дмитриевой сразу приняло замкнутое, высокомерное выражение.

«Ты ничего не понимаешь», — раздраженно возразила она. — «Ты же никогда не жил при Сталине!»

«С меня и Гитлера достаточно», — сказал я.

Дмитриеву мои заявления явно рассердили, и после нашей словесной перепалки некоторое время делала вид, будто не замечает меня. Как ни странно, мать из-за этого никогда не делала мне замечаний, хотя ужасно боялась потерять то призрачное ощущение безопасности, которое давало ей пребывание в людмилиной квартире. Сегодня, вспоминая прошлое, я думаю — почему эта женщина помогала нам? Германское правительство великодушно предоставило ей убежище, да и нацисты, по-видимому, тоже вполне терпимо относились к «жертвам коммунистического режима». Во всяком случае, у Людмилы Дмитриевой не было никаких затруднений, она никогда не подвергалась проверкам со стороны нацистов, обычно враждебно относящихся к иностранцам. До сегодняшнего дня у меня сохранилось подозрение, что Дмитриева была у нацистов осведомителем и, видимо, в случае, если немцы проиграют войну, хотела иметь в запасе какой-то шанс для собственного спасения. Она просто не хотела верить в то, что

Сталин может выиграть войну. Меня каждый раз поражало, как Людмила, обычно такая сдержанная, приходила в ярость, когда кто-нибудь заводил об этом речь. Она возмущалась тем, что Англия и Америка пришли на помощь этому преступнику и даже заключили с ним пакт, хотя, по ее мнению, уж они-то должны понимать, что следующий удар победивший Сталин направит против них, своих бывших союзников.

Мать возражала Людмиле, что Гитлер — тоже отнюдь не кроткая овечка. На что та неизменно отвечала:

«Национал-социалисты всегда подчеркивали, что они позволяли евреям эмигрировать из Германии. Многие евреи сделали это еще до войны. Америка, например, могла бы без проблем справиться с большим количеством эмигрантов. Да и в Южной Америке, и в Австралии тоже места хватит. А нацисты хотят избавиться от евреев только потому, что это закреплено в их идеологии».

Я сказал, что в сталинской идеологии закреплено преследование буржуазии. После этого вплоть до нашего расставания Людмила говорила со мной только о самом насущном.

В феврале 1944 года мою мать чуть не арестовали. Произошло это на Оливаерплац и послужило причиной нашего окончательного расставания с Людмилой Дмитриевой. В то утро мать по какой-то причине решила выйти из дома. День был солнечный, но довольно холодный. Мы уже почти дошли до Оливаерплац, когда мать попросила меня сбегать в квартиру и принести ее перчатки — на улице, оказывается, холоднее, чем она думала.

«И хорошо бы еще взять у Людмилы шарф», — добавила она.

Я снова поднялся на пятый этаж, нашел перчатки, попросил у Людмилы шарф и побежал к матери. Она стояла в сквере близ Оливаетплац и разговаривала с каким-то мужчиной. В мою сторону она даже не взглянула, наоборот, незаметно сделала мне знак рукой — беги, убегай отсюда. Я тотчас свернул в боковой скверик, но прятаться там не стал, а спокойно, как мне казалось, пошел вниз по Людвигкирхштрассе. Свернув на Эмзерштрассе, я пустился бежать. Я бежал изо всех сил. Не останавливаясь, я добежал до Фазаненштрассе. Шок, испытанный мною в первые минуты, постепенно прошел. Теперь я мог обдумать случившееся спокойнее. Поведение матери могло означать только одно: опасность, большую опасность. Еще раньше мы с матерью договорились — в подобном случае в течение двенадцати часов время от времени подходить к условленном месту, но не оставаться там, а через какое-то время уходить и потом

появляться там опять. И если мы сможем оба прийти к этому месту, мы когда-нибудь там встретимся. Нашим условленным местом был относительно спокойный вокзал Бельвю в районе Тиргартен. Я отправился туда. Я хотел было снова побежать, но потом подумал: матери там наверняка еще нет. Если она вообще там появится. А кроме того, кому-то могло показаться подозрительным, что мальчик бежит по улице как раз в то время, когда все дети должны быть в школе.

Я попытался пройтись по улице, но не смог. Я был слишком возбужден и от этого даже стал спотыкаться. Наконец я добрался до вокзала Бельвю и заглянул в кассовый зал. Матери там, конечно, не было. Задерживаться в кассовом зале я не стал. Я покружил немного по вокзалу, время от времени поглядывая в сторону кассового зала. Там не было ни души, кроме кассирши в окошке для продажи билетов. Заметив, что я слоняюсь по вокзалу, подняла голову и, как мне показалось, с подозрением уставилась на меня.

«Надо быть осторожнее», — подумал я. Если кассирша что-то заподозрит, это может оказаться опасным и для матери. Мной овладел панический страх. Я снова бросился бежать, пересек Альтмоабит, добежал до Турмштрассе, потом пустился вверх по Штроммштрассе и, наконец, повернул назад к вокзалу.

Неожиданно для себя я оказался на Лессингштрассе перед домом, где мы когда-то жили. Дом почти не пострадал от бомбежек и возвышался среди руин как поднятый указательный палец.

«Когда война кончится, мы с матерью и братом будем снова жить здесь», — сказал я себе.

Думаю, это был единственный дом, в котором отец хорошо себя чувствовал.

«Это прекрасное место», — часто повторял он.

В то время мы — отец, старший брат и я — часто совершали воскресные прогулки по городу. От вокзала Бельвю мы доезжали до Фридрихштрассе и потом шли вдоль улицы, пересекали Унтерденлинден и оказывались на Францезишерштрассе и Жандарменмаркт, любимом месте отца.

Шел 1938 год. Я не ходил еще в школу и не слишком любил эти пешие прогулки, но брат, который был старше меня на четыре года, без конца задавал отцу вопросы.

Отец, прекрасно знавший историю Пруссии, рассказывал брату о каждом здании. Временами он давал волю своей фантазии и разыгрывал перед нами настоящие сценарии императорских парадов: гвардия у дворцовых ворот, император Вильгельм на лошади. А если брат возражал, что в то время уже

были автомобили, то в следующее воскресенье отец пересаживал Вильгельма в сверкающий хромом «мерседес».

Однажды он даже заставил статую «старого Фрица» сойти с пьедестала и пустить коня в галоп, ругая при этом прохожих, не уступивших ему дорогу.

«„Старый Фриц“ не любит простых берлинцев», — сказал отец. — «Смотри, как он кричит на людей!»

Он поднял меня, чтобы я смог лучше разглядеть Унтерденлинден. (Я еще и сегодня вижу рассвирепевшего Гогенцоллерна, мчащегося через дворцовые ворота). Обернувшись назад, я закричал:

«Да, на пьедестале никого нет! Император поскакал во дворец!»

Отец понимающе кивнул. Мой брат Адольф, указав на памятник, спокойно сказал:

«Да вон он сидит на своей лошади. И вообще с места не двигался».

Отец взглянул на меня.

«Но я же точно видел — он проскакал через дворцовые ворота», — уверял я.

«Посмотри повнимательнее», — закричал брат. «Да вон же он, чугунный Фриц, там, наверху!»

Отец повернулся к брату. «Ты видишь императора на пьедестале, а Михаэль увидел, как он въезжал в дворцовые ворота. Каждому мир представляется таким, каким он его видит. Ты тоже видишь мир таким, каким он тебе представляется.

Если бы у всех людей был один и тот же взгляд и на мир, и на окружающих, тогда все мужчины считали бы твою маму такой красивой, как считаю я. И в таком случае шансов на успех у меня не было бы вовсе».

Он засмеялся, прижал нас к себе, и мы направились в «Борхарт», любимое кафе отца. Он заказал себе бокал белого вина и десерт для нас. Сидя за столиком, мы через окно разглядывали прохожих.

Мне ужасно хотелось спросить отца, как ему в голову взбрело назвать брата Адольфом. К моменту рождения брата имя Гитлера было уже у всех на слуху. И еще мне хотелось спросить — почему некоторое время он носил такие же, как у Гитлера, усы щеточкой? Может, отец хотел как-то приспособиться к Гитлеру? А может, ради маскировки? Какая в этом была нужда? Я вспоминаю, как однажды мы с отцом стояли у ворот нашего дома на Эльберфельдерштрассе. Мимо нас проходили двое подростков в форме «гитлерюгенда».

Они заметили нас, и один из них предложил — а хорошо бы

потрясти этого маленького еврейчика. Другой, указав на отца, сказал:

«Хорошо бы и второго тоже, это наверняка его отец!»

Отец приветливо кивнул — мол, правильно, это мой сын. Оба подростка ушли, даже не извинившись.

Я никак не могу представить себе, что отец был поклонником Гитлера. Да и маскироваться ему было совсем необязательно. Конечно, ростом и статью гвардейца он не обладал, но был светловолос, голубоглаз и мог, в отличие от меня, вполне сойти за низкорослого арийца. Что же все-таки было причиной такого маскарада? Неужели таким образом он хотел выразить свое отношение к фюреру — вот, мол, смотрите, новый вид еврея, нацистский, с голубыми глазами и усами щеточкой. Я, правда, считал отца способным на такое. Однажды, когда к нему в гости пришли друзья, он, лежа на диване, долго и обстоятельно излагал свою идею насчет того, нельзя ли посредством основания какой-нибудь подотчетной организации с примерным названием НСЕМТО (национал-социалистическое еврейское международное торговое объединение) внести свой вклад в дело усмирения гитлеровского бешенства и в конечном счете даже принять активное участие в образовании национал-социалистического государства. В ответ на гомерический хохот друзей отец лишь покачал головой и поклялся, что он хочет только социализма. И ничего, если этот социализм будет с националистическим душком — он тоже согласен. С международными связями можно сделать национал-социализм вполне пригодным для приличного общества. А с помощью партийных денег можно будет, пожалуй, создать на территории Палестины новые киббуцы.

Последняя идея отца вызвала новый взрыв хохота. Однако несмотря на весь этот черный юмор (я и сегодня помню об этом) выражение его лица оставалось невозмутимым, как будто своими шутками он хотел сказать, что идеи социализма, в каких бы абсурдных формах они не выражались, надо воспринимать серьезно, и тогда побочные теории националистического или личностного плана отпадут сами собой.

Да, он был особенным человеком, мой отец! Прошло двадцать лет с момента смерти отца, и я начал всерьез интересоваться всем, что было связано с его личностью. Его немногочисленные оставшиеся в живых родственники и друзья, сумевшие эмигрировать, могли рассказать о нем немного. И для них, и для моей матери отец всегда оставался неисправимым шутником, верившим, что в любом человеке обязательно заложено что-то хорошее.

«Откуда» — однажды спросил он, — «откуда, думаете, Гитлер

взял свои расовые идеи? Он ведь, наверное, довольно обстоятельно изучал Тенаха и даже выписывал из него некоторые цитаты. Поверьте, он ненавидит нас лишь потому, что мы, а не он, были первыми, кто познакомился с этими изречениями. Все уладится, и мы еще будем сидеть вместе за праздничным столом. В конце-то концов, он возглавляет правительство одной из самых цивилизованных наций, это должно положительно повлиять на него! В противном случае его режим недолговечен».

Сегодня я размышляю о том, что кратковременно и что долговечно. Гельмут Коль оставался на своем посту шестнадцать лет. Гитлер управлял страной двенадцать лет. Так какой же из этих двух отрезков времени короче?..

Покинув Лессингштрассе, я снова подошел к вокзалу Бельвю. В зале ожидания никого не было! Окошко билетной кассы было закрыто. Наверное, было уже очень поздно.

Я даже не заметил, как стемнело.

«Оставаться на вокзале нельзя», — подумал я. — «Там ищут в первую очередь».

И я опять побежал. Вниз по Флесбургерштрассе, по мосту через Шпрее до Дортмундерштрассе. Бежал я довольно быстро.

«Всегда делай вид, будто очень торопишься», — посоветовала мне однажды Лона.

Постепенно я начал уставать. Дыхание перехватывало. Бежать я уже не мог. Мне очень хотелось есть, Становилось все темнее. Я не знал, который час, и только надеялся, что еще не слишком поздно и одиноко идущего мальчика не будут задерживать.

В совершенном отчаянии я сел у входа в какой-то дом и беззвучно заплакал. Я так устал, что, как мне казалось, больше не смогу двинуться с места. От моей самоуверенности не осталось и следа. Стремление выжить тоже улетучилось, пропало, мне как-то сразу стало все равно, задержат меня или нет. С матерью, наверное, что-то случилось, иначе она уже была бы в условленном месте. Она же знает, где нам нужно встречаться!

«С ней что-то случилось», — подумал я. А если ее арестовали, что тогда?

Я не хотел идти ни к Дмитриевой, ни к Лоне. Без моей матери обе казались мне чем-то несуществующим.

«Нужно еще раз подойти к вокзалу», — приказал я себе. — «Если мама не появится, тогда, пожалуй, я решусь подойти к Гроссегамбургерштрассе. И тогда, быть может, я попаду в тот же транспорт, что и она. Лучше в газовую камеру, чем шататься по городу и подыхать от голода и усталости».

Я заставил себя подняться и побежал назад к вокзалу. И на Фленсбургерштрассе попал прямо в объятия матери.

Мы снова были вместе. И уж теперь с нами ничего не случится. Мы оба немного поплакали, каждый упрекал другого — почему не подходил к вокзалу почаще, говорила мать, ведь в первый раз она пришла к вокзалу еще днем. Так и потерять друг друга недолго. Она взяла меня за руку. По лестнице мы вышли на перрон. С пренебрежительной усмешкой мать объяснила, что теперь уже все равно, теперь уже не так страшно. Может, нам повезет и до Савиньплац проверки не будет. Нам повезло. Проверки в поезде не было. Обошлось и без воздушной тревоги.

Мы добрались до Людмилиного дома около полуночи. Перед тем, как войти в квартиру, мать попросила меня держать язык за зубами и никому ничего не говорить — она сама все объяснит Дмитриевой. Она сказала Людмиле, что мы разминулись друг с другом, перепутав условленное место встречи, и страшно устали. Но теперь все в порядке, и пусть Людмила не беспокоится.

Напившись чая, мы быстро ушли к себе, и я попросил мать рассказать мне все.

«Когда ты побежал в квартиру, чтобы принести мне перчатки и шарф», — начала она. — «Я пошла в скверик и хотела подождать тебя там. Я медленно пошла в сторону Литценбургерштрассе. Мимо меня проехал автомобиль. Затем я услышала, как машина остановилась, потом немного отъехала назад и снова остановилась. Из машины вышли двое мужчин и направились ко мне. Сначала я хотела спрятаться где-нибудь или убежать обратно в квартиру. Но было уже поздно. Я не остановилась, а пошла им навстречу. Они же остановились и ждали, пока я поравняюсь с ними. Они, наверное, думали, что я побегу от них или закричу. Но я спокойно направлялась к ним — это, как мне показалось, их немного смутило. После вежливого „Хайль Гитлер!“ они попросили меня предъявить документы. Я начала рыться в сумочке и сделала вид, будто забыла документы дома».

«Мне очень жаль!» — сказала я. — «Удостоверение личности я забыла дома. Могу показать вам свое старое почтовое удостоверение».

Один из них взял удостоверение и стал внимательно разглядывать мою фотографию. «Ваше имя?» — как бы между прочим спросил он.

«Роза Гемберг», — ответила я.

«Когда и где родились?»

«12 октября 1908 года в Бойтене».

Он снова стал рассматривать удостоверение. Я поглядела в сторону автомобиля — мне захотелось узнать, нет ли там еще кого-нибудь. На заднем сиденье я увидела двоих — мужчину и

женщину. Лицо женщины было мне незнакомо, а вот мужчину, как мне показалось, я уже где-то видела. Заметив, что я смотрю на него, мужчина быстро отвернулся — теперь я видела только его профиль. «Определенно я его где-то видела», — подумала я. — «А он, кажется, сомневается — действительно ли принял меня за какую-то знакомую. В таком случае у меня есть шанс».

«Вас зовут Анна Деген, и вы еврейка», — громко сказал мужчина, изучавший мое удостоверение.

Я ничего не ответила, только пристально посмотрела на него. Потом покачала головой и совершенно спокойно сказала:

«Подобную глупость мне еще не приходилось слышать. Я как раз иду от врача и спешу на работу, а вы останавливаете меня и говорите совершеннейшую чушь. Отдайте мне мое удостоверение. Не знаю, имеете ли вообще право задавать мне вопросы. Вы не из криминальной полиции?»

Всем своим видом я выражала глубокое возмущение происходящим. Я еще несколько раз бросила взгляд на автомобиль. Наконец мне удалось рассмотреть лицо сидящего на заднем сиденье мужчины. И тут я вспомнила — да, я и в самом деле его знаю. Он был знаком с твоим дядей Давидом. Мы встречались с ним в Трептовпарке, в Яичном домике. Было жарко, и отец учил тебя плавать. Когда он столкнул тебя в воду, этот человек стоял поблизости и смеялся, глядя, как ты барахтаешься в воде. Я до сих пор помню его смех. Было это по меньшей мере за два года до ареста твоего отца. С тех пор мы с ним больше не виделись. Теперь он, думаю, нанялся в ищейки к нацистам.

«Государственная тайная полиция!» — ответил задержавший меня человек, сунув мне под нос свое удостоверение.

«Будьте благоразумны», — сказала я. — «Подумайте, в какое положение вы ставите себя, если вы арестуете меня и я из-за этого потеряю работу».

«Где вы работаете?» — спросил он.

«Я не могу вам сказать, где работаю — разглашение государственной тайны карается законом».

Он отвел глаза. Теперь мне оставалось одно — действовать уверенно и решительно. Ведь с минуты на минуту мог прибежать ты! Я увидела тебя еще издалека. Ты, слава Богу, отреагировал очень быстро. Он, наверное, увидел, как ты побежал в скверик, но не подумал, что имеешь какое-то отношение ко мне.

Я опять заговорила с ним.

«Видите ли, можно, конечно, пойти ко мне домой — там я могла бы предъявить вам свое удостоверение личности. Но тогда мы потеряем много времени, а этого я себе никак не могу позволить. Недалеко отсюда, на Уландштрассе, находится

полицейский участок и отдел прописки. Отвезите меня туда, там мою личность удостоверят, и я поспешу на работу. А если после этого вы все-таки захотите арестовать меня — что ж, это ваша проблема!»

Он снова уставился на мое почтовое удостоверение, потом посмотрел на второго мужчину. Тот пожал плечами.

«Подожди тут, я сейчас», — сказал первый. Он направился к машине, и я увидела, как он спросил что-то у сидящего на заднем сиденье человека. Человек еще раз украдкой посмотрел в мою сторону. Задержавший меня гестаповец показал ему мое почтовое удостоверение. Человек в машине посмотрел на удостоверение и отвернулся.

Гестаповец быстро вернулся назад и протянул мне удостоверение.

«Вы должны оформить новое удостоверение», — сказал он. Без видимой причины он снова сунул мне под нос свой документ. И держал его довольно долго. Наконец он спрятал свое удостоверение в карман, и оба гестаповца пошли к машине.

Я увидела, как они сели в машину. Машина медленно тронулась с места. Я побежала к машине, как будто хотела еще что-то спросить у них. Они посмотрели в мою сторону, но не остановили машину, а поехали дальше.

«Теперь не допустить никакой ошибки, не выдать себя», — думала я в эту минуту. Я надеялась, что ты не выскочишь сразу из своего укрытия и не побежишь ко мне.

Потом я вернулась на Уландштрассе. Мне хотелось убедиться, что они не преследуют меня. Я знала, что гестаповцы иногда выслеживают, где прячется их жертва, и тогда могут схватить и остальных. А если бы они узнали, что у меня есть сын и что нас укрывает у себя Людмила?

Но потом я подумала — если бы они захотели это сделать, то наверняка действовали иначе. Они только подозревали меня. Наверное, тот тип на заднем сиденье случайно узнал меня, когда машина проезжала мимо, но мне гестаповцы поверили больше, чем ему. Непонятно только, почему гестаповец так долго держал у меня перед носом свое удостоверение.

«Может быть, он хотел назначить тебе свидание», — ухмыльнулся я.

Она легонько стукнула меня по голове.

«Сейчас ты ляжешь спать, а завтра мы подумаем о том, как поскорее уйти отсюда. Но прежде всего — куда уйти».

На следующее утро мать о чем-то долго разговаривала с Людмилой. Меня позвали позже. Мать поделилась с нами своими подозрениями и пообещала Людмиле как можно быстрее

исчезнуть из ее квартиры. Она успокоила Дмитриеву — вчера за нами никто не следил, мы хотели убедиться в этом и потому вернулись домой так поздно.

Людмила выслушала мать с поразительным спокойствием. И согласилась — да, будет лучше, если мы на какое-то время отсюда исчезнем.

В следующие дни мы не выходили из дома. Лона, как обычно, ненадолго заглянула к нам. Узнав, в какой ситуации мы оказались, она тут же связалась с Карлом Хотце. После этого оба как сквозь землю провалились — мы больше ничего о них не слышали.

Людмила становилась все немногословнее. Мы, по мере возможности, старались избегать ее и отсиживались в своих комнатах.

Наши продукты подошли к концу. Людмиле, похоже, кроме сигарет ничего не было нужно. Целыми днями она дымила, как паровоз. О нас она заботилась все меньше и меньше. У матери было подозрение, что она запретила Лоне приходить к нам.

Чтобы заглушить чувство голода, мы с матерью пили воду. Особенно хотелось есть по вечерам. Но за водой нужно было идти на кухню, где сидела дымящая сигаретой Людмила. Когда мы появлялись на кухне, она молча мерила нас своим неподвижным, застывшим взглядом. Заглушив водой вечерний голод, мы по нескольку раз за ночь бегали в туалет, боязливо прокрадываясь мимо людмилиной комнаты. Нам было страшно. Она могла выставить нас из квартиры в любой момент.

Однажды утром мать куда-то ушла. Я тихонько постучал в дверь ее комнаты. Мать не отозвалась. Я осторожно приоткрыл дверь. Комната была пуста. Да и в квартире тоже никого не было. Я заглянул на кухню. На столе — ничего, кроме двух пакетов с мукой. Мне пришлось утолять голод водой, после чего я вернулся к себе в комнату и снова лег в постель. Сквозь сон я услышал, как дверь комнаты отворилась. Я открыл глаза и увидел мать с тарелкой мучной похлебки в руках. Медленно поднявшись с постели, я спросил, где она была. Вместо ответа она протянула мне тарелку с похлебкой и сказала:

«Завтра мы уйдем отсюда. Уже давно пора».

Потом она снова ушла. Я подумал, что смогу, наверное, спать до следующего дня, и отставил тарелку в сторону.

Ночью я проснулся от страшного шума. У меня было ощущение, что мою кровать кто-то двигал в разные стороны. Мать сидела на полу, пригнув голову к коленям, и стонала. В комнате было так светло, что я, спрыгнув с кровати, хотел выключить свет. Мать потянула меня к себе.

«Дмитриева спустилась в подвал. Пойди на кухню. Сегодня днем заходила Лона. У нас снова есть продукты».

«Ну что, завтра смываемся отсюда?» — спросил я.

Она хотела ответить, но снаружи опять что-то грохнуло со страшной силой. Мне даже показалось, что дом покачнулся. Мать снова пригнула голову к коленям.

«А тебе тоже принести что-нибудь?» — нарочито небрежно спросил я, изобразив, как мне казалось, всем своим видом полное отсутствие страха.

Она покачала головой, потом что-то пробормотала. Я разобрал только слова «масло в горшочке, сыр, черный хлеб».

Войдя в кухню, я тут же схватил нож, уселся на пол и с жадностью принялся за еду. На кухне царил успокаивающий полумрак.

На какое-то время грохот разрывов и гудение бомбардировщиков стали немного тише, отдалились, потом все снова приблизилось. Я попытался угадать, какой район бомбят. Опять загрохотало где-то рядом и опять мне показалось, что дом покачнулся. Я вернулся в комнату. Мать все так же сидела на полу и тихонько всхлипывала. Я сел на пол рядом с ней и положил руку на ее плечо.

«Мамочка!» — Она подняла на меня глаза. — «Если нас накроет английской бомбой, то уж гестаповцам мы наверняка не достанемся. Это было бы даже лучше. Ты что, и в самом деле не хочешь есть? А на кухне не так слышно, как здесь, и уж во всяком случае, не так чертовски светло».

Она отрицательно покачала головой и придвинулась ко мне еще ближе.

Налет продолжался бесконечно долго. У нас уже было ощущение, что он никогда не кончится, когда внезапно раздался резкий сигнал отбоя. Однако на улице еще погромыхивало.

Дмитриева вернулась сразу после отбоя и рассказала, что в последнее время англичане и американцы сбрасывают на город бомбы замедленного действия и из-за этого могут возникнуть пожары.

Остаток ночи мы провели на кухне при свете свечей — электричества не было. Узнав, что на следующее утро мы собираемся покидать ее квартиру, Дмитриева опять стала разговорчивой. Военные действия союзников против Германии она считала нечестными.

«В 1940-м англичане не смогли достаточно быстро улизнуть из Франции, а теперь вот сбрасывают свои бомбы на беззащитных людей».

Мать возразила — немцы первыми начали налеты на Лондон

и Ковентри. Дмитриева отрицательно покачала головой. Это было сделано только для устрашения, детские игрушки по сравнению с тем, что сейчас творится здесь. Ковентри был почти полностью разрушен, — немцы в своих сообщениях это сами подтверждали. И Дмитриева, конечно же, помнит об этом, сказала мать.

«Ох, уж эти особые сообщения верховного командования!» — засмеялась Дмитриева и напела мелодию, которая всегда звучала перед правительственными сообщениями. — «Вечно они пересаливают со своей пропагандой! С Англией можно было мирным путем поладить. Тогда бы и английские города уцелели. Гитлер знает, что Сталина он может победить только в том случае, если у него за спиной не будет других врагов. Для союзников победивший Сталин, конечно, лучше побежденного Гитлера. А Сталин скоро поймет — если он хочет продолжить войну, если он хочет выжить, ему понадобятся еврейские капиталы».

Мать страшно разозлилась.

«И где же эти еврейские капиталы, имеющие такое большое значение для хода войны? Как же можно поверить столь примитивной пропаганде? Гитлер с самого начала ставил своей целью уничтожение людей неарийской расы. Он первый напал на Советский Союз и получил сокрушительный отпор со стороны Сталина. И вы, Людмила Дмитриева, знаете это так же хорошо, как и мы. Конечно, я понимаю вашу антипатию по отношению к Сталину, но он же был единственный, кто до последнего времени сумел успешно противостоять этой коричневой бестии. И бомбовую войну против мирного населения тоже начал Гитлер, это чудовище».

Дмитриева (после этой словесной перепалки мать называла ее только по фамилии) оставалась совершенно спокойной.

«Если тебе легче от того, что ты так считаешь, я возражать не буду», — сказала она. — «Мне только хотелось, чтобы англичане и американцы поддержали Гитлера в борьбе со Сталиным. А для вас появился бы шанс эмигрировать в одну из этих стран».

Она тихо засмеялась.

«И для меня тоже».

Я чуть не спросил Дмитриеву — она, наверное, хочет уехать к своему еврею-мужу, ведь он же живет в Америке, но удержался. И взглянул на мать, ожидая ее реакции. Но она молча смотрела перед собой. Ее лицо ничего не выражало.

«Если тебе нужно задержаться у меня еще на пару дней, можешь остаться», — попыталась уладить конфликт Людмила. Мать отказалась — нет, мы останемся здесь лишь до следующего дня. Я совсем не знал, куда мы отправимся и кто обещал матери

приютить нас.

После полудня мы покинули квартиру Дмитриевой. Прощание с Людмилой было весьма прохладным. Но у самого порога, не вынимая изо рта своей неизменной сигареты, она обняла мать. Мы были обескуражены таким неожиданным жестом этой высокомерной и непроницаемой женщины.

На Савиньплац мы сели в электричку. Мы очень надеялись на то, что при беспорядке, царившем на вокзале после последнего налета, нас не будут проверять. Правда, на одной из остановок в вагоне появился военный патруль, но гражданских пассажиров он не проверял. Мать облегченно вздохнула, когда в Кепенике мы, наконец, сошли с поезда. На перроне мы опять увидели военный патруль. Один из патрульных остановился, посмотрел на мать, молодцевато откозырял и вернулся к товарищам.

«Вы знакомы с ним?» — спросила какая-то женщина, испытующе взглянув на мать.

«Нет», — ответила та. — «А вы, вероятно, фрау Нихоф».

Обе улыбнулись.

«Пойдемте, выпьем по чашечке кофе», — предложила женщина.

Мать взяла меня за руку, и вместе с этой незнакомой женщиной мы покинули вокзал. Пройдя небольшое расстояние, мы подошли к довольно высокому забору. Какое-то время мы шли вдоль этого забора. Только теперь я заметил, что верх забора оплетен колючей проволокой. Я забеспокоился. То ли женщина почувствовала мое беспокойство, то ли проследила за моим взглядом — не знаю. Она положила руку на мое плечо, наклонилась и прошептала мне на ухо:

«Не бойся, это не концлагерь».

Изо всех сил я пытался сдержать слезы, но не смог, и шел, тихонько всхлипывая.

«Ну-ну, перестань», — сказала женщина и посмотрела на мать. — «Все хорошо».

«Кто эта женщина?» — спросил я у матери.

Услышав мой вопрос, незнакомка ответила:

«Меня зовут Нихоф. Кэте Нихоф».

Я взглянул на мать — она пристально смотрела на большие ворота, к которым мы в этот момент приблизились.

Наша новая знакомая подошла к проходной. Окошко проходной открылось, и оттуда выглянул мужчина. Вид у него был совершенно штатский.

«Добрый день, фрау Нихоф», — поздоровался он.

«У меня гости», — без всяких объяснений ответила женщина. — «Я приготовлю кофе для нас. Хотите чашечку? Тогда

мальчик сейчас вам принесет. Принесешь кофе этому дяде, хорошо?»

Я кивнул. Эта женщина чем-то была похожа на мою бабушку, только моложе.

У нее были такие же светлые волосы, собранные в аккуратный пучок, и такие же серые глаза. Ростом, правда, женщина была повыше.

Я попытался обратить на себя внимание матери. Но та смотрела только на Кэте Нихоф. Однако это почему-то не обижало меня. От женщины исходила такая доброта и уверенность, ее взгляд был таким ласковым, таким теплым! Мы с матерью были совершенно очарованы.

Мне вдруг показалось, что нет больше ни войны, ни вечной спешки, что сейчас появится мой отец, возьмет меня за руку, мы пойдем в его любимое кафе на Францезишерштрассе и будем из окна смотреть на прохожих.

Она просто излучала мир и спокойствие, эта Кэте Нихоф. И фамилия ее была знакомой — я сразу вспомнил, откуда. Я ухватил мать за руку — наверное, слишком сильно. Она испуганно посмотрела на меня.

«Нихоф?» — тихо спросил я, — «Эрна Нихоф?»

«Умный мальчик», — отреагировала Кэте Нихоф на мой удивленный вопрос. — «Из тебя выйдет толк!»

Одобрительно кивнув, она открыла дверь барака и провела нас в громадную кухню. В углу кухни стояли стол и стулья. Кэте предложила нам сесть. Затем она направилась к большому кухонному шкафу и вернулась с подносом, на котором стояли чашки и сахарница. Поставив поднос на стол, она попросила мать расставить чашки и опять куда-то ушла.

В этом большом бараке кроме нас, похоже, никого не было. Посреди кухни находилась большая плита, на которой стояли громадные котлы и кастрюли. Плита казалась совсем холодной. На стене висели фотографии известных киноактеров — Сары Леандер, Густава Фрелиха, Марики Рекк, Генриха Жоржа и Кристины Зедербаум.

Кэте Нихоф вернулась со старомодным эмалированным кофейником.

«А тебе я дам лимонад и пирог с творогом», — обратилась она ко мне.

Она налила кофе матери и себе. Заметив, что я рассматриваю фотографии на стене, она объяснила:

«Это мои любимые артисты».

Потом показала на фотографию молодой светловолосой женщины:

«Ее звали Рената Мюллер. Она умерла. Говорят, от воспаления легких».

Она снова ушла куда-то и принесла лимонад, кусок пирога и бутерброды.

«Твоя мама, наверное, тоже хочет есть».

Я рассмеялся — слово «мама» она произнесла как-то чудно, по-особому выделяя первый слог. Я смеялся и не мог остановиться. Мать неодобрительно поглядела на меня.

«Не сердитесь на него», — сказала Кэте Нихоф. — «Я веду себя точно так же, когда мне хорошо. А тебе ведь хорошо, правда?»

Мне и в самом деле было хорошо.

Обе женщины уютно пили кофе. Мать за обе щеки уплетала бутерброды с колбасой. А я тем временем пошел к охраннику и отнес ему чашку черного кофе и бутерброд. Бутерброд, похоже, не удивил его. Зато он с видимым удовольствие пил кофе, отхлебывая его маленькими глотками и наслаждаясь ароматом.

«Господи, кофе, настоящий кофе! Ай да Нихоф, вот молодчина!» — одобрительно приговаривал он.

Он посмотрел на меня.

«Где же она достает все это? Неужели у чехов?»

Я пожал плечами.

«Ты кто, чех?»

Теперь он больше не казался мне симпатичным.

«Я не чех», — не слишком дружелюбно отозвался я и пошел прочь.

«Шуток не понимаешь!» — захохотал вслед мне охранник.

«Ну что, все в порядке?» — спросила Кэте, когда я вернулся на кухню.

«Охранник поинтересовался, не чех ли я».

Она засмеялась.

«В следующий раз не приноси ему кофе. А от меня он при случае получит нахлобучку».

Кэте попросила нас посидеть еще некоторое время на кухне и подождать ее. И прибавила — хотя сегодня вечером она свободна, но все же должна приготовить для ужина все необходимое и проследить, чтобы все продукты попали в кастрюлю, а не в карманы обслуживающего персонала. Почти весь обслуживающий персонал состоял из чехов, и они, как сороки, тащили из кухни все, что могли.

«Ничего удивительного, мы бы тоже так делали, если бы есть хотелось», — сказала она матери. «А ты согласен с этим?» — обернулась она ко мне.

Я не знал, что ответить. Помолчав мгновение, она сказала как

бы про себя:

«Я бы наверняка так сделала. Если стащить немного и сразу съесть, это ведь не наказуемо!»

«Наверное», — тихо сказала мать.

«Когда-нибудь снова наступит мирное время, и все, наконец, избавятся от страха».

«Вы уверены?» — спросила мать.

«Да, конечно. В противном случае нам всем лучше повеситься».

Она поднялась.

«Сделай мне одолжение, Роза. Останься с сыночком здесь. В это время на территории полно охранников. Среди них всякие попадаются. А если вдруг кто-нибудь зайдет сюда и спросит, кто вы, отвечайте, что вы — мои гости. Иногда сюда заходят парни из СС. Но обычно они уведомляют о своем приходе. Они веселые и простые люди. Занимаются понемногу с нашими чехами обменом, куплей-продажей, а потом снова уходят. Так что не бойтесь! Примерно через час я зайду за вами, и мы приятно проведем вечер».

Она вышла через главный вход, тщательно прикрыв за собой дверь.

Некоторое время мы сидели молча. В помещении по-прежнему не было никого, кроме нас. Наконец, прервав молчание, я спросил мать, — когда она позвонила Эрне Нихоф. Пока я спал, рассказала мать, она сбегала к уцелевшей телефонной будке и позвонила по номеру, который Эрна оставила ей там, в садовом домике. Очевидно, это был служебный телефон — когда Эрна сняла трубку, были слышны еще чьи-то голоса. Мать осторожно назвала свою вымышленную фамилию, и Эрна сразу поняла, кто ей звонит. Эрна заговорила очень громко:

«Фрау Гемберг, прекрасно, что вы позвонили. Я уже и не ожидала вашего звонка. Расскажите, как поживает ваш сын? Вы опять в Берлине? А ваш муж снова на фронте? Но на этот вопрос лучше, пожалуй, не отвечайте — враг подслушивает!»

Она говорила без передышки, не давая матери вставить слово. Мать сразу поняла — отвечать нужно с большой осторожностью.

Голос в трубке был сухим, официальным, в нем слышались командирские нотки. «Тогда в садовом домике она разговаривала со мной совсем по-другому».

Соблюдая предельную осторожность, мать рассказала Эрне, что они с сыном снова пострадали от бомбежки, что сын и она сама здоровы, но, к сожалению, она не знает, на каком участке фронта находится сейчас ее муж — от него уже давно не было

никаких известий.

«Где же вы теперь живете?» — как бы невзначай спросила Эрна. Мать ответила, что она с сыном живет сейчас в помещении сборного пункта, куда привозят пострадавших от бомбежки людей, но в перспективе должна поселиться в квартире одной многодетной семьи в Шенеберге — хозяевам, конечно, придется потесниться, но ведь всем сейчас приходится нелегко Мать прервала свой рассказ. Ее лицо сразу стало каким-то несчастным.

«Я врала без зазрения совести, сама удивляюсь, как легко это у меня получилось. И откуда у меня такое? Неужели от страха?»

«Ну, и что же тебе ответила Эрна?» — нетерпеливо спросил я.

«Она слушала меня, ни разу не перебив».

Мать печально посмотрела на меня.

«Ты вовсе не обманщица», — осторожно сказал я. — «Ты делаешь это только потому, что боишься. Для самозащиты. Это как кража еды, когда человек очень голоден. Кэте говорит, что это не наказуемо».

«Наказуемо или нет — мне безразлично», — ответила она. — «Но как легко это у меня получилось! Как по маслу. Я могла бы болтать так бесконечно долго. Без передышки. О муже на фронте. Я чуть не сказала, что недавно он был произведен в офицеры».

Мне стало даже немного смешно — с такой серьезностью мать все это говорила. Вид у нее был совершенно отсутствующий. «Похоже, твой отец заразил меня своими фантазиями. Наверное, он стоял рядом со мной в телефонной будке и нашептывал мне это на ухо».

Я испугался. Такого я от нее еще ни разу не слышал. Я уже готов был сказать:

«Мамочка, отец же умер».

Но вместо этого спросил ее:

«Ну так что же все-таки тебе сказала Эрна?»

Вместо ответа мать укоризненно посмотрела на меня. «Как мне не хватает твоего отца!» — с тяжелым вздохом сказала она.

Она все еще смотрела на меня, но мысли ее были далеко. Положив руки на стол, она опустила на них голову и затихла.

Вскочив с места, я попытался прижаться к ней, утешить ее.

«Погоди минутку. Сейчас я опять буду здесь».

Ее голос звучал спокойно, медленно и казался мне чужим.

Я отошел от матери и тихонько уселся на свой стул. Прошло много времени, прежде чем она заговорила. Но голову так и не подняла.

«Не понимаю, откуда все это у меня взялось. Эрна перебила меня и тихо спросила, как моя фамилия. Потеряв всякую надежду, я ответила „Гемберг“ и уже хотела положить трубку».

«Нет, как ваша н а с т о я щ а я фамилия?»

«Я спросила, почему она хочет это знать. Да, я та самая, с которой она познакомилась в Нойкельне, и ей, конечно, моя настоящая фамилия известна. Она резко оборвала меня, и я тут же замолчала. Тогда она назвала мне номер телефона. Этот номер я должна трижды повторить и ни в коем случае не записывать. Она, конечно, знала, когда ее телефон прослушивается, а когда нет. Я трижды повторила номер. Она не велела мне звонить по этому номеру сразу, а подождать по меньшей мере час. И повесила трубку».

Мать подняла голову. Глаза ее были сухими.

«Понимаешь теперь, почему я была в таком замешательстве? Я же помню эту женщину совсем другой! В дачном домике она была по-матерински доброй. А по телефону со мной разговаривала как настоящая нацистка».

«Но она же дала тебе номер телефона своей сестры!» — возразил я.

«Да, конечно».

Мать говорила очень медленно. У нее по-прежнему был отсутствующий вид.

«После телефонного разговора с Эрной я подождала еще час», — продолжала она. — «На лестнице, перед дверью людмилиной квартиры. Я не хотела будить тебя. Когда через час я хотела позвонить, телефонная будка была занята. Я не хотела, чтобы кто-нибудь случайно помешал мне, и бродила вокруг телефонной будки, пока рядом никого не осталось. Это продолжалось долго, я озябла. Но отступать уже не могла. Я понимала, что в следующий раз мое старое почтовое удостоверение не сможет мне помочь. Наконец телефонная будка опустела. Кэте Нихоф сказала, что ждала моего звонка. Ее голос был приветливым, вызывающим доверие, совсем не таким, как голос ее сестры. Я вдруг почувствовала себя очень уставшей. Наконец я снова смогу спокойно поспать, сказала я себе. Мне вдруг очень захотелось в Кепеник, хотя я там никогда не бывала. Уж там-то все будет хорошо!»

Она снова положила голову на руки и мгновенно уснула.

«Мама несправедлива к Эрне», — подумал я. Эрна замечательный человек.

Она дала матери номер телефона своей сестры! По служебному телефону, который могут прослушивать! Да понимала ли мать вообще, какой опасности подвергала она и Эрну, и ее сестру? Я же помню, какой строгий допрос устроила мне тогда Эрна! И мне совсем не было страшно!

Внезапно я понял, с каким тяжким грузом в душе мать жила

все эти годы, как она подавлена, измучена. Она сидела сгорбившись, уронив голову на лежащие на столе руки. Мне хотелось приласкать, погладить ее.

«Никогда больше я не причиню тебе горя таким бессмысленным поступком, каким был мой страсбургский побег, я постараюсь быть разумным», — шептал я. — «И пусть Бог поможет мне и моему брату, которого я так хочу снова увидеть. Хотя вряд ли мы сегодня сидели здесь, если бы тогда, в шведском посольстве, я не спустил штаны».

Когда Кэте Нихоф вернулась, мать еще спала. Я шепотом объяснил ей, что мама заснула. Кэте осторожно поставила на пол два закрытых железных ведра, которые держала в руках. Она села, придвинув свой стул вплотную к моему, и тихо рассказала мне, куда она хочет нас отвезти.

Кэте подробно описала свой садовый домик в Вальдесру.

«Это к югу отсюда, по направлению к Мальсдорфу. Домик стоит на большом участке среди овощных грядок и фруктовых деревьев. Грушевых деревьев там больше всего. Ты любишь груши?» — спросила она.

Я машинально кивнул. Из всего рассказа Кэте я услышал только одно — «садовый домик». Этот домик я представил себе точно таким, каким был наш садовый домик в Нойкельне. Однако Кэте сказала, что в ее домике три комнаты и есть даже ванна.

«У вас будет хорошая плита, много дров и угля и настоящий туалет», — сказала она и погладила меня по голове. — «Твоя мама рассказала мне о вашем садовом домике в Нойкельне и попросила успокоить тебя. Мой садовый домик — обычный жилой дом с удобствами, только маленький и построенный из дерева».

Я почти не слушал Кэте — слова «садовый домик» испугали меня. Перед глазами встала полуразрушенная, грязная терраска, чадящая печь, чуланчик с сырыми дровами и раскрошенными угольными брикетами. В этот момент я даже был готов вернуться в Людмилину квартиру — только бы не в такое логово. Но я ни в коем случае не хотел показывать Кэте, что происходило в моей душе. Я молчал и автоматически кивал, будто соглашаясь со всем, о чем она рассказывала, и чувствовал себя отвратительно. Она разбудила мать, и через некоторое время мы отправились в путь.

Проведя нас через территорию лагеря, Кэте представила нас охранникам как дальних родственников из Цойтена и устроила так, что один из охранников на маленьком грузовичке довез нас до Вальдесру.

Садовый домик Кэте Нихоф оказался уютным деревянным домом со ставнями на окнах. Дом стоял посреди огромного сада.

Когда мы добрались до места, было уже довольно темно, и наше новое пристанище мы смогли рассмотреть как следует только утром. Этот садовый домик разительно отличался от домика в Нойкельне. Построен он был не из хлипких досок, а из толстых бревен. И у меня, и у матери была отдельная кровать. В ванной комнате имелись сидячая ванна и настоящий туалет со сливом. Стены ванной тоже были деревянными, и Кэте объяснила, что жить в деревянном доме — для здоровья самое полезное.

«Говорю вам — наслаждайтесь военным временем, после войны начнется что-то ужасное», — повторяла она. — «Если мы переживем бомбежки, будем страдать от голода. Вы только представьте себе, как мы разрушили Россию. И если нам придется заплатить за это», — обратилась она ко мне, — «то и твои внуки будут еще расплачиваться».

Она отнесла на кухню ведра и с трудом поставила их на кухонный стол.

«Идите сюда», — позвала нас Кэте. — «Я покажу вам, как работает газовая плита. Ледника в доме нет, но ведь сейчас портящиеся продукты можно положить за домом. А летом мы что-нибудь придумаем».

Мы вошли в кухню. Мать со вздохом облегчения опустилась на табуретку.

«Ты справишься с этим?» — спросила Кэте.

Мать утвердительно кивнула. Наконец она снова была на кухне, в которой можно готовить. Кэте открыла кухонные шкафы.

«Посуда и припасы наверху. Если чего-нибудь будет нехватать, скажете мне об этом».

Она показала на ведра.

«В этом ведре — горшочки с маргарином и маслом, а в этом — мясо: жареная свинина и шницели в сухарях. Я захватила с собой первое, что попалось под руку».

Потом мы сидели за столом в столовой. Кэте куда-то вышла и вернулась с тремя бутылками пива.

«Завтра я покажу вам мою кладовую».

Она поставила на стол стаканы и наполнила их пивом.

«Пей, не бойся», — сказала она мне. — «Это солодовое пиво. И вкусно, и питательно».

Кэте залпом осушила свой стакан и наполнила его снова.

«Вы должны держать себя здесь так же, как ваши соседи. Твоему сыну я привезу завтра черные вельветовые брюки и форменную рубашку члена „гитлерюгенда“. Он должен надевать эти брюки всякий раз, когда выходит из дома. А форменную коричневую рубашку пусть пока оставит в шкафу. Теперь мне надо знать, какого ты роста. Продукты покупать я могу в

Мальсдорфе. И вам не нужно будет лишний раз тут показываться. Да у вас и карточек продовольственных нет, правда ведь?»

Она приветливо улыбалась, но мне казалось, что она подсмеивается над нами. Но когда я лучше узнал Кэте, то понял, что таким образом она подбадривала и себя, и других.

Раз в три дня Кэте наведывалась к нам, чтобы пополнить запасы продуктов. Обычно она приезжала на мотоцикле с коляской. Этот мотоцикл был предметом зависти ее соседей. Мы всегда знали, когда она приезжает — ее мотоцикл оглашал своим треском всю округу. Кэте оставалась у нас допоздна, и в день ее приезда мать старалась приготовить что-нибудь вкусное.

Кулинария была страстью матери. И с такой же страстью Кэте поглощала приготовленное. За свою жизнь я видел немного людей, способных съедать такое невероятное количество пищи. При этом она умудрялась сохранять форму и оставалась стройной. Кэте была очень выносliва. Она могла целыми днями, не уставая, работать в саду. Когда однажды я спросил Кэте, почему она так много работает, она ответила — ну как же, это ведь ее сад, он будет ей подспорьем в старости. Здесь она хочет провести остаток жизни.

И вот теперь она дала нам возможность жить здесь. Я находил это просто удивительным. Если бы нас здесь схватили, она могла в одну минуту потерять все. С легкостью, как нечто само собой разумеющееся, она укрыла нас в своем доме, поставив тем самым себя в очень опасное положение. «В конце концов, пережила же наша планета ледниковый период! А на эволюцию это, по-видимому, никак не повлияло», — сказала она однажды матери в ответ на ее жалобы. — «Нужно только быть поумнее, чем наци, и соблюдать осторожность».

Когда мать согласилась с этим, Кэте обернулась ко мне и шутливо предупредила:

«И ты будь осторожен, однако перегибать палку все же не стоит».

Через несколько дней она привезла мне форму члена «гитлерюгенда». Даже ремень с эмблемой организации не забыла. И пока Кэте ушивала мои новые брюки, мать колдовала у плиты.

Смазав жиром круглую форму, мать заполнила ее сырым, мелко нарезанным картофелем, посолила, поперчила, добавила чуточку дрожжей и поставила форму в духовку. Там картошка томилась довольно долго, пока не покрылась хрустящей золотистой корочкой. Мать вынула ее из духовки и, полив соусом, подала на стол вместе с жареными шницелями. Это блюдо особенно нравилось Кэте. Она очень часто просила мать приготовить его и в большом количестве привозила продукты для

его приготовления. Достать она могла почти все.

Очень любила Кэте суп с вермишелью и отварной говядиной, которую мать обычно подавала с хреном и картофельным пюре. За один присест Кэте съедала невероятное количество супа и мяса с пюре, каждый раз при этом вздыхая:

«Господи, Роза, как ты готовишь! Если бы Гитлер это знал!.. Впрочем, он же вегетарианец».

Она предлагала матери — пусть та пригласит друзей, например, Лону. Или Карла Хотце — про него мать ей рассказывала. Кэте считала, что рано или поздно ей придется сказать о нас соседям. Она намеревалась и дальше выдавать нас за своих дальних родственников, пострадавших от бомбежки. Мы только должны были придумать точный адрес — улицу и номер разрушенного дома. При чем все — и улица, и номер дома — не должно вызывать подозрений. Кто знает — вдруг кто-то из соседей случайно окажется именно в том месте.

Не раздумывая, я сказал, что знаю такую улицу в Тиргартене. Мы договорились, что это будет Лессингштрассе — по ней я шел к вокзалу Бельвю.

Мать должна была сообщить «о нашем прежнем адресе» всем друзьям.

За эти недели мать раздалась в ширину и заметно прибавила в весе. Кэте успокоила ее — ничего, не нужно расстраиваться, кто знает, что ждет впереди, а сейчас — пусть набирается сил.

Однако ближе к весне нас начал мучить фурункулез. Этому способствовала однообразная и непривычно жирная пища. Фурункулы возникали на сгибах коленей, на ягодицах и подмышками. Под коленями болело особенно сильно. Даже на лбу у меня появился фурункул.

Хотце, изредка заглядывавший к нам, помогал как мог — смазывал фурункулы спиртом, а несколько фурункулов у меня на ягодицах он просто выдавил. И потом деловито спросил мать, не беспокоят ли ее фурункулы на тех же местах. А если есть, то пусть она попробует сделать это сама — она же внимательно наблюдала над его манипуляциями над моей задницей.

Хотце пообещал привозить нам овощи — у него ведь есть огород. Пара кочанов капусты и морковь для нас наверняка найдется, нужно только в погребе хорошенько поискать.

Кэте сказала, что у нее, к сожалению, овощей не осталось. Летом и осенью проблем, конечно, не было бы — у нее в саду и овощи, и фрукты. Но прошлый урожай она целиком отдала сестре в лагерь, для детей.

Карл Хотце не показывался целую неделю. Кэте, приезжая к нам, смазывала наши задницы сливовицей — на месте

выдавленных возникали новые фурункулы.

Как ни странно, лечение сливовицей помогло. Правда, от нас несло спиртным, как от заправских пьяниц, но зато ночью мы снова могли спать, если нам не мешала воздушная тревога.

Наконец Хотце привез повозку с капустой и пару мешков моркови. Теперь у нас были овощи.

«Уж лучше пусть от овощей живот пучит, чем мучиться от этих противных желваков», — говорила Кэте. — «Кстати, когда пучит живот, сливовица тоже помогает. Выпьешь немного — и все проходит!»

Я, разумеется, сливовицу не пил, и чтобы выпустить газы, выскакивал из дома в сад. Обе женщины только всплескивали руками — ну разве можно производить такой шум, этак все соседи, которые легли вздремнуть после обеда, с кроватей попадают!

Эти насмешки обижали меня, однако я сомневался в том, что сливовица и в самом деле помогает при вздутии живота. Один раз я тайком глотнул немного сливовицы. Меня затошнило, но вздутие живота не прекратилось. Это разозлило меня еще больше. Хотце привозил все новые кочаны. Но после того, как мать спросила, не может ли он привозить капусту какого-нибудь другого сорта, он привез нам капусту сорта «вирзинг». Сверху он положил два помидора. Хотце остался ужинать и съел помидоры сам. Наша маленькая компания очень над этим смеялась.

Однажды Лона удивила нас сообщением — в Целендорфе неожиданно появилась моя тетя Регина. Когда Лона заговорила с ней, тетя Регина от ужаса едва не потеряла сознание. Вместе с другой еврейкой она нашла квартиру недалеко от Коттбусер Тор. Приятельница тети Регины выходить из квартиры не может — слишком уж у нее еврейская внешность, совсем как на карикатурах и антиеврейских плакатах. И теперь Регине нужно было убираться из этой квартиры. Лону она встретила случайно. В конце концов, вместо Лоны она могла наткнуться на какого-нибудь шпика.

Но главное — тетя рассказала Лоне, что Ханс Кохман тоже избежал отправки. Правда, он живет в ужасных условиях и почти без еды, но обходится этой малостью и даже тайком подкармливает фрау Плац. Фрау Плац, знакомая матери и Регины, довольно сносно где-то устроилась. Кроме Ханса Кохмана, ее адреса никто не знает, но изредка она встречается с тетей Региной и делится своими заботами.

Лона рассказала — Регина жалуется, что уже загнала за бесценок свои украшения, и скоро ей будет нечем платить за жилье и за ту скудную пищу, которая необходима для выживания.

Мать недоверчиво покачала головой. «Регина всегда жалуется, чтобы скрыть свое истинное финансовое положение. Однако она единственная из моих сестер и братьев, кому удается с минимальными затратами получать максимальные выгоды и удобства. Все совсем не так трагично, Лона.

Можешь быть уверена — Регине лучше, чем многим из нас».

Но однажды Лона привезла тетю Регину к нам. Моя тетя Регина умом не отличалась, но обладала особым умением избегать всего, что могло представлять для нее опасность. Каким-то образом ей удалось получить настоящее удостоверение личности. Звали ее теперь Элизабет Мезериц. И в отличие от нас, она могла без опаски передвигаться по городу. Ради собственной выгоды она наладила контакт с Кэте Нихоф и, воспользовавшись этим, за ее спиной договорилась с работавшими на кухне чехами и ведрами тащила оттуда топленое масло и куски шпика. Обнаружив это, Кэте в два счета выставила тетю Регину из лагеря и запретила ей там появляться.

Из восьми бабушкиных детей тетя Регина была самой младшей. Когда Регине было четыре года, ей в глаз попал крошечный осколок разбившейся стеклянной игрушки. И хотя малышка жаловалась на боль в глазу, осколок заметили слишком поздно. Регина потеряла глаз. Однако врач заверил мою бабушку, что все могло кончиться гораздо хуже, если бы осколок остался в глазу и дальше. С тех пор один глаз у тети Регины был стеклянным. А позднее она потеряла еще и зубы.

Мы, дети, с восхищением смотрели на лежащий на ее ночном столике бережно обернутый чистой ватой стеклянный глаз и на искусственные челюсти в стакане с водой. В начальных классах мой брат часто хвастался товарищам, что у него необыкновенная тетя — она может разбираться на составные части. В его классе тете Регина была своего рода знаменитостью.

Когда после уроков мать заходила за братом в школу, одноклассники просили — если это его тетя, не может ли она хотя бы разочек показать, как у нее вынимается глаз. Мать, услышав как-то раз эти просьбы, влепила брату звонкую пощечину. Однако позднее, когда она об этом рассказывала, в ее голосе слышалась скрытая усмешка.

Тетя Регина интересовала меня гораздо больше, чем остальные родственники матери. С возрастом она стала еще эксцентричнее, влюбилась в моего отца и с восторгом слушала придуманные им истории.

Если верить рассказам матери, тетя Регина была бы самым красивым ребенком в семье, не случись с ее глазом несчастья. Старшая сестра тети (ей удалось вместе с семьей эмигрировать в

Англию) тогда бросила в нее эту злосчастную стеклянную игрушку. Игрушка разбилась, и осколок попал тете Регине в глаз.

Лона встретила тетю Регину в Целендорфе, когда та возвращалась от своего любовника. Это был очень богатый человек. Ему тоже приходилось скрываться от гестапо, несмотря на то, что он был женат на арийке. Арийка с ним развелась, его имущество и магазин перешло в ее собственность. Однако именно это обстоятельство позволило ей заботиться о бывшем муже. Разумеется, тайно. У этого человека была куча денег. Мне он казался отвратительным, но тетя Регина была привязана к нему.

«Я же разведен», — говорил он. — «Если мы переживем весь этот ужас, мы сможем пожениться».

Как ни странно, моя недоверчивая тетя безоговорочно верила ему. Мы с матерью называли его «этот миллионер». Удивительно, но ему не удалось обзавестись фальшивым удостоверением личности. Несмотря на деньги и преданную заботу бывшей жены. Поэтому он всюду посылал мою тетю с разными поручениями. Она делала для него покупки, через нее он поддерживал постоянную связь с бывшими деловыми партнерами и даже с бывшей женой.

Словом, моя тетя была целыми днями занята делами «этого миллионера». Вечером она покидала его весьма комфортабельное пристанище в Целендорфе и смертельно уставшая возвращалась в свою квартиру на Коттбусер Тор. Мать ненавидела «этого миллионера». Но ему удавалось доставать сигареты, которые Кэте Нихоф и Карл Хотце получали в обмен на овощи и продукты.

Жизнь в садовом домике Кэте Нихоф явно шла нам на пользу. Мы поправились, воздушные налеты не слишком беспокоили нас, а раз в неделю я даже учился, — по-настоящему, как в школе. Бывший школьный учитель Ханс Кохман появлялся у нас поздно вечером, чаще всего в конце недели. Он занимался со мной всеми школьными предметами, которые считал важными и которыми хотел заниматься, а потом набивал карманы своего пальто кусками сала и завернутым в жиронепроницаемую бумагу маргарином. В своем портфеле он носил только старые школьные учебники и литературу.

«Вряд ли меня будут обыскивать», — говорил он. — «А портфель наверняка откроют».

Этот вежливый, всего боящийся человек не осмеливался носить в портфеле еду, однако случалось, что во время долгой поездки в электричке он совершенно открыто читал обернутый в газету томик своего любимого Томаса Манна. Когда мать заговорила об этом с ним, он ответил:

«Никто из контролеров книг Томаса Манна не читал. А если и

читал, то это же настоящая литература! Разве можно иметь что-то против нее?»

Ему очень везло — он ни разу не нарвался на контролеров. Но в случае реальной опасности я желал бы ему обладать хотя бы долей природного инстинкта, каким обладала тетя Регина.

Во всяком случае, я очень симпатизировал Хансу Кохману. Во время уроков немецкого языка к нам очень часто присоединялись остальные обитатели домика.

Эти уроки превращались в коллективное чтение вслух. Каждый читал какое-нибудь произведение или отрывок из него. Иногда в таких занятиях принимала участие и Кэте Нихоф, и тогда чтение затягивалось до рассвета, после чего Кэте на своем мотоцикле уезжала обратно в лагерь. В своем портфеле Ханс Кохман привозил и драматические произведения. Чаще всего это были драмы Герхарта Гауптмана, любимого автора матери. Она радовалась, когда мы начинали читать «Бобровый мех». И когда наступала моя очередь и я произносил наизусть «Иисус говорил своим ученикам — у кого нет ложки, пусть ест руками», она слушала меня, затаив дыхание.

Мать любила все драмы Гауптмана и с удовольствием слушала любую — «Ткачи», «Роза Бернд», «Возница Геншель». Ханс Кофман часто исполнял песню из драмы «Бобровый мех»: «Утренняя заря сулит мне раннюю смерть».

Он пел эту песню своим скрипучим голосом, его лицо выражало крайнюю печаль. Нам всем даже как-то не по себе становилось.

«Хватит, господин Кохман, довольно. Поезжайте-ка домой, не то я, чего доброго, расхвораюсь», — сказала однажды Кэте.

Кохман удивленно уставился на нее и возразил:

«Да что вы, фрау Нихоф! Вы ведь женщина с сильным характером! И к тому же как будто сошли со страниц этой пьесы».

Честно говоря, пьесы Гауптмана меня не очень интересовали. Я находил их довольно странными, хотя радовался, глядя на счастливое лицо матери. Гораздо больше занимали меня книги по истории.

Каждый раз я просил Кохмана привозить мне именно такие книги. Однажды мне в руки случайно попала книга Циммермана о крестьянских войнах. Я был в восхищении. Правда, дочитать эту книгу до конца я не смог, но понравилась она мне страшно. По какой-то и сегодня неизвестной мне причине я отказался от этой темы, хотя настойчиво просил Кохмана рассказывать мне об этих войнах. Ханс Кохман был страстным любителем литературы, но в истории он разбирался слабо. Беседовать со мной на исторические темы он не захотел — это был не его конек.

Вместо этого он тайком сунул мне книги Эриха Кестнера. Это были «Эмиль и детективы» и «Летающая классная комната».

«Это ты должен читать под одеялом — книги запрещены».

«Если меня схватят, то уже точно не обратят внимания на то, что я читаю», — сухо ответил я.

Тем не менее я прочел обе книги, хотя нашел их несколько необычными и неправдоподобными. У меня никогда не было таких одноклассников. И таких школ и таких классов тоже. Обе книги я прочел до конца — других занятий у меня не было.

Весной 1944 года я познакомился с Рольфом Редлихом, который впоследствии стал моим другом. Я свободно разгуливал по Вальдесру, играл с соседскими детьми, когда они не были заняты, и бубнил что-то насчет того, что мы с матерью пострадали от бомбежки и теперь живем у родственницы, что теперь я хожу в школу в Кепенике и как член «гитлерюгенда» выполняю там свою обязанности. Рассказы о Кепенике звучали вполне правдоподобно — ведь Кэте всегда могла брать меня с собой. И когда я вставал пораньше, меня вознаграждала за это поездка на заднем сиденье ее мотоцикла.

С Рольфом я играл в футбол, Он очень сильно бил по ногам, и мои ноги поэтому выглядели весьма плачевно… Однажды, внимательно посмотрев на мои голени, он заявил, что знает теперь цвета моего спортивного объединения — сине-желтые. И поступаю я очень правильно — ношу эти цвета прямо на своих костях. Это было слишком. Голени мои действительно были в синяках и очень болели. Я влепил Рольфу пощечину.

«Если бы я сейчас был в униформе, тебе бы это так просто не сошло», — спокойно сказал он.

«Тогда я не стал бы с тобой связываться», — ответил я.

«Ну ты, воображала. Да я же тебя на составные части разберу! Вот только руки марать не хочется».

«Только попробуй!» — закричал я.

«Сейчас ты у меня получишь!» Он коротко рассмеялся и больно ударил меня в плечо.

Мой брат однажды сказал:

«Когда ты нападаешь, старайся не бить по телу. Бей сразу по голове. Это лишает твоего противника уверенности, и тогда ты можешь действовать смелее».

Я успешно применял эту стратегию, если мои ровесники приставали ко мне или называли еврейской свиньей. Однажды в 1938 году — мы жили еще на Эльберфельдерштрассе — живший напротив мальчишка выстрелил в меня из духового ружья. Пулька просвистела совсем близко от моей головы.

«Давай», — сказал брат. — «Покажи ему!»

Мой брат был для своего возраста, пожалуй, даже слишком длинным, и по уличным правилам вмешиваться в драку не мог.

Я перешел на другую сторону улицы. Передав ружье своим приятелям, маленький нацист тотчас двинулся навстречу мне. Не раздумывая, я ударил его по голове. Мальчишка закричал и схватился за глаз. Его приятели убежали. Я был вполне удовлетворен.

«Вот видишь», — сказал брат, — «у тебя получилось!»

Однако на следующий день мои недруги подкараулили меня. Их было еще больше, чем в прошлый раз. Они даже привели с собой овчарку.

Мальчишки преградили мне путь. Один из них подошел ко мне.

«Ну что, еврейская свинья, слабо тебе двинуть меня в глаз?»

Я снова воспользовался советом брата и несильно стукнул его по ноге, а когда он наклонился, изо всей силы ударил его в лицо. Я бросил взгляд на собаку — она стояла спокойно и признаков агрессии не проявляла. Зато мой противник был готов к новому нападению. Ударом кулака он раскровянил мне губы. Другим кулаком он двинул меня по животу. Меня чуть не вырвало.

Я отошел пару шагов назад. Мой недруг двинулся за мной. Он был много крупнее моего вчерашнего противника. На меня градом посыпались удары.

«Если я побегу», — подумал я, — «они натравят на меня собаку. Убегать нельзя. Мне нужно защищаться и ждать подходящего момента».

И такой момент настал. Мой противник решил, что с меня довольно. Он схватил меня и уже хотел швырнуть на землю, но я, рывком подтянув колено, изо всех сил ударил его. Он захныкал как маленький ребенок. Я с бешеной яростью набросился на него.

«Нужно все время бить по голове. Все время бить по голове».

Я не заметил, как прижал его к кромке тротуара. Он даже не отбивался.

«Это тебе от еврейской свиньи! Получай!» — в бешенстве кричал я.

Внезапно он сказал совершенно спокойно:

«Ну все, хватит. А теперь ноги в руки — и дуй отсюда. Если я позову подкрепление, тебе не поздоровится».

Он улыбнулся. Его лицо было в крови, коричневая рубашка была измазана грязью.

«А ты тоже выглядишь не лучше», — сказал он, ткнув меня в грудь. — «Ладно, давай, сматывай удочки».

Неожиданно для самого себя я протянул ему руку. Он быстро пожал ее, отвернулся и позвал товарищей. Видимо, он решил

больше не связываться со мной. Они ушли.

Бросившись на Рольфа, я, конечно, не вспоминал ни об этой встрече, ни о рукопожатии, которым она закончилась. В этот момент всем моим существом владела лишь ярость. Я помнил одно — нужно бить по голове. Однако Рольф оказался опытным боксером и все время защищал лицо и голову, увертываясь от моих ударов. Наконец я смог прорвать оборону и ударил его в подбородок.

«Эй, да ты совсем свихнулся!» — сказал он. — «Ну и бешеный же ты!»

Сев на землю, он осторожно ощупывал свою челюсть.

«Ты преувеличиваешь — не так уж страшно я тебя ударил», — сказал я.

«А ведь я мог бы тебя тоже стукнуть как следует!. Вот тогда бы и сравнили».

«Ну попробуй, стукни!»

«Это запросто. Ты ведь не защищаешь голову!»

«Почему же ты меня не ударил?»

«Ты что, не соображаешь? Я же руководитель отряда „гитлерюгенда“! Представляешь, как бы мне влетело, если бы я с тобой подрался!»

«Но ведь мои ноги от твоих ударов сплошь в синяках» «Это спорт», — ухмыльнулся Рольф. Он все еще сидел на земле, ощупывая подбородок. — «Погоди — кончится война, все будут носить штатское, тогда и на твоей физиономии синяки появятся».

«А я думаю — когда война кончится, мы все будем носить униформы».

«Ты уверен?» Рольф испытующе посмотрел на меня.

«Наверняка будут».

«На сто процентов, да? Твой отец, наверное, какая-нибудь важная шишка в Вильмерсдорфе?»

«Он унтер-офицер СС. Служит на Принц-Альберт-штрассе, в штаб-квартире гестапо», — тут же сочинил я.

«А почему не прямо в ставке фюрера?»

«Там уже все места заняты. Ни одной свободной комнаты!»

Рольф поднялся с земли.

«Придешь сюда завтра?» — спросил он.

«В это же время?» — ответил я вопросом на вопрос.

«Да, в это же время», — уточнил он и исчез за ближайшим углом.

Мы подружились. Жизнь в Вальдесру была относительно спокойной, и я становился все беззаботнее. Однажды нас с Рольфом остановил один из местных руководителей «гитлерюгенда» и потребовал предъявить документы.

«Этот растеряха забыл их дома», — сказал Рольф.

Эсэсовец посмотрел на меня. «Где находится твой отряд?» — спросил он. Я в это время рылся в своей сумке в поисках несуществующего удостоверения и притворился, будто не слышал обращенного ко мне вопроса.

«Его отряд находится в Кепенике», — ответил за меня Рольф.

«А разве он сам ответить не может?»

«Да этот дурак все еще в своей сумке копается!»

Рольф толкнул меня в грудь:

«Эй, слышишь — с тобой разговаривают! Почему не отвечаешь?»

«Извините».

«Тебя спросили, где находится твой отряд».

«Ах, да! Мой отряд находится в Кепенике».

Я встал по стойке «смирно».

«Нужно отвечать — мой отряд находится в Кепенике, господин шарфюрер!»

Я заметил, как рассвирепел Рольф от этого окрика.

«Мой отряд находится в Кепенике, господин шарфюрер!» — отрапортовал я и даже щелкнул каблуками.

«Хорошие у меня ботинки», — подумал я при этом. — «Молодец Кэте, цены ей нет».

«Чтобы в следующий раз документы были, болван!» — рявкнул шарфюрер.

Он повернулся к нам спиной и, не попрощавшись, пошел прочь.

«Ну и манеры у него», — прошептал Рольф вслед уходящему. — «Мог быть и повежливее — мы же не сделали ему ничего плохого!»

В Вульхайде мы попали на представление маленького бродячего цирка, но вечер был испорчен. В довершение всех несчастий началась воздушная тревога.

Я в первый раз попал в настоящее бомбоубежище. Однако налета не было, и примерно через час мы снова сели в электричку.

От Кепеника до Вальдесру мы шли через лес. Мы почти не разговаривали. Я был уверен — Рольф догадывается, что с моим арийством не все в порядке.

«Зайдешь к нам?» — неожиданно спросил он и взглянул на меня. — «Мой отец приготовит нам поесть, а потом мы можем послушать радио».

«Мать будет беспокоиться. По крайней мере, я должен сбегать и предупредить ее».

«Ну хорошо, тогда в другой раз».

Видимо, у Рольфа не было охоты дожидаться разрешения моей матери.

Через пару дней мы пошли в лес, чтобы поискать осколки гранат. После каждого налета эти осколки там можно было найти всегда. Их собирали почти все мальчишки. Некоторые даже их выгодно обменивали.

Это было похоже на соревнование. Тот, кто после налета первым успевал обшарить лес, приносил домой богатую добычу. Многие осколки даже не успевали остыть, их надо было брать осторожно, чтобы не обжечь пальцы.

В тот день мы с Рольфом встретились сразу после налета. Как только прозвучал отбой, мы помчались в лес. Одев старые, смоченные водой шерстяные перчатки, мы шарили по земле в поисках осколков.

«Слыхал, как грохотало?» — спросил Рольф. — «Это новые зенитки в Вульхайде! А после этого здесь полно осколков. Жаль, что янки сюда бомбы не сбрасывают. Никого бы не убило, зато у нас, наконец, были бы осколки от американских бомб. В нашем отряде есть пара типов, они на такие осколки ворованные продовольственные карточки обменивают».

В этот раз мы нашли в лесу целую кучу осколков от немецких снарядов. С богатой добычей мы отправились домой к Рольфу. Он открыл входную дверь. Еще в прихожей мы услышали, как в комнате во всю мощь работает радио. Рольф остановился как вкопанный — это были известные всем позывные БиБиСи, звучащие обычно перед передачей последних известий.

«Папа, ты дома?» — крикнул Рольф. Он уже собирался подняться по лестнице на второй этаж.

Внезапно все стихло, затем ближайшая ко мне дверь рывком распахнулась, и мужчина в шерстяной нижней рубахе и старых тиковых брюках в упор уставился на меня. Ухватившись за свои подтяжки, он медленно, с шумом выдохнул воздух.

«Вы давно пришли?» — спросил он, не спуская с меня глаз.

«Только вошли».

Рольф спрыгнул со ступеньки и подошел к отцу.

«Я спрашиваю — сколько времени вы стоите тут перед дверью?» Ухватив меня за волосы, он пригнул мою голову книзу.

«Эй, папа! В чем дело? Это мой друг. Он живет тут, за углом, в деревянном доме, у фрау Нихоф. Кажется, это ее родственники или друзья. Их дом разбомбило, поэтому они перебрались сюда».

Он выпалил свое объяснение единым духом, пытаясь отцепить отцовскую руку от моих волос.

«Ладно, заходите!» Отец Рольфа наконец оставил в покое мои волосы и пропустил нас в комнату.

В комнате было полутемно. Жалюзи были опущены, помещение освещала лишь маленькая лампа, стоявшая возле радиоприемника. Отец Рольфа закрыл за нами дверь и выключил радио.

«Садитесь!» — указал он на диван с высокой спинкой. Обивка дивана была местами протерта, и из дыр выпирали пружины. Я взглянул на Рольфа — он показался мне испуганным. Мы уселись на диван. Только теперь я разглядел — отец моего друга был очень крупным мужчиной. Вид у него был довольно потрепанный.

«Долго вы стояли в прихожей?» — угрожающим тоном повторил он свой вопрос, снова посмотрев на меня.

«Мы искали в лесу осколки от гранат».

Рольф протянул отцу осколки, завернутые в старое кухонное полотенце.

«А домой мы пришли только что. После налета я из бункера сразу отправился в лес, а около леса встретил Макса. Он тоже шел собирать осколки. Мы пошли вместе и нашли целую кучу», — без перерывал тараторил Рольф.

«Ты тоже был в бункере?» — перебил его отец, снова посмотрев на меня.

«Да».

«Я там тебя не видел».

«И я вас тоже».

Он на мгновение задумался, видимо, размышляя, как отреагировать на мое наглое заявление.

«Но почему же в таком случае вы не вышли из бункера вместе?»

«Потому что из бункера я выскочил быстрее его», — ткнул я Рольфа локтем в бок. Тот, казалось, не собирался прерывать допрос. Его отец подошел ко мне и не то слегка ударил, не то потрепал меня по щеке. От неожиданности я вскочил с места, но он с силой усадил меня обратно на диван и довольно спокойно спросил:

«А теперь я хочу знать — ты слышал что-нибудь, когда вы вошли в дом?»

«А что может случиться?» — подумал я. Отец Рольфа слушал передачи вражеского радио. И теперь мне нужно сделать вид, что это для меня не такая уж новость. Может быть, это его успокоит.

«Вы слушали английское радио», — уверенно сказал я.

Теперь с места вскочил Рольф. И так же, как и меня, отец заставил его сесть снова.

«Это неправда, ты все сочиняешь. Ничего такого он не мог слушать», — тихо сказал Рольф.

«Откуда ты знаешь, что это было английское радио?»

Я молчал, отведя глаза в сторону.

«Так откуда же?» — повторил он с угрозой в голосе.

«Да уж знаю».

Он ждал.

«Вы хотите, чтобы я кого-нибудь предал? Как по-вашему, это было бы хорошо?»

Я обернулся к Рольфу. «А ты мог бы предать своего отца?»

Рольф посмотрел на отца. Его отец тоже смотрел на меня. Все молчали.

Так прошло довольно много времени. «Вы уже ели что-нибудь?» — прервал наконец молчание старый Редлих.

«Когда?» — вопросом на вопрос ответил Рольф.

«Ладно, тогда я приготовлю вам бутерброды».

Он направился к двери. «Можно мы немного музыку послушаем?» — попросил Рольф.

Старый Редлих резко обернулся, смерил сына сердитым взглядом и молча вышел из комнаты.

Этот день сделал нас с Рольфом настоящими друзьями.

Мы стали неразлучны. Не проходило дня, чтобы мы не виделись. Если я не заходил к ним, отец Рольфа спрашивал, почему я не появляюсь. Может быть, он все еще боялся, что я донесу на него? Я никогда не спрашивал его об этом.

Он работал на железной дороге и навидался всякого. Наверное, это сказалось на его характере. Жена оставила его, но Рольф не захотел жить с матерью. Он был очень привязан к отцу и никогда даже не пытался навестить мать, жившую в западной части Берлина. Рольф часто оставался дома один, но прекрасно справлялся с нехитрым домашним хозяйством.

Старый Редлих научил сына готовить простую еду. Впрочем, большого выбора у Рольфа и не было — в основном капуста, брюква и картошка. Иногда к овощам добавлялись нарезанные на маленькие кусочки сосиски. Однажды Рольф пригласил меня пообедать. В тот день он был один. Его отец снова был на монтаже — так он называл свою работу. Однако сваренная брюква оказалась жесткой и невкусной, и Рольф был очень огорчен этим.

Через некоторое время, когда отец в очередной раз был на монтаже, Рольф снова пригласил меня. Когда я пришел, на столе опять стояла тарелка с вареной брюквой.

«Ешь», — протянул мне тарелку Рольф.

Я отрицательно замотал головой. «Это же корм для свиньи. Мне это не прожевать, да и на вкус как кора дерева».

«Ешь!» — настаивал Рольф.

Я взял кусочек брюквы и осторожно откусил. На этот раз

брюква была мягкой и островатой на вкус.

«Ты что, пиво туда добавил?» — спросил я.

«Я сделал мучную подливку и добавил немного коньяка. Отец часто привозит коньяк из Польши».

«И теперь я приду домой пьяный», — сказал я.

Рольф был очень горд своими кулинарными успехами, особенно мучной подливкой.

«Неужели у поляков есть еще коньяк?»

«Да они бы всю страну продали, если бы смогли. Однако чаще всего разные вещи можно получить у евреев».

«У евреев уже давно ничего нет», — пробормотал я.

«Мой старик всегда говорит — их нужно потрясти хорошенько, обязательно найдется еще что-то. Если бы мы их потрясли как следует, может, тогда и войну смогли бы выиграть!»

Я был ошеломлен, я просто не находил слов. Хотя я продолжал есть, но кусок не лез в горло. Наконец я прервал молчание. «Ты всерьез так думаешь? Да у тебя просто не все дома!»

«Только не кричи сразу „Хайль Гитлер!“ Не понимаешь, что ли, — нас непрерывно лупят со всех сторон! Русские стоят у самой границы Польши, янки и англичане бомбят наши дома, а ты все еще веришь в победу. Совсем рехнулся! Как ты думаешь, кто стоит за спиной у американцев? Евреи, дуралей! Евреи снабжают американцев деньгами, и на эти еврейские деньги янки производят свои бомбы. А мы истребляем евреев восточной Европы. Ты думаешь, они это забудут? Они отплатят нам. У них же международные связи! Эх, если бы нам да их деньги! Мы бы уже плавали в Беринговом проливе и катались на лыжах в Сибири!»

«Можно что-нибудь и получше придумать», — сказал я.

«Мы бы там много чего понастроили, чтобы спортом заниматься. А с нашей энергией и с еврейскими деньгами мы были бы непобедимы!».

Я поднялся. «До скорого!»

«Нет-нет, побудь еще немного. Ведь еще не очень поздно!»

«Мне уже пора».

Мне все больше становилось не по себе.

«Не валяй дурака. Твоя мать, небось, даже рада побыть немного в одиночестве».

Я не ответил. Просто стоял и молчал.

«У меня есть еще порция брюквы. Хочешь? С коньяком. А может, это не коньяк, а водка? Ни на одной бутылке нет этикеток!» Рольф, казалось, был совершенно поглощен разглядыванием бутылок. «И почему это фюрер против вас так

настроен?» — как бы между прочим спросил он.

«Господи!» — подумал я. — «Мне бы только уйти отсюда!»

Сколько времени он знает, что я еврей? Я был охвачен паникой, но не мог сделать и шага. Только стоял, уставившись в пол. А если я и убегу, что изменится? Он знает, где я живу, знаком с Кэте Нихоф, видел мою мать и может сразу узнать ее, и ему ничего не стоит выдать нас. Дело дрянь!

Рольф взглянул на меня. «А знаешь, что с евреями делают по приказу фюрера?»

Я молчал.

«Их отправляют в Польшу и там травят газом, как клопов. Отправка идет непрерывно-днем и ночью. Все поставлено на поток, все операции отработаны, как на фабрике. Фабрика по переработке людей. Что ты на это скажешь?»

«Ты сочиняешь!»

«Ты бы моего отца послушал, когда он возвращается с очередного „монтажа“. Как он по ночам в подушку плачет».

«Он рассказывал тебе об этом?» — спросил я совсем тихо.

«Может, он втайне надеется, что я донесу на него, и тогда он выйдет из игры и не будет все это видеть. На территорию лагеря ему нельзя, но с него достаточно того, что он видит, когда транспорт прибывает на место и двери вагонов открываются. Живые вываливаются из вагонов вперемешку с трупами — они там спрессованы, как сельди в бочке. Первое время, когда он видел такое, его рвало. Теперь его не рвет. Зато у него началась бессонница — ну совсем уснуть не мог. Ему прописали снотворное. Он наглотается таблеток и спит, а иногда во сне всю ночь кричит, пока я его не растолкаю. И тогда он начинает рассказывать. Рассказывает и рассказывает. Я ведь единственный, с кем он может поговорить откровенно. А каково мне все это слушать? Когда он возвращается с „монтажа“, то плотно закрывает все двери и слушает английское радио. Ему вовсе не хочется знать, где и когда немцам дали по шапке. Его интересует одно: знают ли англичане об этом, а если знают, то что именно. А стоит ему услышать, что англичане тоже про это знают, каждый раз с ним просто истерика, начинает плакать — не остановится. Я для него вроде медсестры. Иногда даже его ругаю: „Ну почему ты не бросишь все это? Скажи, что ты заболел, что у тебя нервы не в порядке“. А он всегда одно и то же говорит: „Пойми — это же невозможно. Тогда то же самое будет делать кто-то другой. И тоже станет развалиной вроде меня. Стало быть, уж раз я это делаю, то буду делать и дальше“».

Рольф опустил голову. «Раньше мой отец был отличным парнем».

«Это и сейчас видно».

Он взглянул на меня.

«Сейчас от него ничего не осталось. Призрак, жалкое подобие того, что было».

Рольф снова отвел глаза.

«Но он теперь хотя бы не кричит по каждому случаю „Хайль Гитлер!“, чтобы все видели, какой он твердолобый нацист».

«А ты?»

«Я? Конечно, я твердолобый нацист. Я самый твердолобый нацист во всем Вальдесру».

Он ухмыльнулся.

«А ты кто?»

«Я тоже твердолобый нацист. Я такой твердолобый, что ты можешь еще поучиться у меня».

Рольф встал. «Хочешь еще брюквы?»

«Я пойду домой, а ты тем временем можешь донести на нас своему начальству».

«Ну вот, еще чего! Так сразу я и побежал!»

Мы замолчали. Наконец Рольф подошел ко мне и положил руку мне на плечо.

«Забудь про мое начальство. Беги домой и смотри, не наделай глупостей. Я никому ничего не скажу. А для меня ты — парень из западной части Берлина, который пострадал от бомбежки. Да еще нос задирает».

У самых дверей я обернулся. «Когда твой отец вернется?»

«Сегодня ночью».

«Утром он должен опять ехать?»

«Нет, он побудет дома пару дней. Евреев сейчас осталось не так уж и много».

Целую неделю мы с Рольфом не виделись. Я был даже рад этому. Матери о нашей беседе я не рассказывал, иначе она бы страшно разволновалась и тут же захотела бежать из Вальдесру.

Но через неделю Рольф появился у наших дверей. Кэте пригласила его зайти в дом. Он за руку поздоровался со всеми, был очень учтив и произвел на обеих женщин весьма благоприятное впечатление.

«Ишь ты, аристократ выискался!» — подумал я. — «Даже странно, почему он при этом каблуками не щелкнул. Ну и притворщик!» Я беспокойно ерзал на стуле. Мне было не совсем ясно, что ему у нас нужно — ведь после того разговора он избегал встречи со мной.

Кэте поставила перед нами стаканы с лимонадом. «Не пойти ли нам немного погулять?» — спросил я Рольфа.

«Зачем?»

Матери, по-видимому, наш гость сразу очень понравился.

«Дай ему сначала спокойно лимонад выпить. Успеете погулять — до вечера еще далеко».

Я был готов увести его куда угодно, лишь бы подальше от дома.

«Если он хочет нас выдать, то почему же медлит?»

Я вскочил со стула. Однако прежде чем я успел что-нибудь сказать, Рольф сообщил матери, что по поручению отца он пришел пригласить нас к ним в гости. И фрау Нихоф, разумеется, тоже. Если, конечно, обе дамы согласны. Нас угостят домашним печеньем и кофе, к сожалению, жидким.

Обе дамы с восторгом согласились. Рольф допил свой лимонад и встал из-за стола, церемонно попрощался с матерью и Кэте.

Мы вышли из дома. «Ты самый большой притворщик из всех, которых мне доводилось встречать», — заговорил я, как только мы вышли на улицу.

«Это была не моя идея. Отец очень хочет познакомиться с твоей матерью».

«Слушай, ты в самом деле думаешь, что мы евреи?»

Я остановился и повторил свой вопрос. «Почему ты думаешь, что мы евреи?»

«Отец сказал».

Было видно, что Рольф очень разозлился.

«Хочешь знать, что он мне сказал? — „Кого ты в дом привел? Он же еврей, я сразу увидел!“»

Я думал, мой старик шутит, но он говорил это всерьез.

«Ты же знаешь, кого я все это время в Польшу возил? Уж теперь-то я еврея сразу распознать могу. Взрослый или ребенок — мне все равно, узнаю сразу. У них у всех в выражении лица есть что-то общее. Случалось, воздушная тревога или пути разрушены — поезд останавливался, так я, если никто не видел, бросал в прорезь для воздуха бутылки с водой или хлеб. И когда я слышал их голоса, когда они, с трудом поднимаясь в своих вагонах, благодарили меня, мне становилось нехорошо. Говорю тебе — я знаю, как они выглядят. Твой новый приятель — еврей, это точно. Не знаю, как им удалось избежать транспортировки в Польшу и как они оказались здесь. А уж Кэте Нихоф должна бы знать, что через два дома от нее живет офицер СС, он в Вальдесру самый главный нацист».

«Я хочу знать, почему твой отец пригласил нас с матерью в гости».

«Он хочет поговорить с вами начистоту. Однажды во время поселкового праздника сосед Кэте Нихоф уже взял ее на заметку.

Не бойся, мой старик не выдаст вас. Он хочет вас предупредить».

«А что этот эсэсовец имеет против Кэте?»

«Не знаю. Думаю, отец вам обо всем расскажет».

В костюме и в рубашке с галстуком старый Редлих выглядел просто щеголем. Он пригласил обеих дам пройти в столовую и поставил на стол громадный песочный пирог. Только теперь я разглядел эту комнату как следует.

Она была просторная, очень светлая и чистая, обставленная довольно старой и разномастной мебелью, но несмотря на это выглядела очень уютно. Погода в этот день стояла отличная, вовсю светило солнце, и настроение у всех было прекрасное. Стол был красиво убран. Старый Редлих удалился на кухню и через некоторое время вернулся с большим жестяным кофейником.

«Не желают ли дамы сначала выпить по рюмочке или сразу приступим к пирогу?»

Кэте и мать переглянулись и рассмеялись.

«По рюмочке? Было бы неплохо», — ответила Кэте. — «Это расчистит место для вашего чудесного пирога».

Одним глотком Кэте опорожнила свою рюмку.

«Да это же водка!» — воскликнула она. — «Вы должны были предупредить нас».

Редлих, улыбнувшись, обратился к матери:

«Пейте, не бойтесь. Это не яд, это польская водка».

«Водка не всегда полезна», — сказала мать.

Она сделала маленький глоток и снова поставила свою рюмку на стол.

«Что-то подобное я пью только тогда, когда у меня не в порядке желудок».

«Думаю, сейчас ни у кого нет проблем с желудком. Ведь по карточкам мы получаем совсем немного жира, так что никаких проблем быть не должно».

«Раз так, то и водка тебе не нужна», — сказала Кэте, взяв рюмку матери.

Мы не успели и глазом моргнуть — так быстро Кэте расправилась и с этой рюмкой.

«Вот это да! Одним махом!» Рольф с удивлением посмотрел на нее. Кэте хлопнула его по спине.

«Доживи до моего возраста, и ты научишься».

Она обернулась к старому Редлиху.

«Вы, кажется, железнодорожник?»

«Да». «Как вам удается доставать такую отличную водку?»

«Еще одну?» — Редлих снова наполнил рюмку Кэте. — «Это последняя бутылка. Но из следующей поездки в Польшу, может, привезу еще».

«Вы часто ездите в этом направлении?» — поинтересовалась мать.

«Да почти только в этом направлении и езжу», — ответил Редлих.

Он повернулся к матери и внимательно посмотрел на нее.

«Почти только туда», — повторил он.

«А куда именно?» — вмешалась в разговор Кэте.

«Иногда до Варшавы. Там я и достаю водку. Польские спекулянты — парни довольно надежные, но, к сожалению, в последнее время заметно обнаглели».

«Об этом и я могу кое-что порассказать», — добавила Кэте. — «У нас в магазине тоже все воруют. Иногда целые грузовики с товаром будто в воздухе растворяются».

«Да-да, в Польше то же самое. Нужно постоянно следить, иначе последний гвоздь из стены вытащат».

«Так ведь ваша водка тоже небось ворованная», — сухо сказала Кэте.

«А вы, значит, в Кепенике работаете? В чешском лагере?»

«Да, я повариха».

«И вся кухня под вашим началом?»

«Да, конечно».

«Чехи тоже продукты воруют?»

«Исключительно редко».

«И вы не знаете, кто это делает?»

«Чехи меньше всего. Хотя они и могли бы».

«Кто же тогда?»

«Не догадываетесь?»

«Неужели охрана?»

«Мне кажется, вы излишне любопытны».

Тон Кэте становился все суше и неприветливее. Но старый Редлих не замечал этого. Он был очень увлечен разговором.

«Можете мне ничего не рассказывать. В России наши камня на камне не оставили. Что не вывезли, то сожгли. Польшу тоже разорили».

«Эй, поосторожнее! Вы же совсем не знаете, с кем говорите! Хотите своего сына сиротой оставить?»

«Я прекрасно знаю, с кем разговариваю. Я хорошо разбираюсь в людях».

Старый Редлих становился все разговорчивее. Налив женщинам кофе, он вылил оставшуюся водку в свою рюмку.

Нам тоже было хорошо. Рольф давно уже не видел своего отца таким веселым и был счастлив от того, что у отца приподнятое настроение. Я улыбался, глядя на своего друга. Но мать оставалась серьезной. Даже настороженной. Хотя изо всех

сил старалась скрыть это.

«Железнодорожники ведь знают, куда еще можно ездить. Раньше я мог доехать до Харькова, а теперь — только до польско-русской границы».

Он медленно пил свою водку, смакуя каждый глоток.

«Война есть война — во всякой войне бывает и наступление, и отступление. Сейчас не самое лучшее время — мы отступаем. Но нельзя же сразу впадать в панику и терять мужество. Мы, немцы, не можем себе это позволить», — сказала Кэте.

Глаза Редлиха внезапно утратили веселое выражение. Он устало поглядел на обеих женщин. «Русские оказались сильнее, чем мы считали. Их человеческие ресурсы неисчерпаемы», — вяло произнес он. — «Они могут воевать еще лет двадцать. Мы — нет».

«Не думаю», — перебила его Кэте. — «Когда-нибудь их силы тоже иссякнут. А вам не следует пить так много, тогда действительность не будет казаться такой безрадостной».

Однако взгляд старого Редлиха становился все мрачнее. Он, не отрываясь, смотрел на мою мать. «Кто-то всегда побеждает», — медленно сказал он. — «Сегодня я, завтра ты. Они пользуются поддержкой евреев, поэтому мы и сидим по уши в дерьме».

За столом воцарилось гнетущее молчание. Немного помедлив, Редлих продолжал:

«Я слышал, ваши чехи вовсю спекулируют краденными продуктами. Она не смогли бы это делать, если бы немцы не смотрели на это сквозь пальцы».

«Если что-то подобное доходит до ваших ушей, вам лучше донести об этом кому следует, вместо того, чтобы рассказывать мне», — невозмутимо отозвалась Кэте. — «Не забывайте, что я заведую кухней в чешском лагере».

«Я считаю нужным сказать вам об этом. А на людей я не доношу. И никогда ни на кого не доносил».

«Хорошо. Поступайте так, как вы считаете нужным. Скажите — вы пригласили нас, чтобы предупредить?»

«Возможно».

Кэте поднялась из-за стола. «Большое вам спасибо. Однако, чтобы вы на этот счет не волновались, я хочу сказать — из моей кухни ничего не воруют. Потому что когда я вижу, что кто-то нуждается больше, чем другие, то стараюсь выкроить что-нибудь для этого человека. И при этом мне все равно — чех он или немец. Приезжайте как-нибудь к нам в лагерь — я приглашаю вас. Вот тогда и сможете обо всем таком потолковать с нашими охранниками, уж они-то лучше всех знают, что в лагере делается. А чашечка кофе для вас у меня всегда найдется. И кусок пирога. Мои чехи сами пекут. Они великолепно это делают, поверьте мне!

Вам у нас понравится. Если захотите, можете и сына с собой привезти».

На этом мы попрощались.

После визита к Редлиху я Рольфа больше не видел. Выходя на улицу, я всегда встречал кого-нибудь из ребят. Рольфа среди них не было. Один раз я даже подошел к его дому. Дом выглядел нежилым.

«Они уехали», — подумал я. «Наверное, хотели куда-нибудь подальше от бомбежек», — объяснил я дома матери и Кэте.

Но это не успокоило женщин. Когда Хотце, в очередной раз приехав к нам, узнал о нашей беседе со старым Редлихом, он заволновался. Хотце заставил женщин несколько раз повторить содержание разговора, спросил о подробностях беседы, о выражении лица старого Редлиха. Спросил он и о том, не обращал ли Редлих особого внимания на какие-нибудь определенные высказывания матери.

Под конец Хотце заявил — он подозревает, что все, что говорил Редлих, адресовалось, в сущности, только матери. А разговор о незаконных действиях чехов — всего лишь повод, и пригласил он нас только для того, чтобы предупредить.

«Уверяю вас, это было предупреждение. Он, наверное, о чем-то догадывается. Фрау Нихоф, к этому нужно отнестись со всей серьезностью! Если за вами следят, то, конечно, вашим окружением тоже интересуются».

Однако опасения Карла Хотце не обеспокоили Кэте. Наоборот, она устроила у себя в лагере большой прием. Поводом для этого послужил день ее рождения.

Эрна Нихоф тоже приехала. Она привезла с собой целый ящик французского коньяка.

«Наверное, из Парижа», — подумал я.

Сидевший во главе стола эсэсовский офицер, начальник лагеря, поднялся и произнес тост в честь сестер Нихоф. Оба Редлиха, Рольф и его отец (они тоже были приглашены и, как ни странно, откликнулись на приглашение), как зачарованные, наблюдали за происходящим.

«Дорогая Кэте Нихоф, вы — непревзойденный мастер своего дела. Офицерский состав Кепеника предложил оборудовать в этом лагере столовую для заслуженных членов нашей партии и взять на себя заботы по ее обслуживанию, сняв с этой работы чехов».

Кэте засмеялась. «Тогда и деревообделочные работы некому будет выполнять».

Заявление Кэте ничуть не смутило начальника лагеря. Он отпил глоток из своей рюмки и продолжал:

«Я говорю совершенно серьезно. Кэте, мы действительно заинтересованы в том, чтобы перевести вас на работу в Губен, в

наш лагерь по подготовке военных кадров. Наших ребят кормят куда хуже, чем чехов здесь. Я полагаю, что они заслужили лучшего. Ведь эти молодые люди — новое поколение, они вместе с нами будут защищать родину от нашествия русских, сражаться за нашу окончательную победу. Подумайте над этим предложением, Кэте, и не заставляйте нас слишком долго ждать! А вас» — обернулся он к Эрне Нихоф — «я как нашего товарища по партии попрошу воздействовать на сестру. Это в интересах всех нас. Без сомнения, в нашем лагере она сможет проявить свои профессиональные и организаторские способности еще лучше. Я пью за здоровье именинницы!»

Все присутствующие присоединились к тосту. Моя мать и Кэте сидели по обе стороны выступавшего, и он тут же втянул мать в беседу. Рядом с Кэте сидела ее сестра Эрна. Я украдкой поглядывал на Рольфа, сидевшего рядом с отцом на другом конце стола. Но тот смотрел прямо перед собой, не удостаивая меня взглядом.

«Если оба что-нибудь сболтнут о нас, вот будет переполох!» — подумал я.

В выходном костюме, с приглаженными волосами старый Редлих выглядел почти элегантно. Рольф, одетый в форму «гитлерюгенда», тоже имел внушительный вид.

«Что вы на это скажете?» — услышал я вопрос офицера, обращенный к матери.

«На что?» — непонимающе спросила та.

«Кэте могла бы стать для нас добрым гением, родной матерью. А здесь она готовит еду для наших потенциальных врагов. Как вы думаете, что сделали бы они с нами, если бы осмелились?»

«О да, я очень хорошо могу себе это представить».

«Вот видите, и для этого сброда наша замечательная Кэте должна надрываться! Мы будем поставлять им капусту и картофель, а они пусть сами выберут поваром кого-нибудь из своих».

«Думаю, к капусте и картофелю можно добавить и немного свинины».

«Конечно. Почему бы и нет? А поставлять можно из Чехии».

Он засмеялся и поднял свою бокал за здоровье матери, даже не заметив, что ее рюмка оставалась нетронутой.

Я наблюдал за сестрами Нихоф. Прямые, как свечи, сидели они на своих стульях и неотрывно смотрели на мать.

«Кэте», — обернулся в именинице офицер. — «Ваша подруга совершенно со мной согласна. Бросьте вы эту кухню! Рано или поздно мы заберем отсюда весь немецкий персонал, кроме

охраны».

«Но ведь охрану тоже нужно кормить!» — вмешалась в разговор мать. — «Не можете же вы поставить поваром кого-нибудь из этих чехов?»

«Чехия всегда славилась своей кухней», — сказала Эрна. — «Почти каждый чех может неплохо готовить».

«И деревообделочники тоже?» — спросила мать. Глаза ее сверкали от возмущения. Что это вдруг на нее нашло? Может, мать еще помнит последний разговор с Эрной по телефону?

«Ну что ж, если чехи могут готовить сами, то здесь вас ничто не должно удерживать, Кэте», — попытался уладить спор офицер. — «Раз чехи могут позаботиться о себе, то, без сомнения, обойдутся без вас, а вы будете кормить наших мальчиков».

Однако Эрна не унималась. «Конечно, чехи могут готовить сами, но организовать все может только Кэте. Она делает все для того, чтобы хорошо кормить рабочих — ведь для тяжелой работы, которую они выполняют, нужно много сил!»

«Неужели вы думаете, что наши мальчики не нуждаются в таком же питании?» Голос офицера стал резким. От его приветливости не осталось и следа.

«Я думаю, что эти рабочие в конечном итоге работают для нас. В противном случае вы бы их сюда не привезли. И вы прекрасно знаете, что работа, которой заняты эти люди, отнюдь не сахар. А без мало-мальски приличного питания они вряд ли смогут работать продуктивно».

«Мне странно слышать подобные высказывания от члена нашей партии. Чтобы они бездельничали в Чехии или организовывали там партизанские отряды? Вы забыли, что случилось с Гейдрихом?»

В его громком голосе слышалось плохо скрываемое раздражение. Гости прекратили есть и беседовать друг с другом. Повернув голову в мою сторону, Рольф показал глазами на Эрну, словно хотел спросить:

«А это кто такая?»

Успокаивающим жестом мать коснулась руки офицера:

«Ваши мальчики имеют неоспоримо больше прав на хорошее обслуживание. И Эрна тоже это знает. Она же хочет только, чтобы наши мужчины могли воевать, не беспокоясь об остальном. Ведь то, что здесь делают чехи, исключительно мужская работа. Или вы думаете, что женщины тоже могут с этим справиться? Таскать тяжелые бревна, распиливать их на доски? Однажды я видела, как четверо мужчин поднимали такое бревно на козлы, чтобы распилить. Как им было тяжело! Да вы, наверное, тоже об этом слышали».

Рука матери по-прежнему касалась его руки.

«Посмотрите на мои руки. Думаете, я справилась бы с подобной работой?»

Ее слова, похоже, убедили офицера.

«Да, чехи должны работать дальше», — сказал он. — «Я только хочу, чтобы Кэте Нихоф не тратила свои силы на этих дикарей. А чехи работают и будут здесь работать с полной нагрузкой. Имейте это ввиду!»

«Да, здесь забот каждый день по горло».

«Можно сказать, так оно и есть».

«И несмотря на это, вы хотите, чтобы Кэте перешла работать в Губен? Отказаться от такой поварихи! Наверное, вы питаетесь дома и ваша жена такая же искусная кулинарка, как Кэте».

«Я не женат», — ответил офицер. Он не спускал глаз с матери.

«Может, ему не по вкусу моя стряпня, и он хочет от меня избавиться», — вмешалась в разговор Кэте.

«Разве я не говорил вам много раз, что ваши супы не имеют себе равных? А ваши котлеты? А жареный картофель? А кофе? Кстати, вы давно обещали дать мне рецепт вашего жареного картофеля».

«Ладно, сделаю», — ответила Кэте. — «Вы получите рецепт, а за это вы оставите меня здесь, в этой кухне. Видите ли, отсюда до Вальдесру я добираюсь на своем мотоцикле за пятнадцать минут. А в своем домике после напряженного рабочего дня я могу расслабиться и отдохнуть. Мне это необходимо. Для лагеря в Губене можно и других подыскать. Я знаю по меньшей мере дюжину таких. Превосходные поварихи! Готовят так, что пальчики оближешь!»

Мать по-прежнему держала свою руку на руке офицера.

«Я совсем не знал, что вам так хорошо здесь».

Его голос был теперь гораздо спокойнее. «А ведь вы наверняка тоже хорошо готовите!» — обернулся он к матери.

«Да, пожалуй. Во всяком случае, готовку я никогда я не считала своим злейшим врагом».

«А кто же ваш злейший враг?»

«Вы это знаете».

«Нет, не знаю».

«С кем мы сейчас сражаемся?»

«Со всеми», — засмеявшись, ответил офицер.

«Мои злейшие враги — англичане и американцы», — сказала мать.

«Почему именно они?» Мне показалось, что ответ матери удивил его.

«Потому что они разрушают наши города. Потому что почти каждую ночь мы не имеем покоя. А теперь они совершают налеты даже днем!»

«Я хочу вам кое-что сказать».

Офицер ласково погладил руку матери.

«Наши злейшие враги — русские. И англичане, и американцы имеют все-таки германские корни. Они некоторым образом приходятся нам родственниками. Наши враждебно настроенные к нам братья, если так можно выразиться. Фюрер уладит этот конфликт. Когда с русскими будет покончено, все снова встанет на свои места. Они опять станут нашими друзьями, потому что мы спасем их от большевистской чумы».

«От еврейско-большевистской чумы», — уточнила Эрна, взглянув на мать.

«Совершенно верно — от еврейско-большевистской чумы», — повторил офицер. — «Если мы их раздавим, это решит все остальные проблемы. А мы раздавим их, можете не сомневаться».

«Мы раздавим их», — повторила мать. Ее лицо приняло решительное выражение. «Мы раздавим их».

«Прекрасно, что вы так безоговорочно верите в нашу победу», — восхищенно произнес офицер.

«Да. Я верю в нашу победу. Безоговорочно».

«С поддержкой таких женщин с нами ничего не случится. Такие женщины, как вы, вливают в нас новые силы, поддерживают наш боевой дух».

Он встал и поднял свой бокал. «За нашу окончательную победу!» — провозгласил он.

«За нашу окончательную победу!» — громко повторила его слова мать. Она поднялась и стояла рядом с офицером, держа в руке рюмку. Она залпом выпила свой коньяк, и я подумал:

«Сейчас она, как всегда, закашляется. И между приступами кашля начнет ужасно хохотать».

Однако она проглотила содержимое рюмки, даже глазом не моргнув. Затем она разбила свою рюмку о стол и снова села на свое место.

Все зачарованно смотрели на мать. Старый Редлих с бокалом в руке рывком поднялся с места. Постояв так некоторое время, ни капли не выпив, он молча, медленно опустился на свой стул.

«Ай да мама!» — подумал я. — «Замечательно! Молодчина!»

Посмотрев по сторонам, я увидел ошеломленное лицо Эрны и полные удивления глаза Кэте. Я перевел взгляд на Рольфа. Рольф неотрывно смотрел на мать. Даже когда половина гостей уже разошлась, она все еще сидел и почти с обожанием смотрел на нее. Выглядел он довольно глуповато.

Кэте должна была незамедлительно решить вопрос о переходе на новое место. До поздней ночи она говорила об этом с Эрной и матерью. Эрна была почти убеждена, что это скоро произойдет. Однако, как ни странно, ничего не случилось.

Эрна и мать по-прежнему недолюбливали друг друга, однако после праздника, устроенного по случаю дня рождения Кэте, стали относиться друг к другу с большим уважением. Кэте пыталась убедить мать остаться в Вальдесру, если ей самой придется перебраться в Губен, однако у матери на этот счет были сомнения. Карл Хотце, узнав о предложении Кэте, тоже засомневался.

По причине, о которой я сегодня не могу вспомнить, он, отказавшись от своих прежних отговорок, совершенно неожиданно предложил матери переехать в его дом. Может быть, он почувствовал себя увереннее? Или решил, что за ним больше не следят? А может, его воодушевило приближение русских? Не знаю. Во всяком случае, Хотце настойчиво уговаривал нас уехать из Вальдесру и, не откладывая в долгий ящик, переехать к нему.

«Не по душе мне эти сомнительные делишки с продуктами. В один прекрасный день Кэте Нихоф окажется в кутузке, если только с ней не произойдет что-нибудь похуже. А когда кончится весь этот хаос, чехи могут свалить на нее еще и ответственность за спекуляцию. А как же иначе обитателям лагеря доставались все продукты? Это и так выглядело довольно сомнительно. А кроме того, вполне может статься, что не только вы — мы все окажемся втянутыми в это. Так что складывайте ваши вещи и не заставляйте нас долго ждать. Жена со свояченицей будут рады вам».

Я вспомнил о топленом масле, которое сам Хотце в большом количестве таскал от нас к себе домой. И все время просил Кэте достать ему еще. Кофе в зернах Хотце тоже получал от нее — Кэте обменивала на кофе масло и маргарин, разумеется, на черном рынке.

«Сначала воспользоваться, а потом смыться, когда дело принимает сомнительный оборот», — подумал я. — «Ну и тип же этот Хотце!»

Но несмотря на это, Хотце мне нравился. Его пасторский тон, его немного напыщенная речь говорили о чувстве собственного превосходства. Мать втихомолку посмеивалась, слушая его. Иногда мы незаметно перемигивались, если он выражался особенно замысловато. Смеяться мы могли, лишь оставаясь одни. Кэте относилась к нему с величайшим почтением, она просто обожествляла его. Когда она слушала Хотце, лицо ее принимало молитвенное выражение. Если бы она только знала, что он о ней

думал и говорил!

Однажды Кэте вопреки обыкновению не приехала в конце недели домой.

Такое не случалось еще ни разу. Мать, становясь все беспокойнее, провела две ночи почти без сна, хотя налетов в это время не было. В одну из этих ночей, одевшись и заставив одеться меня, она даже собралась «пойти прогуляться».

На следующую ночь — это была ночь с воскресенья на понедельник — мы все-таки «вышли пройтись». Обратно мы вернулись лишь на рассвете. Мы осторожно огляделись, проверили, не открыта ли садовая калитка (уходя, мы плотно затворили ее), и лишь потом вошли в дом.

В этот день мы спали до полудня. Приехавшая домой Кэте разбудила мать. Обе женщины шепотом разговаривали друг с другом. Я проснулся и сел в постели. Обе женщины, как по команде, уставились на меня.

Лицо Кэте осунулось, щеки ввалились. Может, она и раньше так выглядела, а я не замечал этого? Вероятно, точно так же выглядела ее собственная бабушка. Глаза ее были совсем прозрачными.

«Сейчас я, наверное, могу увидеть ее мозг», — подумал я.

«Нам нужно собрать свои вещи», — сказала мать совершенно спокойно и положила Кэте руку на плечо.

Кэте заплакала. Она пыталась вытереть слезы о рукав платья матери, но отвернулась и затряслась от рыданий. Никогда еще я не видел такого беззвучного, но такого отчаянного плача. Мать крепко прижала Кэте к себе. Так продолжалось долгое время. Наконец Кэте снова собралась с духом. Выглядела она совсем старой. Лишь глаза были по-прежнему удивительно прозрачными.

«Нужно дать знать Карлу Хотце. Вы должны перебраться к нему в Каульсдорф. Я пошлю к нему кого-нибудь из своих помощников-чехов. У меня появляться ему больше нельзя. Может быть, вы сможете поездом добраться до Каульсдорфа, а там вас встретят его жена или свояченица».

Я не решался спросить Кэте, что же случилось, но потом все же осмелился.

«Эрну арестовали. Мне сообщила об этом одна из ее сослуживиц. Ее схватили в восточной Пруссии, недалеко от Гумбинена. При аресте ее жестоко избили».

Я вдруг почувствовал приступ тошноты. Мне представилась Эрна с разбитым носом и окровавленными губами, и я долго не мог избавиться от этого видения.

«Если бы я мог плакать», — думал я. — «Если бы я только мог плакать!»

Но вместо этого спросил:

«Что же такое она сделала?»

Кэте посмотрела на меня долгим взглядом:

«Что она сделала? Наверное, то же самое, что сделала ради вас».

Ее голос снова задрожал:

«Может быть, она хотела кого-то или что-то тайком вывезти и опять была так же неосторожна, как тогда с вами».

Я не понял, и она притянула меня к себе.

«Это я только в качестве примера. Вы могли быть агентами гестапо. Тогда бы и я тоже попалась».

«Но ведь я же из шведского посольства пришел!» — запротестовал я. — «Эрна мне такой допрос устроила, ну просто как в гестапо. Она меня до слез довела! Поверь мне, она всегда была осторожной. На нее кто-то донес. Какой-нибудь старый, подлый, отвратительный говнюк, который уже давно имел на нее зуб».

Дрожа от негодования, я сознавал свою беспомощность и от этого распалялся еще больше.

«Ну-ну, хватит, успокойся».

Кэте поднялась, обняла меня, похлопала по спине. «Знаешь», — сказала она, — «мы уже давно живем в каком-то бессмысленном, вывернутом наизнанку мире. Стоит кому-нибудь только подумать по-христиански, как он оказывается в концентрационном лагере. А когда кто-нибудь поступает так, как поступила моя сестра, происходит еще более ужасное — его хватают и даже могут убить.

Сейчас я должна разузнать, куда ее отправили, а для этого мне нужна свобода действий. Понимаешь? Вам нужно сматываться отсюда», — прибавила она неожиданно грубо и оттолкнула меня. Потом обернулась к матери:

«Собирайте ваши вещи и отправляйтесь в Мальсдорф. Там вы сядете в электричку и проедете до Каульсдорфа. Это всего одна остановка. Если вам повезет, там вас кто-нибудь из семейства Хотце».

Прощание с Кэте было горьким. А потом мы бесконечно долго тащились с нашими вещами к вокзалу в Мальсдорфе. Да к тому же Кэте дала нам с собой кучу продуктов. Лучше бы она этого не делала — они были такие тяжелые!

Когда мы наконец подошли к вокзалу, я уже не чувствовал рук — так они онемели. Сунув руку в карман куртки, я вытащил оттуда небольшую пачку денег и показал матери.

«Какая замечательная женщина!» — сказала она. — «Что за душа!»

В Каульсдорфе нас встретила Мартхен, свояченица Карла Хотце. Ее полное имя было Марта Шеве.

Мартхен приветливо взглянула на нас своими лучистыми голубыми глазами.

«Как хорошо, что вы уже здесь!» — обратилась она к нам, как будто знала нас уже много лет.

«Господи, ну и носище!» — подумал я. — «Наверное, поэтому она и живет у своего родственника. Да и кто бы захотел жениться на женщине с таким огромным носом?»

Но прошло совсем немного времени, и я уже знал — лучшей женщины, чем Мартхен, не найти ни одному мужчине.

От вокзала мы шли довольно долго. Каульсдорф оказался типично берлинским пригородом. Небольшие деревянные дачки перемежались с каменными, похожими на виллы, домами. Как и Вальдесру, Каульсдорф не был разрушен бомбежками и выглядел очень мирно и приветливо.

Забрав у меня тяжелую сумку, Мартхен открыла деревянную калитку. Мы очутились в большом саду. Дом Карла Хотце был довольно низкий, с верхним этажом из кирпича. Мы толкнули потрескавшуюся деревянную дверь и вошли в дом. Навстречу нам вышла жена Карла Хотце. На свою сестру она была совершенно непохожа. Мы даже не заметили, откуда она появилась — так темно было в передней. Она обняла нас как старых друзей. Опустив на пол свой багаж, мы прошли за ней в большую кухню. Пол кухни был покрыт линолеумом. Посреди кухни вместо линолеума была четырехугольная деревянная доска с вделанным в нее большим металлическим кольцом.

«Можешь смело наступать на эту доску — она не сломается», — сказала фрау Хотце. — «Это наш погреб. А сейчас мы будем есть. Садитесь за стол. Ты любишь бобы с картофелем?» — обратилась она ко мне.

У нее тоже были голубые глаза, хотя и не такие лучистые, как у сестры. И нос был намного короче. Хотце, конечно, считал ее хорошенькой.

Никогда еще я не ел таких вкусных, сдобренных солью и маслом, бобов с картофелем. Масло, наверное, Хотце раздобыл с помощью Кэте. После еды мне захотелось взглянуть на сад, который сначала показался мне даже не садом, а скорее огромным огородом. Но фрау Хотце сразу дала мне понять, что осмотр сада и дома состоится только вечером, так как экскурсию (она так и сказала — экскурсию) может проводить только ее муж Карл, и только он может дать необходимые рекомендации относительно того, как нужно вести себя в их доме.

Перебив сестру, Мартхен сказала нам, что все эти заявления

не нужно принимать слишком серьезно. Она с легкой улыбкой взглянула на сестру. Фрау Хотце прикусила губу и спросила, не хотим ли мы выпить кофе — она как раз собиралась его сварить. Теперь у нас было достаточно времени для того, чтобы освоиться в новой ситуации.

Наконец появился Хотце. Со своим обычным важным выражением лица он приступил к проведению «экскурсии». В надвигающихся сумерках он демонстрировал нам различные овощи, собственноручно им посаженные, каждый раз подчеркивая, сколько труда ему пришлось на это потратить. Хотце сразу попросил ничего не трогать без его разрешения — он все сделает сам и постоянно будет обеспечивать нас свежими овощами. Затем началась «экскурсия» по дому. Он еще раз показал нам кухню, открыл крышку погреба, и по крутой деревянной лестнице мы спустились вниз.

«Это владения моей жены», — пояснил Хотце. — «Все, что здесь хранится, в ее ведении».

Улыбнувшись, он указал на длинный ряд банок с повидлом, на банки с консервированными овощами и фруктами, на мешки с картофелем. Капуста и морковь были аккуратно разложены на подстеленных мешках. Сколько всего здесь было! Но лапши в погребе я не обнаружил. А я так любил лапшу!

Хотце, который оставался наверху, попросил нас подняться и повел в столовую. Это была большая, заставленная мебелью, комната. Повсюду лежали вязаные салфеточки. В комнате был круглый стол, обитый светло-коричневым бархатом диван, стулья с такой же обивкой, очень длинный низкий буфет, на котором стоял большой радиоприемник. В глубине комнаты находился еще один громадный диван, два маленьких столика, кресло с подголовником и банкетка. Вся мебель была из темного, почти черного, дерева. Комната была заставлена так тесно, что приходилось лавировать, пробираясь к столу или к дивану. Внутри дом оказался больше, чем он выглядел снаружи. На первом этаже были еще три комнаты, в которые мы никогда не заглядывали, и ванная с туалетом.

«Здесь ты каждую неделю будешь мыться», — сказал мне Хотце. — «Наверху только умывальник и туалет».

Он посмотрел на мать. Та нашла все очень уютным, и когда мы вернулись в столовую, сказала ему об этом.

Но еще раньше Хотце показал нам второй этаж. По узкой лестнице мы поднялись наверх. Прямо напротив лестницы была маленькая комната. Из нее открывалась дверь в комнату побольше с примыкающим к ней санузлом. В обеих комнатах были окна, выходившие на соседний участок.

Я с любопытством подбежал к окну. «Здесь нам нужно быть особенно осторожными», — сказал Хотце, оттаскивая меня от окна. — «Наш сосед нацист.

Контактов друг с другом мы не имеем, но я уверен, что мое прошлое ему известно. Старайтесь не показываться ему на глаза. Будет лучше, если он совсем не будет знать про вас. На обоих окнах есть жалюзи. Но их нужно опускать только ближе к вечеру. Днем вы должны их поднимать. Если жалюзи будут опущены целый день, это сразу бросится в глаза».

«Но сейчас-то мне можно посмотреть», — попросил я.

«Хорошо, только подойди поближе к окну. А если он теперь нас видит, не беда — у меня ведь могут быть гости!»

Я поглядел на дом напротив. Гардины на окнах были задернуты, казалось, там никого нет.

«Лучше всего вам обоим оставаться в маминой комнате», — сказал мне Хотце. — «Если смотреть из соседского окна, в ней почти ничего нельзя увидеть. Да к тому же на окнах комнаты есть гардины. После того, как комнату проветрят, их обязательно нужно задергивать».

Взглянув на жену, он положил руку на ее плечо.

«Извини, я совсем забыла», — сказала фрау Хотце.

Она быстро подошла к окну и задернула гардины.

«Спать ты будешь в передней комнате — настоящий мужчина должен предоставить комнату с умывальником даме».

Хотце весело посмотрел на меня.

В отличие от комнат первого этажа обе комнаты были очень светлыми. Обставлены они были скромно. В моей комнате стояли кровать, стол, стул, шкаф. В комнате матери мебель была точно такая же, только вместо одного там было два стула. Вся мебель была выкрашена в белый цвет и казалась сделанной своими руками. Обе комнаты мне понравились.

«Так вот», — продолжал Хотце. — «Я не могу точно оценить любопытство нашего соседа, но от полевого бинокля даже гардины не защитят. Поэтому если кому-то из вас нужно пройти по комнате, желательно делать это как можно дальше от окна или пройти мимо него пригнувшись. Хорошо бы делать это уже с сегодняшнего дня. Да к тому же это неплохое спортивное упражнение, правда ведь?» — он улыбнулся и ласково взъерошил мои волосы. «Выходить на улицу тебе нельзя — дома здесь стоят слишком близко один к другому. Никогда не знаешь, что у соседей на уме — люди-то ведь всякие бывают! Ну, что вы на это скажете?»

Мать кивнула и тоже улыбнулась. «Ночью мы будем ходить согнув колени, а днем потренируемся проползать под

подоконником».

Хотце не знал, шутит мать или говорит серьезно. Однако он был настроен по-деловому и в заключение сказал, что закрывать или открывать окна могут только его жена или Мартхен.

Иногда, находясь в очень светлом помещении, я и сегодня ощущаю какую-то внутреннюю необходимость пройти мимо окна пригнувшись.

Позже Мартхен успокоила нас, сказав, что на самом деле все не так уж страшно. Но тем не менее мы проходили мимо окон пригнувшись. Это отрицательно повлияло на нашу осанку — мы стали горбиться, особенно мать. Я был меньше ростом, поэтому горбился не так сильно. Мать пыталась исправить свою осанку — она занималась гимнастикой и заставляла меня тоже делать физкультурные упражнения. Однако ее стали мучить довольно сильные бои в спине. Особенно это было заметно, когда она поднималась со стула.

Мартхен часто приглашала нас спуститься вниз. На окнах первого этажа были жалюзи и плотные гардины. Если гардины задернуть, то снаружи невозможно было увидеть, что происходит в комнате.

Фрау Хотце доставляло большое удовольствие беседовать с матерью о политике. Она почти каждый вечер приглашала нас в столовую, угощала меня домашним лимонадом, а мою мать — рюмочкой яичного ликера.

«Неужели ты никогда не интересовалась политикой?» — удивлялась фрау Хотце.

«Когда у женщины больной муж и двое сыновей, времени на подобные вещи уже не остается», — осторожно отвечала мать, прихлебывая свой ликер маленькими глотками.

«Но ведь это всегда было так важно!»

«Да, верно. Но мой муж был болен туберкулезом и не мог работать. Поэтому я сама должна была зарабатывать, чтобы кормить семью, да еще оплачивать ежегодное лечение мужа в туберкулезном санатории. Из-за болезни муж не мог заниматься торговлей, и мне ничего другого не оставалось, как самой вести магазин. Тогда евреи еще имели на это право при условии, что у них есть компаньон-ариец. И так продолжалось до 1938 года. Я покупала в Хемнице чулки и трикотаж, и мы с Лоной Фуркерт продавали эти вещи в нашем магазине. Торговать я не очень-то умела, у Лоны в этом деле было больше опыта. „Ты слишком скованно держишься“, — говорила она мне. — „Продавец должен привлекать людей, улыбаться покупателям, шутить с ними“. Сама Лона прекрасно умела это делать. Комплимент, улыбка, веселая шутка — и люди смеялись в ответ, и Лона объясняла им, как

можно дешево купить качественный товар в нашем магазине, и редко кто уходил без покупки. Позднее я выучила наизусть ее шутки и даже употребляла их. Но все равно у меня никогда не получалось так, как у Лоны. У нее это было в крови. Мы ведь так и познакомились — она обратилась ко мне с какой-то шуткой, мы разговорились. А через некоторое время стали вместе работать. Я замещала Лону, когда ей нужно было идти в суд из-за Фуркерта, а когда мне нужно было кормить детей, она оставалась в магазине. Лишь много позже, где-то в 1938-м, Лона и мой муж открыли на Кайзер-Вильгельм-штрассе магазин побольше. Муж тогда опять чувствовал себя лучше. Однако настоящий коммерсант из него не получился. Бывало, он так углубится в свои книги, что даже не замечает пришедших в магазин покупателей. Поэтому вести дела продолжали мы с Лоной. Мужу было необходимо санаторное лечение, Лона должна была оплачивать адвокатов (кстати, Фуркерт тогда проиграл процесс), поэтому нам были нужны деньги».

«Но ведь это же был Лонин магазин!» — перебила фрау Хотце.

«Конечно, евреи больше не имели права заниматься торговлей. Но ведь все — и Лона, и мы с мужем — вложили в этот магазин деньги. Магазин перевели на имя Лоны, и все было в порядке! Да он и сейчас еще не закрыт, иначе нам с сыном было бы вообще не прокормиться в нашем нелегальном положении!»

«Я знаю. Лона порядочная женщина, но ее муж — уголовник».

«Зато он веселый и никогда не унывает. Его слабость только в том, что он тащит все, что плохо лежит».

Мартхен рассмеялась и обернулась к сестре:

«А разве ты его знаешь?»

«Карл однажды приводил его к нам. Фуркерт тогда был опять на свободе».

«Где же Карл с ним познакомился?»

«Когда Карла в первый раз арестовали, его поместили в камеру с уголовниками. Нацисты надеялись, что ему еще и от уголовников достанется.

Так оно и вышло. Поколотили его тогда изрядно. Но глаз ему на первом допросе нацисты выбили. Во всяком случае, Фуркерт был к нему расположен и взял под свое покровительство. А среди уголовников Фуркерт пользуется авторитетом. Кстати, сейчас он опять сидит. На этот раз, кажется, в Заксенхаузене».

Мать вздрогнула. «А разве там и уголовники сидят?»

«Конечно».

В тот вечер Хотце вернулся домой с ящиком пива, и вся эта болтовня возобновилась с новой силой. Фрау Хотце просто в раж

вошла и набросилась на мать с упреками:

«Ну почему у вашего мужа не было твердых политических позиций? Ведь ясно же было, какое чудовище стало главой нашего государства!»

«Мы думали, что он долго не продержится. „В цивилизованном государстве такое невозможно“, — уверял мой муж. Думаю, все мы ошиблись. И вы тоже».

«Ведь у Гитлера была такая четкая программа! К тому же он не скрывал, что собирается делать с евреями. А евреи не желали признавать это. Они верили, что смогут тайком и дальше заниматься свои делишками».

«Сестра», — перебила ее Мартхен. — «То, что ты говоришь, не вполне тактично, к тому же это — невероятная глупость. Ты считаешь, что все евреи спекулируют, занимаются махинациями? В таком случае, тебе остается воскликнуть „Хайль Гитлер!“»

Глаза Мартхен потемнели, стали почти синими. В голосе зазвенели металлические нотки.

«Я только хотела сказать, что вы, евреи, всегда отмахивались от политики и ничего не хотели замечать. Вот из-за этого вы и страдаете».

«Все еще станет на свои места», — сказала мать.

Мартхен одобрительно кивнула.

«Да, потом все станет на свои места. И еще — не забудь, сестра, что Роза Люксембург тоже была еврейкой».

«Это не играет никакой роли. Розе Люксембург было все равно, какой она национальности. Прежде всего она была коммунисткой», — вмешался в разговор Хотце.

«Ужасный воображала!», — подумал я.

Когда мы оставались одни, мать при упоминании о Хотце всегда употребляла слово «самодовольный». Это слово удивительно подходило к нему.

«Но ведь она была еврейкой», — настаивала Мартхен. — «Она была политически активна. И была убита именно за свою политическую активность».

«Я не говорю о Розе Люксембург. Я говорю о евреях в целом».

«А что общего у фрау Деген с богатыми евреями? С этими спекулянтами, как ты их называешь? Что, например, общего у нас с Крупом? Нельзя же все обобщать, сестра! Мы уже видели, чем кончилось для евреев подобное обобщение».

Хотце не спеша набил свою трубку табаком. В эти минуты он выглядел особенно самодовольным. Казалось, всем своим видом он хотел сказать:

«Все, что моя жена находит правильным, действительно правильно».

Набив трубку, он взглянул на большие напольные часы, стоявшие возле буфета.

«Сейчас будут передавать последние известия», — сказал он и поднялся со стула.

Убедившись, что все окна закрыты, он, выключив свет, вышел в прихожую и проверил, закрыта ли входная дверь. Затем он вернулся и зажег свет снова. Мартхен подошла к радиоприемнику и стала его настраивать.

«Не так громко», — предупредила фрау Хотце.

«Я же еще не нашла нужную волну», — возразила Мартхен. Внезапно среди хаоса звуков и голосов отчетливо прозвучали позывные английского радио. Как потом объяснила мне Мартхен, это были первые такты Пятой симфонии Бетховена.

«Говорит Англия, говорит Англия, говорит Англия», — прозвучал из радиоприемника голос диктора.

Всякий раз, слыша эти позывные, я от страха покрывался гусиной кожей. Хотя прошло довольно много времени и я думал, что привык уже и к этой музыке, и к этому голосу.

«Господи», — думал я при этом, — «если бы я сейчас был по другую сторону дверей, наверняка бы разобрался, что это вовсе не позывные Германии».

Интересно, о чем думали в эти минуты все, кто находился в комнате? Неужели то же самое? Во всяком случае, мать именно так и думала. А что думал сам Хотце, его жена, Мартхен?

Сначала по радио передали сообщения с итальянского фронта, затем — сообщение о наступлении Красной Армии. Хотце вынул изо рта трубку и положил на стол. Под конец диктор рассказал о концентрационном лагере в Освенциме. В первый раз осознал я страшный смысл этого названия. Из глаз матери полились безудержные слезы. Мартхен поспешно села рядом с ней. Она гладила руку матери и шепотом уговаривала ее не слушать.

Мать отрицательно покачала головой.

«Не могу», — прошептала она и, как всегда в таких случаях, опустила голову на стол.

Сидевшие в комнате старались казаться спокойными, но я отчетливо видел, каких усилий им это стоило. Когда диктор рассказал о том, что людей убивают, направляя выхлопные газы в плотно закрытые со всех сторон грузовики, битком набитые людьми, и такой способ нацисты считают самым экономичным, фрау Хотце раскашлялась и едва успела добежать до кухни, где ее стошнило.

«Такое они делают только с нами», — прошептала мать. Мартхен ласково прислонила голову к ее спине.

Я сидел молча. Все чувства во мне угасли, умерли. Я думал о людях в грузовиках, полных выхлопными газами. Я представлял себе, как они хватают ртом воздух, как постепенно синеют их лица. И эти лица становились все более узнаваемыми. Я видел мою тетю Цилли, моего дядю Арнольда, моих двоюродных сестер, моего отца.

Снова и снова я приказывал себе успокоиться, но страшные видения не отпускали меня. Я закричал. Хотце поспешно закрыл мне рот ладонью. По радио начали передавать выступление Томаса Манна. Обессиленный, равнодушный ко всему, я повис на руках Хотце.

В начале лета 1944-го воздушные налеты заметно участились. Бомбили теперь и берлинские пригороды. Укрываться в бомбоубежище мы, разумеется, не могли, поэтому во время налетов прятались в траншее на участке Карла Хотце.

Хотце выкопал траншею между фруктовыми деревьями, выложил ее стенки кирпичом и даже соорудил подобие потолка из бетонной плиты, установленной на стальных подпорках. Все сооружение было покрыто толстым слоем песка. Выход был снабжен тяжелой деревянной дверью с металлическим запором.

Почти каждую ночь мы сидели, укрывшись в этой траншее. Когда я слышал на лестнице шаги Хотце, поднимавшегося, чтобы нас разбудить, то понимал — американские бомбардировщики уже на подлете к Каульсдорфу. Обычно самого налета долго ждать не приходилось. Через короткое время, когда мы с матерью уже были в укрытии, до нас доносились первые залпы зениток и грохот разрывов.

Прежде чем разбудить нас, Хотце отводил жену и свояченицу в бомбоубежище. Затем вместе с нами он отсиживался в своей траншее. Залпы зениток, разрывы бомб в нашем укрытии были слышны, пожалуй, сильнее, чем в первой квартире Людмилы Дмитриевой. Хотце даже пытался развлечь нас, определяя на слух калибр каждой разорвавшейся бомбы.

Сегодня я думаю, что он совсем не разбирался в калибрах бомб, а просто хотел этим отогнать собственный страх. Своими рассказами о бомбах он ужасно действовал нам на нервы. Но как всегда, ему удавалось вовлечь нас в дискуссию о размерах бомбы. Особенно часто спорил с ним я.

Когда Хотце говорил о «двадцатикилограммовой бомбе», я слышал лишь звук разорвавшегося снаряда 88-миллиметровой зенитной пушки. А свист авиационной мины Хотце путал со свистом зажигательных бомб, от которых, как факелы, горели деревья.

«Настоящую авиационную мину или совсем не слышно, или

она свистит как сбитый самолет во время падения. А взрыв происходит уже у самой земли. Если такая разорвется недалеко от дома, то в квартире все кувырком летит».

«Откуда ты знаешь?» — озадаченно спросил Хотце.

«В квартире Дмитриевой на четвертом этаже разница была особенно заметна», — с чувством собственного превосходства ответил я. — «Во время бомбежек стены тряслись, как желе на тарелке. Уж я-то знаю точно — от разных бомб все по-разному шатается».

Мать наклонилась, как будто хотела завязать на своем ботинке развязавшийся шнурок, и незаметно наступила мне на ногу — молчи! Но Хотце, казалось, к моим объяснениям отнесся вполне серьезно.

«Может, после войны ты взрывником станешь. Неразорвавшиеся снаряды еще долго будут лежать повсюду. И за такую работу наверняка будут хорошо платить».

«Только этого нехватало», — отозвалась мать, однако я подозревал, что Хотце видит меня насквозь.

Он сидел с нами в траншее почти каждый день. Заметив, что наш страх не слишком велик, он оставил нас в покое. Иногда он ложился на одну из скамеек и тут же засыпал. Его хладнокровие внушало мне уважение. Мать смотрела на спящего Хотце с завистью.

«Если бы я могла так спать», — тихо вздыхала она, — «я смогла бы выдержать все это много легче».

Мне бросилось в глаза, что во время налетов мать стала считать бомбовые разрывы. Мне даже казалось, что каждый новый разрыв она встречает с какой-то затаенной радостью. Однажды я услышал, как она бормотала:

«Так им и надо! А ну, дайте им еще!» Ее отчаянное, искаженное ненавистью лицо испугало меня.

Мне были понятны чувства матери. Тем не менее я напомнил ей, что ведь и в нас тоже может попасть.

«Война — это война», — ответила мать. — «А кроме того, в нас с тобой никогда не попадет. Я же обещала тебе — мы выдержим! Разве ты не чувствуешь, что Кто-то простер над нами руку?»

Я кивнул, хотя никакой руки над собой не чувствовал. Я просто поверил матери.

Однажды днем Хотце вернулся домой раньше обычного и пригласил нас с матерью в столовую.

«Мой друг Радни» — сообщил он нам — «нуждается в помощнике. У него птицеферма недалеко от Кепеника. Почти всех рабочих фермы призвали на военную службу. Паренек вроде тебя

мог бы ему очень пригодиться».

«Но я же никогда не держал в руках курицы!» — соврал я.

«Научиться можно всему. К тому же у тебя сохранилась форма члена „гитлерюгенда“. Мы ее немного подновим, и тогда ты сможешь продавать цыплят».

«Кому же ваш друг продает цыплят?» — поинтересовалась мать.

«Всему берлинскому начальству».

«А разве обычным людям у него нельзя цыплят покупать?»

«Это закрытая зона. Находиться там может только обслуживающий персонал и клиенты».

«Какие клиенты, господин Хотце?» — спросил я.

«Клиентами могут быть только те, у кого эсэсовские руны в петлицах. От штурмбанфюрера до самых низших чинов СС. И пожалуйста, не называй меня „господин Хотце“. Меня зовут Карл. Мы с тобой знаем друг друга уже давно. Я же не говорю тебе „вы“!»

«Ну и как же я должен разговаривать с этими типами?»

«Так же, как со всеми остальными. Только не давай себя запугать. От этих „золотых фазанов“ ты можешь многому научиться».

«Что такое — „золотые фазаны“?»

«Разве ты не знаешь этого выражения? „Золотые фазаны“ — это штурмовики. Они носят на мундирах золотые нашивки».

«В этих кругах он никогда не вращался», — сказала мать.

«Неважно — это же штурмовики! Да я от страха могу в штаны наложить!»

«Бояться не нужно. И Гюнтер тебе понравится, мой мальчик. Он отличный парень, к тому же человек бывалый — прошел огонь и воду. И почти коммунист. На полного коммуниста он не потянул — застрял в социал-демократической партии. Но для этой партии совершенно ничего не делает. Свой парень. И знаешь — чем непринужденнее мы себя держим, тем легче нам вылезти из всех неприятностей».

«Почему же тогда мы должны проходить мимо окна пригнувшись?»

«Потому что у окна в доме напротив стоит тип с полевым биноклем. Ему известно мое прошлое. Он точно знает, где, когда и за что я сидел. Зачем ему знать обо мне еще что-то, понимаешь?»

«Да, понимаю. Но когда он каждое утро будет видеть, как я выхожу из дома, то сразу догадается, что я тут живу».

«Ты же будешь выходить из дома в одно и то же время, и на тебе будет форма члена „гитлерюгенда“. Он решит, что ты занят

какими-то делами. И еще — мы договорились рассказывать о вас то же самое, что и в Вальдесру: ты и твоя мама — из Целендорфа, вы пострадали от бомбежки и теперь живете здесь».

Хотце ухмыльнулся.

«Мы никогда не жили в Целендорфе. Мы просто не могли себе это позволить», — сказала мать.

«Но вы похожи на жителей Целендорфа».

Он снова ухмыльнулся.

«Но ведь мальчик такого возраста, как мой сын, должен по утрам отправляться в школу», — не унималась мать.

На лице Хотце появилось озадаченное выражение.

«Верно! Как я мог об этом забыть? Наверное, потому, что на меня ты производишь впечатление взрослого человека».

Он посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом и засмеялся. Мне тоже стало смешно.

«Нам надо подумать. Постараюсь разузнать, нет ли поблизости школы. Ты на велосипеде ездить умеешь?»

Я кивнул.

«Отлично. Тогда я достану тебе велосипед в нашем садоводческом объединении. Может, даже дамский. На дамском ноги удобнее на педали ставить».

«Да все равно, какой велосипед — дамский или мужской. И ведь я еще вырасту!»

«Ты и в самом деле на редкость сообразительный паренек!».

На следующий вечер Хотце явился с довольно ржавым дамским велосипедом.

На плече у него висел школьный ранец. Мартхен тотчас вскочила на велосипед и сделала на нем пару пробных кругов.

«Тебе надо почистить и смазать приводную цепь. Пусть все видят — владелец следит за своим велосипедом».

Хотце взял у нее велосипед и без возражений принялся за работу. Мартхен вошла в дом, подошла ко мне и положила руку на мое плечо.

«Сейчас я приготовлю нам с тобой по стаканчику лимонада. И парочку бутербродов с маслом. Масло у меня есть. Угадай, от кого?»

«От Кэте?»

«Правильно».

Мартхен поставила на стол стаканы с лимонадом, нарезала хлеб и принялась намазывать его маслом.

«Где же ты ее встретила?»

«Я ездила в Вальдесру, чтобы повидаться с Кэте».

«Как она поживает? У нее все в порядке?»

Мартхен грустно покачала головой.

«Она узнала что-нибудь про Эрну?»

«Эрна умерла, мой мальчик».

Я смотрел на Мартхен и не мог произнести ни слова.

«Кэте получила официальное извещение — ее сестра умерла от воспаления легких. В лагере, конечно, не было необходимой медицинской помощи и ухода».

Мартхен села рядом со мной. Я уставился в окно и наблюдал, как Хотце чистит велосипед.

«Разве ты знал Эрну?»

«Они убили ее. Они жестоко избили ее еще при аресте», — тихо сказал я.

Мартхен придвинула ко мне тарелку с бутербродами.

«Ты так хорошо знал ее?»

«Она была моим лучшим другом».

Через некоторое время на кухню пришел Хотце и принялся за бутерброды. А на следующее утро начался мой первый рабочий день. На птицеферме нужно было быть очень рано, и Хотце поехал со мной. Доехав до птицефермы, мы сошли с велосипедов. Его друг Радни, высокий светло-русый мужчина, уже поджидал нас у ворот. У входа в служебное здание Хотце попрощался с нами. Радни привел меня в свой скромно обставленный кабинет и сразу спросил, сколько мне лет.

Получив ответ, он потер подбородок и сказал, что знает, кто я, но просит меня называться всем моим вымышленным именем.

«Ты будешь работать с цыплятами. Тут у нас есть два барака, в которых содержатся только совсем маленькие цыплята. Ты должен следить за тем, чтобы они не разбегались. Потом ты станешь продавать цыплят. Многие наши клиенты покупают кур и цыплят, которых мы выращиваем только для них. Твоей задачей будет отличить молодого петушка от молодой курочки».

«Я это уже умею», — перебил я.

«И совсем маленьких отличишь?»

«Нет».

«Ладно, я тебя научу».

«Еще ты должен заботиться о том, чтобы малыши получали специальные добавки в корм и чтобы у них было достаточно воды. Когда опилки в загонах загрязнятся, ты должен смести их в кучу и вывезти из загона на тачке. Я покажу тебе место, куда их нужно сваливать. Мешки со свежими опилками ты найдешь позади бараков».

«А что мне нужно делать с цыплятами?»

«Хороший вопрос! В загоне есть большая деревянная задвижка, которую можно выдвигать, затем ты загоняешь цыплят в заднюю часть барака и закрываешь их задвижкой. Сделав это, ты

убираешь переднюю часть, посыпаешь ее свежими опилками, наполняешь кормушки зерном и водой, задвигаешь обратно задвижку, впускаешь цыплят, а потом убираешь заднюю часть. В бараке две двери — спереди и сзади. Через эти двери ты можешь провозить тачку. Понятно?»

«Понятно».

«Сейчас придет моя жена и принесет тебе завтрак».

«Я уже позавтракал».

«Прекрасно, позавтракаешь еще раз. Первое время клиентов буду обслуживать я. Ты можешь посмотреть, как я это делаю. А потом ты сам будешь обслуживать клиентов. Бояться их не нужно — они очень приятные люди. А под военной формой у них такая же задница, как у всех остальных. Если они спросят о твоем прошлом, можешь им наврать с три короба. Да смотри, не проболтайся случайно! Ну, как тебя зовут?»

«Макс Гемберг».

«Отлично».

«Я жил в Целендорфе. Наш дом разбомбило».

«В каком месте Целендорфа ты жил?»

«Мексикоплац. Вероникаштайг, 11», — ни секунды не задумываясь, ответил я.

«Ну что ж, ты прекрасно подготовлен».

Во время нашего разговора я исподтишка разглядывал Радни.

«У него слишком коротко острижены волосы. Даже кожу на голове видно!» — размышлял я.

А вслух сказал:

«Вдруг они меня про „гитлерюгенд“ спросят! Я скажу, что я член отряда „гитлерюгенда“ в Кепенике».

«А вот это говорить не нужно. У меня очень много клиентов из Кепеника, и может случиться неприятность, если кто-нибудь из них знает тамошний „гитлерюгенд“. Ты лучше скажи, что помогаешь здесь только временно, а отряд твой находится в Целендорфе и ты не хочешь из него выходить. Это звучит вполне правдоподобно и даже патриотично, в национал-социалистическом духе. Именно то, что нравится „золотым фазанам“. Ладно, Макс, поешь и принимайся за работу. И никогда не забывай говорить нашим клиентам „Хайль Гитлер!“»

В кабинет вошла фрау Радни и протянула мне сверток с бутербродами.

«Меня зовут Зигрид, моего мужа — Гюнтер. Мы оба знаем тебя с пеленок. Поэтому говори нам „ты“».

Она налила из термоса чашку горячего куриного бульона. Я медлил в нерешительности. «Давай ешь, набирайся сил!» — подбодрила меня Зигрид. У нее были очень светлые волосы,

заплетенные в две толстые косы. Таких густых волос я еще никогда не видел.

Потом она ушла. Я неспеша выпил горячий бульон, и Гюнтер Радни приступил к моему обучению.

«Ты немного похож на итальянца».

«Да уж, за викинга меня никто не примет».

Радни поднялся. «Именно такое выражение лица — уверенное и немного дерзкое — должно быть у тебя при работе с клиентами».

Он поставил на стол мою пустую чашку, взял меня под руку, и мы отправились в бараки, где содержался молодняк. Пол бараков покрывало множество желтых комочков — крошечных цыплят.

«Как же я вообще смогу ходить здесь?»

«Не бойся — они уступят тебе дорогу».

Он уже на практике показал мне приемы, о которых рассказывал в своем кабинете, и оставил меня одного, не забыв напомнить о том, что сегодня нужно убрать помещение.

«С этим мне никогда не справиться», — подумал я и осторожно открыл маленькую деревянную дверь загона.

Цыплята устремились назад. Я быстро закрыл дверь загона и проверил, не убежал ли какой-нибудь цыпленок. Потом я осторожно стал пробираться сквозь кучу копошащихся и пищащих желтых комочков. Несколько цыплят даже умудрились взобраться на мои ботинки. Я до половины вытянул из загона задвижку и загнал цыплят в заднюю половину. Двух совсем маленьких мне загнать не удалось. Я поймал этих цыплят — они были очень теплые на ощупь, их сердечки учащенно бились, — и бережно опустил в общую кучу. Потом я задвинул обратно задвижку и принялся чистить загон. Это была адская работа! Боль в мышцах еще долго давала о себе знать. Через пару недель я уже мог различать породы кур и безошибочно называть их. Гюнтер хорошо натаскал меня, а после того, как я повозился немного с утками и гусями, совсем освободил меня от ухода за цыплятами.

Первый «золотой фазан», которого я обслуживал, сразу спросил:

«Ты хорошо различаешь здешних кур?»

«Ясное дело!» — ответил я.

«Можешь выйти со мной?»

«Да, конечно».

«Скажи — это куры-несушки?»

Он показал на кур, бегающих по участку.

«Это курогуси», — сказал я.

«Куры или гуси?»

«Оба», — ответил я.

Краешком глаза я заметил появившегося позади меня Гюнтера. И осмелел. В моем голосе послышались нахальные интонации.

«Если на несколько дней оставить кур и гусей одних, случается неприятность, и в результате получаются курогуси».

Гюнтер подошел поближе. Мне показалось, что наша беседа очень заинтересовала его.

«Такого не может быть», — засомневался «золотой фазан».

«Почему же, вполне может. Это как смешение рас. Но, слава Богу, они не евреи и не цыгане».

«Золотой фазан» сначала посмотрел на Гюнтера, потом снова на меня.

«Парень говорит ерунду?» — спросил он Гюнтера.

«Ну почему же. Правда, он несколько сгущает краски, но в основном верно».

После этой беседы Гюнтер снова отвел меня к цыплятам.

«Мы же договорились, что ты не будешь упоминать ни о своем происхождении, ни о своем прошлом», — упрекнул он меня.

«Но ведь я не сказал об этом ни слова».

«Перестань вообще говорить о евреях. Ты можешь наткнуться на какого-нибудь дурака, который начнет тебя расспрашивать».

«Но я же продал ему кучу цыплят. И все — будущие несушки».

«Они приходят, чтобы покупать. И покупают много, на всю катушку. Нынче ведь не клиент король, а продавец. Поддерживай в бараке чистоту. Можешь немного пошутить с клиентами. И все будет нормально».

Мне доставляло удовольствие разговаривать с этими людьми и притворяться, что я такой же, как они. Иногда мне снились кошмары: я проговорился, и шеренга «золотых фазанов» целится в меня из пистолетов. Но утром я начисто забывал об этих видениях, а работа нравилась мне все больше.

Я часто получал подарки. Однажды клиент даже подарил мне наручные часы, которые я с гордостью носил, пока их не украли.

На столе в кабинете Гюнтера лежали книги с рекомендациями по уходу за домашней птицей. Эти книги мне разрешалось брать домой. Теперь я знал, что существует 260 пород кур: большеногие куры, куры-производители, куры-гокко, фазанообразные куры, к которым относились и наши домашние куры. Узнал я и о том, что у кур водятся блохи, которые чаще всего сидят в перьях на крыльях.

Гюнтера просто трясло, когда я рассказывал клиентам о

куриных блохах.

После моих рассказов они начинали рыться в перьях купленной курицы, выискивая блох. Я помогал им в этих поисках, в результате чего клиенты приходили к выводу, что на нашей птицеферме за курами прекрасно ухаживают. У моих постоянных клиентов выискивание блох вошло в привычку. Иногда, когда Хотце заезжал за мной или был в гостях у Гюнтера, тот исподтишка демонстрировал Карлу наши занятия.

Некоторые клиенты вытаскивали из карманов маленькие гребенки, чтобы поискать блох с их помощью. Это произвело большое впечатление на других покупателей, и Гюнтер уже подумывал — хорошо бы делать маленькие гребенки и продавать их клиентам.

Однажды один из постоянных покупателей, кажется, обергруппенфюрер, попросил меня помочь ему доставить покупки к нему домой. Я сел в его «мерседес» и вместе с ним доехал до Эркнера. Его жена настойчиво приглашала меня остаться у них обедать. Я остался и мог внимательно рассмотреть это «львиное логово».

Большой дом обергруппенфюрера никем не охранялся. Столовая и примыкающие к ней комнаты были тесно заставлены дорогой старинной, но совершенно разномастной мебелью. Мне вспомнилась столовая Карла Хотце.

Я оставался один довольно долго. Затем появилась горничная, которая, впрочем, была совсем непохожа на горничную, и накрыла на стол. В своем черном платье с белым передником, с высоко подобранными русыми волосами она походила на фотографию из иллюстрированного журнала.

Накрыв на стол, горничная вышла, а через некоторое время появилась снова и внесла поднос с громадным омлетом и целой батареей банок с повидлом.

«Еще омлет? Еще немного повидла?» — потчевала меня хозяйка.

Это были единственные фразы, произнесенные во время обеда.

Обергруппенфюрер молча ковырял свой омлет, а его жена с легким отвращением наблюдала за тем, как неумело орудует он ножом и вилкой и как жует с открытым ртом.

Я, конечно, был рад, что не нужно разговаривать и отвечать на неприятные вопросы. Поев, я поблагодарил за угощение, и шофер в эсэсовской форме отвез меня обратно на птицеферму.

«Этот обергруппенфюрер — очень важная шишка», — объяснил мне Гюнтер. — «Продувная бестия и очень умен. Можешь гордиться».

Одному из высоких чинов я «особенно» понравился. Это был приятный мужчина с довольно большим животом. Он просил, чтобы я научил его различать цыплят по половым признакам. При этом он настойчиво приглашал меня сесть на табуретку, садился на другую табуретку рядом и как бы нечаянно клал руку на мое колено, когда я на примере уже подросшего цыпленка пытался показать ему отличительные половые признаки, которые, впрочем, сам не всегда находил.

Он был гомосексуалист. Со мной он всегда разговаривал в шутливом тоне.

Каждый раз во время этих бесед я перекладывал его руку со своего колена на его собственное. И каждый раз он с этим беспрекословно соглашался.

Он отпускал мне комплименты, приходил в восхищение от цвета моих волос и в сотый раз уверял, что в моих жилах, без сомнения, течет кровь римлян.

«Я знал фюрера еще в самом начале его деятельности. Тогда в Мюнхене нам многое пришлось пережить вместе. Однако, на мой взгляд, он совершает ошибку, отгораживая нас от некоторых сильных и здоровых рас».

Рука его словно ненароком оказалась на моем колене, и я опять положил ее назад, на его колено. Он грустно улыбнулся и продолжал:

«Если у нас и дальше будут рождаться светловолосые мальчики и девочки, то в результате немецкая раса выродится, захиреет. Конечно, мы не должны смешиваться с евреями, однако небольшая порция римской крови нам бы отнюдь не повредила».

Он погладил меня по волосам.

«Господи, какие у тебя густые волосы!»

«Но ведь здесь совсем нет евреев. Я, во всяком случае, не видел ни одного», — сказал я.

«Вот и радуйся. Это отвратительные свиньи. А после войны их вообще больше не будет. И тогда, наверное, мы сможем несколько ослабить строгость наших законов и обновить немецкую расу, влить в нее немного иной крови. Это было бы совсем неплохо — люди с черными, как у тебя, волосами и голубыми, как у фюрера, глазами. Тогда мы выжили из Мюнхена еврейских свиней, и фюрер выглядел весьма импозантно. Ах, что за времена были! А теперь у фюрера такое выражение лица, как будто он все время пытается доказать всем, какой он мужественный человек».

И опять рука его очутилась на моем колене. Если бы не эта неприятная мелочь, он был бы отличным парнем. Он часто приходил на ферму вечером, перед концом торговли, и мы долго

сидели вместе в кабинете Гюнтера. На баварском диалекте он рассказывал о годах своей военной службы:

«В нашем подразделении служил один парень, который всегда впереди был. Если мы проводили акцию по аресту коммунистов, кто был главным заправилой? Конечно, наш Хайнц. А уж отчаянный был! По виду он почти такой же был, как вы, Радни, правда, малость потемнее. Симпатичный такой паренек. Только ноги чуть-чуть носками врозь ставил. Так бывает, когда у человека плоскостопие. У всех артистов балета — плоскостопие. Но ведь и у штурмовиков тоже может быть плоскостопие! Хайнц был прекрасный спортсмен, лучший легкоатлет в нашем подразделении. Адольф был от него без ума. А уж для Хайнца Адольф был прямо как Господь Бог! Любую возможность использовал, чтобы поближе к нему быть. И вдруг — как обухом по голове: кто-то разузнал, что Хайнц не чистый ариец. По меньшей мере полуеврей. Адольф был просто потрясен и немедленно вышвырнул парня из партии. Но я думаю, что это были просто чьи-то козни. Наверное, какой-то подлец из подразделения почувствовал себя обойденным. А Хайнца однажды нашли в реке с размозженным черепом. Но я до сих пор убежден, что он не был евреем. Такой парень, как он, просто не мог быть евреем. А что до плоскостопия — Боже мой, да посмотрите на ваших клиентов! У половины из них — плоскостопие. А ведь чистые арийцы! Нет, плоскостопие тут ни при чем. Хайнц был истинный национал-социалист».

Работа на птицеферме пришлась мне по душе. Я радовался каждому дню, проведенному в обществе Гюнтера и Зигрид. Жареные цыплята, которыми Зигрид угощала меня, были превосходны. Супруги Радни были очень дружной парой.

Хотце в шутку называл их «Тристан и Изольда». Они пользовались любой возможностью, чтобы сесть рядом, обняться или просто коснуться друг друга. Я делал вид, что ничего не замечаю, а Зигрид смеялась и угощала меня жареными куриными окорочками. И мне было очень хорошо.

Но это счастье не продлилось и восьми недель. Воскресным утром (ночью был длительный воздушный налет) у нашего дома в Каульсдорфе появились гестаповцы. Мартхен бегом поднялась по лестнице и вошла в мою комнату. Я еще не совсем проснулся. Она растолкала меня и стащила с кровати. Через ее руку была переброшена старая куртка Карла Хотце.

«Тебе нельзя больше спать. Я сейчас разбужу твою маму, а ты одевайся побыстрее», — взволнованно прошептала Мартхен. Она исчезла в комнате матери и через пару минут вернулась. За ее спиной я увидел мать, заспанную, с непричесанными волосами.

Она на ходу натягивала юбку и пыталась застегнуть пояс. Мать была страшно испугана. Я все еще одевался.

«Ты можешь прыгать?» — спросила меня Мартхен.

«Да, могу. А что случилось?»

«Твоя задача — выпрыгнуть из этого окна», — пытаясь улыбнуться, сказала она. — «Ты, конечно, сможешь это сделать лучше, чем твоя мама. А когда ты будешь уже внизу, ты покажешь ей, куда прыгать. Земля сейчас довольно мягкая. Надеюсь, потом вы с мамой сможете добежать до конца сада. А там в заборе — маленькая калитка, через которую вы пройдете на соседний участок, на котором находится парикмахерская. В это время там наверняка никого нет. Потом вы идите по улице, параллельной нашей. Может быть, вам нужно будет перелезть через ограду».

Мать снова вышла из своей комнаты и прошептала Мартхен, что никогда еще не прыгала с такой высоты. Я чуть не рассмеялся, представив, как она прыгает из окна. Мартхен погасила свет и подняла жалюзи. Снаружи было почти темно — день еще не наступил.

«Поторопитесь. Я не знаю, как долго Карл сможет удержать их на первом этаже».

Она бесшумно распахнула окно. Волнение Мартхен передалось и мне. Я влез на подоконник и взглянул вниз. Из-за темноты земля под окном была плохо различима. Я слышал, как Мартхен шепотом говорила матери — кричать ни в коем случае нельзя, даже если будет больно. Выпрыгнув из окна, я упал и довольно сильно ударился, но тут же вскочил на ноги.

Мать стояла на подоконнике и смотрела вниз. Глаза мои уже привыкли к темноте. Я размахивал обеими руками, чтобы мать увидела, где я стою. Мартхен прошептала что-то ей на ухо. И вдруг мать прыгнула. Наверное, у нее от страха подогнулись колени — она упала на меня, словно пушечное ядро. Я был настолько ошеломлен, что даже не успел посторониться. Мать схватилась за меня, и мы оба повалились на землю. Мать упала неловко, боком, и с трудом поднялась с земли.

«Ты в порядке?» — тихо спросила она.

«Да», — ответил я.

«Тогда пойдем».

Мы подбежали к деревянному забору в конце сада, ощупью нашли маленькую калитку, открыли ее и через соседний участок побежали к выходу на улицу. Но сначала добросовестно закрыли калитку за собой.

Оглянувшись назад, мы увидели, как в наших комнатах внезапно зажегся свет. Потом жалюзи опустились, и мы пошли дальше, к выходу.

На наше счастье, калитка, ведущая на улицу, не была заперта, и нам не пришлось перелезать через ограду. Мать, наверное, и не смогла бы это сделать. Только теперь я заметил, что она хромает.

«Почему ты хромаешь?»

«Неудачно приземлилась. Но для первого прыжка из окна совсем неплохо, правда?»

«Вполне на олимпийском уровне», — попытался пошутить я, хотя видел, что у нее на глазах выступали слезы, когда она пыталась бежать.

Прихрамывая, она шла впереди, и мне бросилось в глаза, что на ней было не по росту длинное пальто. И вдруг я сообразил — а ведь на мне тоже что-то непривычное! Это была куртка Карла Хотце. Я даже не заметил, как Мартхен надела на меня эту куртку. Моя сумка была чем-то до отказа набита. Я сунул в нее руку и вытащил колбасу. Кроме колбасы, в сумке оказался старый кожаный кошелек с деньгами и продовольственными карточками и одна черствая булочка. Мартхен, видимо, сунула в сумку все, что попалось ей под руку, для того, чтобы мы с матерью какое-то время продержались. В руках у матери тоже была большая сумка.

«Зачем ты тащишь такую большую сумку?» — спросил я.

«В ней только самое ценное: деньги, украшения и это дурацкое почтовое удостоверение», — коротко ответила мать. — «Впрочем, все уместится и здесь».

Она похлопала по карманам своего пальто.

«Ладно, идем! Быстрей идем отсюда, и как можно дальше».

«И куда же мы пойдем?»

«Еще не знаю. Но сначала — на вокзал. А там что-нибудь придумаем».

Становилось все светлее. Внезапно возле нас остановился грузовик.

Водитель что-то прокричал нам, и мать заковыляла к нему.

«Вам лучше уйти с улицы. Сейчас будет воздушная тревога».

Я тоже подошел поближе к водителю. На нем была военная форма.

«Нам нужно в Мальсдорф», — быстро сказала мать.

«В Мальсдорф? А где это? Я не здешний!»

«Это в противоположном направлении».

«Я еду в Кепеник и могу взять вас с собой».

«Нам надо в Мальсдорф», — повторила мать и прихрамывая, отошла от водителя.

«А далеко ли Мальсдорф?» — спросил он меня.

«Довольно далеко», — ответил я.

«Пешком вам туда не добраться, а американские „летающие крепости“ будут здесь с минуты на минуту. Ожидается сильный

обстрел».

Он ждал, что ответит мать. Но она молчала. Водитель включил мотор. «Ну что ж, как хотите», — сказал он и дал газ.

«Мы же могли поехать в Кепеник!»

«Что нам там делать?» — спросила мать.

«А что нам делать в Мальсдорфе?» — ответил я вопросом на вопрос. — «По крайней мере в Кепеник мы могли на грузовике доехать. А если мы и дальше будем пешком идти, твоя нога будет болеть еще больше».

«Не беспокойся о моей ноге. Пока я могу двигаться. А для ноги движение только полезно».

«Значит, завтра мы тоже целый день будем идти пешком?»

«Может быть».

«Сомнительное удовольствие».

Мною вновь овладело чувство бесконечной усталости, почти обморочного состояния, совсем как тогда, когда я бродил по вокзалу Бельвю в поисках матери. Было холодно, вот-вот должны были появиться американские бомбардировщики, но мне хотелось только одного — лечь на землю и заснуть.

Вместо этого я с трудом брел дальше и только удивлялся безжалостному отношению матери к своей ноге. А она, стиснув зубы и выдвинув вперед подбородок, шла все быстрей.

«Я не поспеваю за тобой», — ныл я. — «Ну что ж ты так бежишь? Ведь за нами никто не гонится!»

«Кто идет быстро, у того есть цель. Всегда надо видеть перед собой цель, иначе все бесполезно, можно всякую надежду потерять. Неужели ты все уже забыл?»

«Ну что нам делать в Мальсдорфе?» — приставал я к матери.

«Мы вовсе не в Мальсдорф идем. Может быть, в Каульсдорфе придумаем, что дальше делать».

Американские бомбардировщики заставили себя ждать довольно долго. Но вот пронзительно зазвучали сирены. Едва они замолкли, загремели первые залпы зенитных орудий. Потом мы услышали глухое гудение, становившееся все громче.

Наконец мы увидели их. Они были отчетливо видны на фоне ясного утреннего неба. Правильными рядами они летели к центру города. Несколько самолетов уже начали сбрасывать бомбы. «Почему они так рано сбрасывают бомбы?» — задавал я себе вопрос. — «Может, их уже обстреляли немецкие зенитки?»

Там, наверху, ничего не взрывалось. Зато взрывалось внизу. Мы бросились на землю. Сначала мы вообще не поняли, что взорвались те самые бомбы, которые были сброшены у нас на глазах.

Вдруг мать, лежавшая рядом со мной, закрыла меня своим

телом. Я слышал, как она одновременно молилась и ругалась. Молилась на иврите, ругалась на немецком.

Я лежал, не смея поднять голову. Разрывы бомб слышались все ближе, но больше бомбовых разрывов в эту минуту я боялся увидеть лицо матери. Вокруг нас свистело, ревело и грохотало.

«Почему они так обстреливают Каульсдорф? Ведь здесь нет ничего значительного!» — думал я. Вдруг грохнуло совсем рядом с моей головой. Я закричал, думая, что попало в мать, но она с силой прижала меня к земле.

«Лежи, не двигайся», — сказала она. — «Скоро все кончится».

Я посмотрел вправо — туда, где только что грохнуло. Сантиметрах в двадцати от моей головы в мостовую воткнулся осколок бомбы. Он был острый, как лезвие бритвы, и еще дымился.

«Теперь я останусь здесь лежать, пока этот осколок не остынет», — подумал я. — «За эту штуку я получу от Рольфа все, что захочу».

Возле нас как из-под земли появился военный патруль. «Поедем с нами!

Давайте, поворачивайтесь!»

Они втиснули нас в коляску своего мотоцикла, сами вскочили на сиденье, и мы помчались. Мне хватило времени, чтобы вытащить из мостовой осколок. Он был еще совсем горячий. Сидя в коляске мотоцикла и пытаясь охладить осколок, я подставил руку с осколком встречному ветру.

«Что это у тебя?» — спросил сидевший сзади патрульный.

«Осколок бомбы».

«Покажи-ка».

«Но он еще совсем горячий, только-только упал».

«Так я и думал — это не немецкий. Привет из Америки. Ты что, собираешь их?»

Я кивнул.

«В Вальдесру я за этот осколок получу от моего друга по меньшей мере три осколка от зенитных снарядов».

«Дорого же они нам обходятся!»

«Бомбовые осколки?»

«Нет, янки».

«Пусть янки поцелуют меня в зад!» — громко, стараясь перекричать шум ветра, сказал я.

«Им не надо повторять это два раза», — вмешался в разговор патрульный за рулем. — «Ведь все негры — гомики».

Мать посмотрела на него, мы замолчали и больше не разговаривали.

Наконец нас высадили возле бомбоубежища.

«Но ведь уже все почти успокоилось! Наверное, скоро будет отбой!» — сказала мать.

«Это только кажется», — возразил второй патрульный. — «За первым налетом последует второй, это уж точно. Так что идите-ка лучше в бомбоубежище».

Патрульные уехали. Наверное, кто-то в бомбоубежище увидел, как нас высадили. Стальная дверь тут же открылась, и нас буквально втащили внутрь.

«Разве вы не слышали сирены? Нельзя же быть такими легкомысленными!» — укоризненно сказал дежурный.

«Для нас этот налет был полной неожиданностью, а прятаться в траншее наших знакомых я не хотела. На наше счастье, мы встретили патрульных, и они привезли нас сюда», — сказала мать.

«Считайте, что вам повезло. Попади в вас бомба, вас бы просто размазало по мостовой!»

«Это едва не произошло. Посмотрите, какой осколок воткнулся в мостовую совсем рядом с моей головой».

Я показал дежурному осколок. — «Мы лежали ничком на земле, когда янки сбрасывали свои бомбы. Моя мама растянула ногу — она зацепилась за мотоцикл, когда патрульные нас высаживали».

«Покажите вашу ногу!».

«Ничего страшного, об этом и говорить не стоит», — сказала мать и попыталась убрать ногу под скамейку. Лицо ее исказила гримаса боли.

Дежурный сказал нам, что среди сидящих в бомбоубежище людей есть врач.

Он осторожно вытянул ногу матери из-под скамейки и попытался расстегнуть ботинок. Мать тихо застонала.

«Лягте на скамейку, а я позову врача. Он наверняка сможет вам помочь. А ты следи за мамой, чтобы она не убежала», — обратился ко мне дежурный, заметив, что мать хочет подняться.

С этими словами он куда-то вышел.

«Думаешь, что ты сделал сейчас что-то умное?»

«А почему бы и нет? Ты же не обрезана. А по ноге национальность определить нельзя».

Не знаю, как я умудрился сказать такое матери — не иначе как нечистый попутал. Во всяком случае, затрещину я получил изрядную. Это был уже третий случай, когда мать по отношению ко мне проявила несдержанность. Удар пришелся по уху, и мне было очень больно. Вне себя от боли и ярости я начал плакать.

«Я ведь хотел только, чтобы врач помог тебе. Надо же использовать эту возможность!»

«Прекрати реветь. Возьми себя в руки! Они сейчас придут».

«Может, он и мне сумеет помочь», — сказал я, продолжая плакать. — «Что я ему скажу, если он спросит, отчего у меня распухло ухо? Скажу, что у мамы неудачно соскользнула рука, когда она хотела вымыть мне уши».

Ухо мое болело все сильнее, и от боли я заплакал еще отчаянней. Уставившись на свою больную ногу, мать даже не взглянула на меня.

«Не притворяйся», — холодно сказала она. — «Эти рыдания — лишь способ оправдать собственную наглость. Не разыгрывай из себя жертву!»

Вернулся дежурный.

«Если сможете, снимите ботинок. Доктор сейчас придет».

Стиснув зубы, мать попыталась развязать шнурок, но нога очень распухла, и от этого шнурок на ботинке туго натянулся. Наконец ей это удалось. Она подсунула здоровую ногу под больную и попыталась медленно и осторожно стянуть ботинок.

«Попробуйте снять ботинок сразу, рывком», — посоветовал дежурный.

Мать последовала его совету. Рывком стянув ботинок с ноги, она страшно закричала от боли, а ботинок, пролетев мимо головы дежурного, ударился об стену. Мать стонала и пыталась заглушить боль, раскачиваясь из стороны в сторону.

«Совсем как кантор в синагоге», — подумал я.

Пришел врач с большим саквояжем. Позади него шел офицер вермахта.

«Ну, что случилось?» — осведомился врач.

«Эта женщина и ее сын были доставлены сюда военным патрулем. Воздушная тревога застала их врасплох, потому что они не захотели укрыться в траншее у своих знакомых».

Врач опустился на колени и ощупал ногу матери.

«Нога очень распухла. Скажите, как это произошло?»

«Когда нас высаживали, мама за что-то зацепилась. А патрульный не заметил и продолжал тащить ее из коляски мотоцикла».

Врач попросил мать снять с ноги чулок, осторожно ощупал ее лодыжку и сказал:

«Лед, дед и еще раз лед. У вас есть лед?» — обратился он к дежурному.

«В комнате дежурного, в шкафу с напитками».

Офицер тут же побежал в комнату дежурного и возвратился с полной пригоршней кубиков льда.

«Вы должны очень осторожно тереть льдом опухшее место, а если это будет слишком больно, тогда это буду делать или я, или

ваш сын. Потом мы туго перебинтуем ногу».

Врач посмотрел на меня:

«И тогда твоя мама сможет бегать с нами наперегонки».

Наконец, через несколько часов прозвучал отбой. Все это время мы прикладывали лед к маминой ноге. Даже офицер вермахта предложил свою помощь, когда увидел, что наши пальцы онемели от холода. После отбоя врач сказал, что ему нужно уходить, но перед уходом наложил на ногу матери тугую повязку.

Людей в бомбоубежище было немного, но все смотрели на мать с сочувствием.

Под конец офицер предложил отвезти нас домой.

«Мы живем в Вальдесру», — сказала мать.

Офицер отвез нас в Вальдесру на «Опеле». С притушенными фарами, дававшими слишком мало света, он ехал почти вслепую. У дома Кэте Нихоф мы остановились. Поблагодарив офицера, мать сказала, что до дверей дома она сможет дойти с помощью сына. Откозыряв, офицер тотчас же уехал.

На наше счастье, Кэте никогда не запирала садовую калитку. Пройдя через сад, мы остановились перед закрытой дверью дома. Мы надеялись, что наша беспечная Кэте забыла закрыть какое-нибудь окно. Ничего подобного. Наверное, Кэте не приезжала домой уже давно. Когда она бывала дома или уезжала ненадолго, возле дома всегда стояла тачка или какая-нибудь садовая утварь.

На этот раз все было убрано в сарай. Мать молча взглянула наверх — труба на крыше не дымила. Это было верным признаком того, что в доме никого нет. Кэте была мерзлячкой. Войдя в дом, она сразу же принималась растапливать печь.

Всю ночь, съежившись, просидели мы у задней стены дома, благословляя Мартхен, которая, несмотря на панику и спешку, не забыла снабдить нас теплой одеждой. Время от времени, сморенные усталостью, мы дремали, однако о настоящем глубоком и освежающем сне не могло быть и речи. Мы ужасно боялись, что с наступлением утра нас может заметить кто-нибудь из соседей.

«У нас есть две возможности», — шепотом сказала мать. — «Или утром мы попытаемся добраться до Кепеника и найти убежище у Радни, или спросить у Редлиха, не сможет ли он приютить нас на несколько ночей у себя».

«А что мы ему скажем — ведь у нас должна быть какая-то причина!»

«Мы скажем, что потеряли ключи от дома, которые дала нам Кэте».

«Ну, а где же мы были до сих пор?»

«Не знаю. Может быть, где-нибудь у родственников».

Она склонила голову к коленям и замолчала. Я видел — матери очень тяжело. Тяжело просить приюта у чужих людей, не знать, где мы сможем приклонить головы на следующую ночь. И не знать, когда же, наконец, закончится эта проклятая война.

Бледные от бессонной ночи, вконец измученные, брели мы на следующий день вдоль шоссе, пытаясь притвориться, что мы просто прогуливаемся. Идти к электричке на Мальсдорф было так же далеко, как до Кепеника, а может, еще дальше. Автобусы ходили очень нерегулярно — если ходили вообще.

Нога матери болела все больше. Она сильно хромала и все чаще прислонялась к какому-нибудь дереву, чтобы передохнуть. Лес между Вальдесру и Кепеником совсем не пострадал от бомбежек, а на шоссе, проходившем через лес, движения почти не было.

Мы с Рольфом часто приходили сюда на поиски бомбовых осколков, но в этот день лес выглядел совсем по-другому. В нем было очень сыро, пахло гнилью, он казался серым и каким-то безжизненным, хотя на деревьях уже появилась молодая листва. Однако почва в лесу была мягкая, и матери было легче идти. Это было единственным плюсом нашей вынужденной «прогулки».

Ворота птицефермы были широко открыты. Я взял мать под руку и вместе с ней направился к служебному бараку. Клиенты, проезжавшие мимо нас на машинах, здоровались со мной и что-то дружески кричали, но слов я разобрать не мог. Мне казалось, что они смеются надо мной и над моей хромавшей матерью. Может быть, их внимание привлекла наша странная одежда.

Я шел все быстрее. Мать тихонько стонала, но не выпускала мою руку.

Дорога от ворот птицефермы до служебного барака показалась мне бесконечно длинной. Наконец мы дошли до цели. Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

Кабинет Радни был пуст. Мы вошли, и я усадил мать на стул. Сам я опустился на пол и прислонился к спинке ее стула. Я напряг всю свою волю, чтобы не заснуть сразу. «Нужно немного подождать, и кто-нибудь — или Гюнтер, или Зигрид — обязательно появятся», — уговаривал я себя. — «Как было бы хорошо, если бы мы могли чуть-чуть подремать!»

Вдруг мать толкнула меня здоровой ногой. В кабинет вошел Гюнтер Радни, за ним — какой-то офицер. Я испуганно вскочил. Офицер, видимо, был очень важной шишкой. Я понял это сразу. Он взглянул на мать, перевел взгляд на меня, потом вопросительно посмотрел на Гюнтера. А тот просто онемел от неожиданности. Очевидно, обоих смутила наша одежда. Мать

попыталась подняться, но я с силой прижал ее к сиденью.

«Нас разбомбило», — громче, чем нужно, заговорил я. — «У нас сгорело все. А эти вещи нам дали в приемном пункте. Моя мама зацепилась за мотоцикл и повредила ногу».

«Нужно болтать все, что угодно, только без остановки», — лихорадочно соображал я. — «Им надо задурить мозги. А тем временем я придумаю что-нибудь правдоподобное, если этот офицер спросит о мотоцикле».

«Нас подобрал на улице патруль во время налета. Патрульные посадили нас в коляску мотоцикла и привезли к бомбоубежищу. И тут поблизости так грохнуло, что один из патрульных хотел нас побыстрее высадить и не заметил, как мамина нога за что-то зацепилась».

«Но он же хотел помочь вам, разве не так?»

«Да-да», — закивал я.

«Вам оказали медицинскую помощь?» — обернулся офицер к матери.

Она утвердительно кивнула, а Радни объяснил офицеру, что мы — его хорошие знакомые и что он сам только что узнал о постигшей нас беде.

«Если вам понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. И не забудьте, пожалуйста, — вы обещали откормить для меня цыплят к пасхе».

Уже не обращая на нас внимания, он пожал Радни руку и вышел из кабинета. Гюнтер сел на крышку своего письменного стола.

«Откуда вы на самом деле?» — напрямую спросил он.

«Из Вальдесру», — ответил я.

Мать закрыла мне рот рукой.

«Вчера рано утром мы убежали из дома Карла Хотце. В дом нагрянули гестаповцы. У нас оставалась единственная возможность спастись — мы выпрыгнули из окна второго этажа. При прыжке я повредила ногу».

Радни медленно кивнул.

«Карл арестован. И его жена — тоже».

«А что со свояченицей?»

«Не знаю. Знаю только, что Карла и его жену забрали гестаповцы».

Мать замолчала. Я понимал — она не решается попросить Радни приютить нас на пару ночей. Она была совершенно измучена, силы ее были на исходе. Состояние матери сделало меня агрессивным.

«Хорошо бы нам сейчас поспать», — сказал я.

Мать сидела, уставившись на свои ноги. Радни молчал.

«Мы провели ночь в саду нашей знакомой. Ее не было дома, дом был заперт, и мы всю ночь просидели у задней стены».

Радни покачал головой.

«Я не могу оставить вас у себя».

«Может, завтра мы что-нибудь придумаем», — без обиняков сказал я. — «Мама просто не в состоянии идти дальше, да и я, если хотите знать, тоже».

Мать гордо выпрямилась на стуле.

«Ну, хватит», — набросилась она на меня.

«Мне очень жаль, что все так получилось», — с напускным достоинством, насколько позволяло ее состояние, обратилась она к Радни. — «Мне очень жаль. Не сердитесь на нас. И забудьте о нашем разговоре».

Прихрамывая, она направилась к двери.

«Я в самом деле не могу вас здесь оставить, фрау Деген», — сказал Радни тихо. — «Мы с Карлом — очень близкие друзья, а я не уверен, сможет ли он еще раз выдержать эти допросы. Он может расколоться, понимаете? Расколоться и назвать фамилии своих знакомых. Я ему всегда говорил — перестань распространять эти чертовы листовки. А он вообразил себя очень хитрым, оставлял листовки в учреждениях под пачками бланков. „Когда-нибудь эти бланки используют и увидят листовки“, — говорил он мне. После налетов он разбрасывал листовки на улицах — гестапо, мол, подумает, что их англичане со своих самолетов сбросили. Я думаю — Карл слишком понадеялся на свою хитрость. Если его причастность к этому делу докажут, мы никогда больше его не увидим. А ведь он мне твердо обещал, что прекратит этим заниматься. „Я возьму в помощники парнишку, чтобы он не слонялся по улице, а ты дай мне слово, что прекратишь заниматься таким рискованным делом“, — сказал я ему. Карл пообещал, но продолжал этим заниматься. А ведь я ему поверил! Мы все можем дорого заплатить за это. Год назад я женился, я хочу пережить войну и весь этот ужас. Я хочу выжить. Вместе с моей женой. Когда я представляю себе, что эти садисты мучают мою Зигрид, я последних сил лишаюсь, просто умираю».

«Я вас прекрасно понимаю», — сказала мать. Втроем мы вышли из кабинета.

Некоторое время Радни молча шел рядом с нами. Мы тоже молчали. У ворот он погладил меня по голове и повернул обратно.

Два следующих дня были очень тяжелыми. Ночью мы забирались в пустующие траншеи, а если во время налетов в траншеях появлялись их владельцы, мы оправдывались, что воздушная тревога застала нас врасплох. Почти все люди были

слишком уставшими и апатичными, чтобы рассердиться по-настоящему.

Однако когда мы израсходовали наши продовольственные карточки и к бессонным ночам прибавился голод, мы сдались окончательно.

«Мама», — осторожно начал я. — «Если мы и дальше будем отсиживаться в траншеях, долго нам не выдержать. Нам нужно связаться с Лоной. Она не была так близко знакома с Хотце, как Гюнтер, и быть может, не так испугается».

«Ты слышал, что сказал нам близкий друг Хотце? Теперь все боятся. А в это самое время еще и мы навязываемся. Я прекрасно могу это понять. Не знаю, как я повела бы себя в такой ситуации. А как повел бы себя ты?» Она ухмыльнулась и принялась растирать больную ногу.

«Я повел бы себя как Карл», — хмуро ответил я.

«Да, конечно».

Она кивнула.

«Это, пожалуй, самый мужественный человек из всех, которых я знаю. Я недооценила его — ведь он всегда так высокопарно выражался! Он понимал, что его могут схватить в любую минуту. Однако он сразу подумал о нас, сумел вовремя предупредить нас, чтобы мы незаметно выпрыгнули из окна».

«Нас предупредила Мартхен».

«Ну да, твоя Мартхен».

Мать поморщилась — то ли от того, что я сказал, то ли ее нога опять напомнила о себе. Как только мы где-нибудь присаживались, она начинала массировать и осторожно поворачивать свою щиколотку.

«Мы ни в коем случае не можем подвергать Лону риску. Ведь мы многим ей обязаны. Пойми — мы должны оберегать ее так же, как она оберегала нас».

«А тетя Регина? Где она сейчас?»

«О, Регина устроилась просто потрясающе. Она живет с неким господином Карфункельштейном. Он еврей, но женат на арийке, к тому же очень некрасивой.

Официально он разведен, но его арийская экс-жена во всем ему помогает. Нелегально, конечно. Такой вот фокус. Да еще при его деньгах. Этот Карфункельштейн очень богат и все имущество переписал на свою жену. Когда они развелись, она при всей своей некрасивости могла заполучить любого красавца. Еще бы, с такими-то деньгами! Но она оплачивает тайную квартиру господина Карфункельштейна, а господин Карфункельштейн проводит там время с моей сестрой. Я не знаю, где находится эта квартира. Некоторое время связь с Региной я поддерживала

только через Лону. Но думаю, что ее адреса Лона тоже не знает».

«Или мы с помощью Лоны свяжемся сейчас с Региной, или…»

Я замолчал.

«Что „или“?» — настороженно спросила мать.

Я попытался перевести разговор в другое русло.

«Если этот Карфункельштейн не знает, куда деньги девать, тогда, может быть, он нас поддержит! А может, у него найдется и для нас местечко! Где двое, там и четверо. Регине наверняка удастся его уговорить».

«А еще что ты придумаешь?»

Я ответил не сразу. «А еще — еще мы можем постучаться к Рольфу и сказать ему всю правду».

«Кто этот Рольф?»

«Рольф Редлих. Сын старого Редлиха».

«Как ты надоел мне со своими глупостями!»

«Извини».

Мы замолчали. Через некоторое время мать спросила:

«А что они с нами сделают, эти Редлихи? Они не донесут на нас? А может быть, мы все-таки сможем у них остаться?»

«Наверняка сможем».

«Но есть еще и третий вариант».

Мать, кажется, совсем не слушала меня.

«Они нас просто прогонят. А если нас прогонят, для меня это будет хуже всего — хуже доноса, ареста и отправки в концлагерь».

Она непрерывно двигала больной ногой.

«Нельзя двигать только по часовой стрелке. А ты как думаешь? Надо стараться двигать в разные стороны. Как в вальсе. Знаешь, кто хорошо умел танцевать вальс? Твой папочка! Правда, он постоянно наступал мне на ноги, но при этом соблюдал правильный ритм и двигался в хорошем темпе. Когда мы танцевали вальс, у меня под конец просто дыхания нехватало, а ему — хоть бы что! Хотя к тому времени у него уже были больные легкие».

«Мама, что же мы будем теперь делать?» — перебил я ее. Я ужасно замерз и видел, что ей тоже холодно.

«Тебе решать».

«Почему мне?»

«Они же твои друзья».

«Думаешь, старый Редлих захочет говорить со мной? Он же первым делом про тебя спросит!»

«Тогда ты позовешь меня».

«А где ты будешь?»

«Я подожду на улице».

«Мама, это, наверное, наш последний шанс».

Я сдерживался, чтобы не заплакать.

«Ты прав».

На этом наш разговор закончился.

На следующее утро мы стояли у дверей дома Редлихов. Было уже не очень рано. Утро было каким-то особенно ясным. Совсем как тогда, в те солнечные воскресные дни, когда мы с отцом гуляли по берлинским улицам.

«Почему ты не звонишь?» — нетерпеливо спросила мать.

«Потому что ты стоишь рядом со мной. Ты же хотела подождать на улице. А кроме того, все вокруг выглядит вполне спокойно».

«Но ведь время сейчас совсем не спокойное».

С этими словами мать отошла от дверей дома и стала нервно прохаживаться по улице.

«Она уже может довольно хорошо ходить», — подумал я, глядя вслед матери. Эта мысль немного успокоила меня. Но лишь теперь я до конца осознал, что творится у нее в душе. Моя красивая мама заметно постарела, сморщилась, даже стала как-то меньше ростом.

К горлу подступил комок. Мне захотелось подбежать к матери, обнять ее. Но вместо это этого я должен бы притворяться храбрецом, этаким железным Максом Гембергом, которому все нипочем. Кто бы знал, каким отчаявшимся, каким потерянным чувствовал я себя на самом деле!

И если бы сейчас рядом со мной не было матери с этим ее жалким видом, я бы бросил все, прекратил бы всякие поиски пристанища. Сможет ли мать вообще когда-нибудь оправиться от этого ужаса? Если мы выживем, сможет ли она забыть все унижения, выпавшие на ее долю? Станет ли снова красивой, как раньше?

Я повернулся к двери и позвонил. В ответ — ни звука, ни шороха. Вне себя от отчаяния я начал колотить в дверь кулаком. Дверь рывком распахнулась.

«Ты что, свихнулся?» — спросил старый Редлих и втащил меня в прихожую. Захлопнув входную дверь, он посмотрел на меня.

«Ты нездоров?»

Я провел рукой по лицу.

«Со мной все в порядке».

«Я совсем не знал, что вы вернулись. Рольф часто о тебе спрашивал. Один раз я встретил на улице Кэте Нихоф. Она рассказала, что вы уехали в Укермарк к родственникам. Заходи в гостиную».

Я подумал о матери, ждавшей на улице.

«У меня мало времени. Мама ждет меня на улице. Я только хотел узнать, как поживает Рольф».

«О, Рольф делает карьеру! Он сейчас проходит военную подготовку, учится обращаться с бронебойными орудиями. И уже умеет стрелять из ручного противотанкового гранатомета».

Казалось, старому Редлиху это весьма по душе. Всю мою напускную смелость как рукой сняло.

«Ему нужно быть осторожным — как бы эта штука в обратную сторону не выстрелила!» — попытался пошутить я и поднялся со стула. Говорить старому Редлиху о наших бедах не имело никакого смысла. Я не представлял, как я преподнесу эту новость матери.

«Твоя мама не может дольше ждать? Вы куда-то торопитесь?»

«Нет».

«Тогда лучше позвать ее в дом. Иди, позови ее!»

Он открыл дверь и пошел к садовой калитке. Я бежал следом. Выглянув из калитки на улицу, Редлих жестами позвал мать. Она нерешительно приближалась к нам.

«У нее что-нибудь болит?» — спросил он меня.

«Во время налета она слегка повредила ногу».

«Господи, неужели вашу последнюю квартиру тоже разбомбило?»

Я ничего не ответил.

«И ты, наверное, схватил первое, что под руку попало — куртку твоего отца?»

Тем временем мать подошла к нам. Редлих протянул ей руку. При этом вид у него был довольно смущенный.

«Я слышал, вы повредили ногу. Идемте, я возьму вас под руку».

«Ничего, ничего», — пробормотала мать, но все-таки оперлась на руку Редлиха. Мы привели ее в комнату и усадили на диван.

«Положите ногу повыше», — сказал Редлих, — «и снимите ботинок. У меня есть немного натурального кофе. Думаю, на нас двоих хватит».

Он заметно повеселел. Не дожидаясь согласия матери, он вышел на кухню.

Поставив кофейник на плиту, он тотчас же вернулся обратно.

«Если вы не возражаете, я осмотрю вашу ногу повнимательнее», — предложил он. — «Я закончил курсы по оказанию первой помощи. Растяжение сухожилия, ушибы — это как раз по моей части».

Он приветливо улыбнулся матери. Та выглядела весьма довольной. Она вытянула больную ногу, и Редлих осторожно снял с нее ботинок. Лицо его приняло озабоченное выражение. Иногда

он выбегал на кухню, чтобы присмотреть за кофейником, и тут же возвращался обратно. Двигался он с легкостью, которую было трудно заподозрить в таком крупном человеке.

Мать спустила чулок, и Редлих осторожно снял чулок с ее ноги. Затем умело размотал повязку, стягивающую щиколотку.

«Да, нога выглядит очень неважно», — заявил он. — «Будем прикладывать холод, пока не спадет опухоль».

Он снова вышел и вскоре вернулся с дымящимся кофейником.

«Ну-ка, парень, беги на кухню, достань из шкафа кофейные чашки. А на подоконнике стоит бутылка с яблочным соком. Это для тебя. Не забудь захватить ложки! К сожалению, молока у меня нет, но немного сахара найдется. Сахарница в шкафу».

С этими словами он выпроводил меня на кухню. Вернувшись из кухни с чашками, я попытался побыстрее расставить их на столе. Внезапно я почувствовал, как задрожали мои колени. Я едва успел расставить чаши на столе и быстро прислонился к стене. Редлих не помогал мне. Он все еще возился с маминой ногой.

«У вас растяжение связок. Постепенно пройдет. Будем прикладывать холод. И еще нужно наложить на ногу небольшие шины».

Мать испуганно смотрела на меня. Заметив это, Редлих оторвался от своего занятия и обернулся ко мне.

«Господи, да ты же совсем зеленый! И едва на ногах держишься!»

Он осторожно положил на диван мамину ногу и подошел ко мне.

«Пустяки, только небольшая слабость», — защищался я.

«Небольшая слабость? Да ты просто голоден!»

Он опять выбежал на кухню и вернулся с буханкой хлеба и ножом, на ходу отрезая от буханки большой кусок.

«Сначала съешь это», — сказал он, — «а когда тебе полегчает, можешь поискать что-нибудь в кладовке. Думаю, вам тоже нужно сперва подкрепиться, а уж потом выпить кофе».

С этими словами он протянул матери кусок хлеба и снова занялся ее ногой. Он осторожно поворачивал ступню в разные стороны, видимо, не причиняя матери сильной боли. Затем снова исчез на кухне и вернулся со старомодной грелкой, набитой льдом. «Будет довольно неприятно, но это единственное, что помогает».

Он осторожно положил грелку со льдом ей на щиколотку. Мать вздрогнула.

«Если будет слишком холодно, обмотаем ногу полотенцем, но

лучше без него».

Он подпер грелку подушкой, чтобы она не падала, и налил кофе.

В кладовой я обнаружил длинный, еще не высохший кусок сырокопченой колбасы, помидоры, банку с топленым салом и принес все это в гостиную.

«Сыр у меня тоже есть. Эдамский, из Голландии. Когда я там бываю, мне иногда удается достать что-нибудь. В Польшу я скоро, наверное, ездить больше не буду. Тогда и колбасе конец придет».

Он подмигнул мне. Похоже, он был в отличном настроении. Он был просто неузнаваем. Мать медленно пила свой кофе, заедая его хлебом. Было видно, что заботливость старого Редлиха глубоко тронула ее. Редлих положил ей на хлеб кусочки колбасы и еще раз напомнил — на ногу нужно наложить шины. А врач для этого вовсе не нужен — он все сделает сам.

«Почему он старается подчеркнуть, что маме не нужен врач?» — спрашивал я себя.

«Я наложу вам шины, а потом, когда вы будете у фрау Нихоф, вы и сами сможете накладывать их на ногу. Вы ведь опять у фрау Нихоф живете?»

«Мы все утро ждали ее, потом хотели отправиться в Кепеник, в лагерь, но пришли к вам».

Мать, по-видимому, уже немного отдохнула. Придуманная история о ноге, поврежденной во время налета, была достаточно убедительной.

«Ну вот и хорошо, подождите ее здесь. Наверное, фрау Нихоф задерживает что-то важное. А Рольф ужасно обрадуется, когда тебя здесь увидит».

«А вдруг Кэте перевели на работу в Губен?» — предположил я.

«Она бы сразу дала нам знать. Она же знает наш адрес!» — отмахнулась мать.

«Если это произошло неожиданно и быстро, то она, наверное, не успела нас предупредить».

«Не беспокойся, мой мальчик. Здесь для вас тоже места хватит. Дом-то ведь громадный, для большой семьи был построен. Когда наешься, можешь осмотреть его», — сказал Редлих и добавил: «Порой так случается, что обязательно нужно помочь кому-то. И самое скверное, когда не на кого положиться».

Он налил себе остаток кофе, от которого отказалась мать. Затем, поставив на стол пустую чашку, снова обратился ко мне:

«Сейчас мы оставим твою маму одну. Пусть она немного поспит. А ты поможешь мне смастерить шины для ее ноги. Или ты хочешь сперва наверх подняться?»

«Ах, это успеется», — возразила мать. — «Да мне и спать не очень хочется».

«Как хотите. В любом случае — я буду в гараже. У меня там мастерская».

Он медленно поднялся.

«Но если вы все же хотите уйти, скажите мне. Тогда и шины мастерить ни к чему».

Редлих вышел. Услышав, как хлопнула входная дверь, мать сказала:

«Он с самого начала нас раскусил. Интересно знать, как скоро здесь появится гестапо», — произнесла мать с таким вялым безразличием, что мне стало не по себе.

«Ты же обещала мне, что мы пробьемся», — напомнил я.

«Совершенно верно. Если что-то пообещал, надо держать слово. Ты прав. Поищи-ка где-нибудь полотенце. Эта грелка со льдом как огонь жжет».

Когда я вернулся в комнату с полотенцем в руке, мать попросила отрезать ей еще немного колбасы. Ей явно нравилось, что за ней ухаживают. Я с облегчением вздохнул. Слава Богу, ей, кажется, не приходит в голову снова куда-то бежать.

Набив желудки хлебом и колбасой (в основном хлебом, съесть без остатка колбасу мы не решились), мы стали ждать. Мать и в самом деле заснула. Я тоже задремал.

Я не слышал, как вернулся старый Редлих. В руках он держал пару довольно широких и тонких досок, соединенных куском парусины.

Я вопросительно взглянул на него, и он прошептал:

«Она должна накладывать шину только тогда, когда хочет двигаться. Но сперва нужно примерить. Возможно, мне придется кое-что поправить. Парусина хорошо держится, я прикрепил ее к дощечкам гвоздями. Посмотри, как это сделано. Гвозди забиты шляпками внутрь. А сверху еще один слой парусины, чтобы нигде не давило».

Когда мать проснулась, он примерил ей шину и еще пару раз сбегал в свою мастерскую. Наконец работа была закончена. Мать казалась вполне довольной.

«Вы должны это запатентовать», — сказала она с улыбкой.

Рольф явился домой, одетый по всей форме. Увидев нас, он был страшно удивлен.

«Откуда ты взялся? Мне кажется, я сплю и вижу».

Учтиво поклонившись, он поздоровался с матерью и спросил, указав глазами на ее ногу:

«Как это произошло?»

«Во время воздушного налета. Я чуть-чуть замешкалась у

входа в бомбоубежище», — ответила мать и с улыбкой взглянула на Рольфа.

«А, понимаю. Янки застали вас врасплох, прежде чем ты успел вытащить свой кольт», — пошутил он.

Старый Редлих смотрел на сына взглядом, исполненным гордости.

«Сейчас я приготовлю всем нам поесть. Гемберги не застали фрау Нихоф дома. Не могут же они неизвестно сколько времени ждать ее на улице! Кто знает, может, ее задерживают какие-то обстоятельства. А может быть, как предполагает твой друг, ее и в самом деле направили работать в Губен. Тогда мы что-нибудь придумаем».

«Ты что, действительно имеешь дело с ручными противотанковыми гранатами?» — спросил я Рольфа, когда некоторое время спустя мы сидели в его комнате.

«Я получаю настоящую военную подготовку. На крайний случай»

«Скажи еще, что ты метишь в русские Т-34. Да их твоими ручными гранатометами и не пробьешь. А потом эти танки тебя самого в лепешку расплющат».

«Ну, тогда я пойду в морской флот».

Мы сидели рядом на его кровати. Он положил руку на мое плечо.

Я оглядел его с головы до ног.

«Ты теперь всегда так ходишь?»

«Да».

«Красивая форма. Ты, наверное, вожак в стае „юнгфольков“».

«Прекрати свои идиотские шутки, дурень! Кстати, где твоя форма?»

«Сгорела. Во время последнего налета».

«Разве тебя не учили? Форменную одежду нужно беречь пуще глаза. И при налете нужно прежде всего позаботиться о сохранности форменной одежды».

«При налете я сначала позабочусь о себе самом. Но еще раньше — о своей матери», — сухо сказал я. У меня не было никакой охоты продолжать эту бессмысленную игру в вопросы и ответы.

«Я бы сделал то же самое», — успокоил меня Рольф. — «Только прекрати, пожалуйста, дурачком прикидываться».

Он легонько ткнул меня кулаком в грудь. Когда мы спускались по лестнице в гостиную, Рольф сказал:

«Если захочешь, я мог бы взять тебя разок с собой. Наверное, это можно сделать. Впрочем, нет — ты же не уберег свою форму!»

«Он похож сейчас на гестаповца», — подумал я. — «Вот,

стоило ему надеть эту форму, и наша дружба полетела ко всем чертям».

«Моя мать могла бы раздобыть мне новую».

Я притворился непонимающим.

«Но скоро она нам, может быть, уже не понадобится».

Рольф ухмыльнулся:

«Что ж, верно. Может, нас сразу в вермахт засунут. Но перед этим тебе не мешало бы немного прибавить в весе — ты худой как щепка, пушечное мясо из тебя плохое».

Мы вошли в гостиную. Мать все еще лежала на диване и слушала рассуждения старого Редлиха. «С поездками в Польшу покончено — русские уже у самой Варшавы. А захвати они ее — там уже до Познани и Кенигсберга недалеко».

Я взглянул на Рольфа. «Может, тебе повезет и форма солдата вермахта тебе не понадобится», — подумал я.

«Сейчас я езжу в Голландию и в Данию», — рассказывал Редлих. — «Там, пожалуй, полегче с продуктами. Но польской водки мне будет недоставать».

«Вероятно, ее опять можно будет купить, когда война закончится», — предположила мать.

Старый Редлих с сомнением покачал головой. «Да захотят ли поляки нам вообще что-нибудь продавать?»

В эту ночь нас снова разбудила воздушная тревога. Старый Редлих сказал матери, что с больной ногой она вряд ли доберется до бомбоубежища. «А если начнут бомбить, мы все сможем укрыться в подвале и переждать бомбежку. В моем подвале — железная дверь, на полках — много бутылок с вином. Там и выпить можно — это хорошо отвлекает от того, что творится снаружи», — объяснил Редлих. Он по-прежнему был приветлив и доброжелателен. «А Кэте Нихоф, возможно, так и не появится. У нас в доме комнат тоже достаточно», — добавил он. Я взглянул на мать. Похоже, слова старого Редлиха убедили ее.

Рольф смотрел на отца так, как будто видел его впервые.

Мы спустились в подвал. Снаружи все было спокойно. Только пару раз прогрохотали зенитки, однако гула бомбардировщиков слышно не было, и мы ожидали скорого отбоя. Отбой прозвучал далеко за полночь, и Редлих предложил нам переночевать здесь, в подвале. Он даже предусмотрительно принес в подвал перины.

«Возьмите в руки — чувствуете, какие легкие? Мне их в Польше сделали. Из гусиного пуха. У нас в Германии уже давно ничего подобного нет. Наше начальство посылало эти перины домой в почтовых вагонах. А кое-что мы и для себя припасли. Ведь эти перины почти ничего не стоили! Да еще мы бутылки с водкой в них заворачивали. Правда, водка стоила гораздо

дороже».

Как мы и предполагали, на следующий день Кэте Нихоф тоже не появилась.

Мать стала готовить на всех еду. Редлих, похоже, был очень рад этому.

«Сейчас он чувствует себя кормильцем, отцом семейства. Этого ему давно уже нехватает. Машинистом он работает теперь не всегда, от случая к случаю, если где-то поезд взорвался и погибшего машиниста заменить некем. Год назад его уволили по болезни — нервы были не в порядке. И теперь он вроде пенсионера», — рассказал мне Рольф, когда старый Редлих снова был в отъезде.

«Ему запрещено рассказывать о своей работе, но он нарушает этот запрет и всегда рассказывает мне, куда и зачем он ездил. Когда-нибудь ему достанется из-за его легкомыслия».

«А что же у него было с нервами?» — спросила мать.

«Это с ним уже давно. С тех пор, как мать не живет с нами. Поэтому он так радуется тому, что вы теперь для нас готовите. Теперь он чувствует себя дома».

«Но ведь он же здесь на самом деле у себя дома!»

«Он никогда этого не ощущал. И всегда говорил об этом», — объяснил Рольф. — «Но мне этот дом очень нравится. А ты как считаешь?»

«Мне бы хотелось остаться здесь».

Рольф похлопал меня по плечу.

«Надеюсь, что фрау Нихоф не спешит возвращаться».

«Он мой лучший друг», — думал я. — «Однако он что-то не договаривает, скрывает от нас, хотя наверняка в курсе дела».

Я заговорил об этом с матерью, но она только сказала:

«Конечно, Редлихи все знают, но мне это безразлично. Пока они не побежали доносить гестапо».

Когда старый Редлих возвращался из своих поездок, он всегда привозил какие-нибудь продукты. Он набивал дом разными припасами, как хомяк набивает припасами свою нору. Теперь в распоряжении матери было достаточно муки и сахара. Иногда Редлих привозил яйца. Мать даже могла печь любимые всей нашей семьей пирожки с картофелем и жареным луком.

Когда Редлих попробовал эти пирожки в первый раз, он пришел в неописуемый восторг.

«Где вы научились это делать?»

«Меня научила моя русская подруга», — ответила мать коротко, положив этим конец дальнейшим расспросам.

Оба Редлиха — старый и молодой — боялись только одного: неожиданного появления Кэте Нихоф. Я, в свою очередь, тоже был

вполне доволен ее отсутствием. Лето прошло просто замечательно. После налетов мы с Рольфом отправлялись в лес и искали там бомбовые осколки. Однажды мы нашли даже части сбитого самолета, хотя поблизости не было ни одного мертвого янки или англичанина. Мне было хорошо в доме Редлихов и хотелось, чтобы эта жизнь длилась как можно дольше.

Однако осенью 1944 года это прекрасное время закончилось.

Бомбардировщики союзников проникали все дальше на восток — наверное, для того, чтобы расчистить путь русским.

Во время одного из ночных налетов дом Редлихов превратился в руины. Мы с матерью сидели в подвале. Оба Редлиха были приглашены к кому-то на день рождения и еще не вернулись. Этот налет был особенно яростным. Разрывы бомб следовали непрерывно, один за другим. Залпов зениток мы уже не слышали, зато пулеметные очереди и разрывы бомб слышались все ближе и ближе. Отвратительно свистели авиационные мины. Мы уже думали, что налет вот-вот прекратится, как вдруг услышали несколько не очень сильных глухих ударов.

Звук был такой, как будто кто-то стучал в железную дверь. Потом что-то затрещало. Шум шел со стороны сада, и свет, проникавший в подвальное окошко, становился все ярче. Внезапно раздался мощный удар. Пол подвала повело в сторону. На меня посыпались пакеты с мукой и сахаром. Лампочка в подвале погасла. Однако благодаря багровым отблескам в подвальном окне я смог как-то ориентироваться.

«Мама!» — закричал я.

В ответ — ни звука. Хорошо, что подвал не был таким уж большим. Ползая по полу, я шарил вокруг руками, пытаясь отыскать мать, и не переставая звал ее. Наконец я услышал тихий стон.

Ее отбросило к окну. Она слабо шевелилась, постанывая.

«Что с тобой? Ты ранена?»

«Думаю, что нет. Не шуми, тише. Вдруг снаружи люди!»

«Ты ударилась? Где у тебя болит?»

«Меня что-то ударило по голове».

Я ощупью подполз к ней и сел у стены. Положив голову матери к себе на колени, я осторожно ощупал ее лицо.

«Нет, не здесь», — сказала она. — «Мне что-то свалилось прямо на голову. Наверное, одна из бутылок с вином с полки упала».

Я провел рукой по ее голове. Волосы были чуть жестковатые, как солома.

Мать тихо вскрикнула.

«Ну и здоровая же шишка у тебя на затылке!. Нужно

проверить — нет ли крови».

«Пощупай еще разок, а потом постарайся на свету рассмотреть свои пальцы».

В подвале становилось все жарче. Я еще раз ощупал затылок матери. Она снова вскрикнула. Осторожно усадив ее у стены, я встал и посмотрел на свои пальцы. Крови на них не было.

«Ну, значит, ничего страшного».

Она попыталась подняться и чуть не упала.

«Наверное, у тебя сотрясение мозга. Или перелом черепа. А может, еще что-нибудь приятное в этом роде».

«Прекрати эти дурацкие шутки!» — рассердилась мать. Я с облегчением вздохнул: сердится — значит, все в порядке.

«Открыл бы ты дверь! Здесь невыносимо жарко».

Я попытался нажать на ручки железной двери подвала. Они были страшно горячие.

«Не могу», — сказал я. — «Дверь заклинило!»

Мать со стоном поднялась и стала рядом со мной. Дотронувшись до двери, она тут же отдернула руки.

«Господи, она же горячая, как печная конфорка! Почему дверь такая горячая?»

«Думаю, наш дом горит. И сад тоже. Другой причины быть не может».

Мы подошли к окну. «Давай», — сказала мать. — «Я приподниму тебя, а ты попытайся расшатать оконную решетку. Вдруг она откроется!»

Мать снова была решительной и собранной. Что за женщина! Она приподняла меня, и я стал осматривать решетку в поисках какого-нибудь шарнира или задвижки. Ничего! Тогда я изо всех сил, обжигая руки, попытался потянуть решетку вниз.

Мать больше не могла держать меня и опустила на пол. Я поискал скамейку, и мы сели.

«Так бы и я могла», — услышал я голос матери. — «И поднимала я тебя зря. Бесполезно».

Жара становилась все невыносимее.

«Если мы еще какое-то время будем оставаться здесь, мы задохнемся».

«Задохнемся?» Мать нервно захихикала. «Я бы этого не сказала. Мы просто зажаримся — так будет вернее».

«Ну, хватит. Кончай шутить! Нам нужно отсюда выйти».

«Да, ты прав. Конечно же, нам нужно отсюда выйти! У нас с тобой два выхода — либо через дверь, либо через окно. Какой из двух мы выберем?»

Она захихикала еще громче.

«У господина Редлиха золотые руки. И дверь, и оконная

решетка — наверняка его работа. Сделано на совесть. Мейд ин Джермани».

Хихиканье перешло в истерический смех.

«Гитлер нас везде достанет. Мы не хотим в газовую камеру — теперь мы по его милости можем подохнуть здесь».

Смех перешел в беспомощное всхлипывание.

Я вспомнил о пощечине, которую дал матери, когда незадолго до нашего бегства она потеряла самообладание. На этот раз я просто обнял ее.

«Нам нужно попытаться открыть дверь. Может, мы неправильно поворачивали дверные ручки. Наверное, их нужно поворачивать не вниз, а вверх».

Она не ответила.

«Когда-то ведь огонь погаснет. Не может же гореть вечно!»

Я чувствовал себя совершенно обессиленным. Однажды я слышал, что в подобных случаях дышать нужно неглубоко, чтобы поменьше вдыхать раскаленный воздух. Поэтому я старался не делать глубоких вдохов.

«Огонь сильнее воздуха. И поэтому воздух быстро накаляется».

Я не помнил, кто рассказывал мне это.

Стоявшие на полках бутылки с вином взрывались, как маленькие осколочные бомбы. Руками мы инстинктивно пытались закрывать головы от бутылочных осколков. Однако несколько осколков в меня все-таки попало, да и в мать наверняка тоже.

Но постепенно до моего сознания дошло, что снаружи кто-то барабанит по двери подвала. Я осторожно поднял голову и увидел за оконной решеткой чью-то тень. «Фрау Гемберг!» — услышал я голос Рольфа. Думаю, он кричал уже давно.

Потом в подвал через окно полилась вода.

Я слышал, как снаружи кто-то непрерывно бегал. Шаги то удалялись, то приближались, и тогда в подвальное окно потоками лилась вода. Потом что-то застучало возле дверей, и чей-то незнакомый голос сказал:

«Нужно охладить дверь».

Вслед за этим послышался громкий голос Редлиха:

«Мне нужна стамеска! Принеси мне стамеску из гаража!»

«Значит, гараж остался цел», — сказал я себе. — «Тогда не так уж все плохо».

«Фрау Гемберг!» Теперь кричал старый Редлих. Через оконную решетку я отчетливо видел его фигуру. «Вы не ранены? И сын ваш тоже? Вы можете подняться наверх?»

«Мы оба в полном порядке», — ответила мать. «Слышишь, тебя ведь тоже спрашивают», — обернулась она ко мне.

Я промолчал.

Наверху старый Редлих яростно долбил стамеской решетку подвального окна. Через короткое время он сдвинул решетку с места и с грохотом отбросил ее в сторону.

«Спасибо!» — крикнул Редлих кому-то за его спиной. — «Теперь мы сами справимся. А вы можете позаботиться о других домах».

«Макс!» — крикнул Рольф. — «Я сейчас просуну вам через окно табуретку и старый ящик. Если табуретки будет недоставать, поставь на нее этот ящик».

Я поставил ящик ребром на табуретку и придерживал его, пока мать вылезала наверх. Когда она исчезла наверху, встал на табуретку я. Редлих протянул через подвальное окно свои громадные ручищи и вытащил меня наверх.

Он отвел нас с матерью в гараж и бегом вернулся к развалинам дома.

«Мне нужно спуститься в подвал — вдруг там можно еще что-то спасти!» — крикнул он Рольфу.

Тот побежал следом.

«У тебя не получится — ты не сможешь пролезть через окно. Давай лучше я полезу!»

Спустившись в подвал, Рольф крикнул мне оттуда, чтобы я принес ему фонарь.

«Он лежит в гараже, на полке у задней стены!»

И действительно, на одной из полок я нашел фонарь. Мать, свесив ноги, сидела на токарном станке.

«В доме наверняка есть комнаты, которые можно как-нибудь восстановить и жить в них», — сказала она.

Я почти не слушал ее. Схватив фонарь, я побежал к развалинам дома.

Наклонившись к подвальному окну, старый Редлих спрашивал Рольфа — не может ли тот проверить, остыла ли дверь подвала.

«Ручки еще не поворачиваются», — через некоторое время крикнул Рольф, — «но дверь уже достаточно остыла».

Через окно я протянул ему фонарь. «Может, попытаемся открыть подвал снаружи», — предложил я Редлиху. Через разрушенный потолок прихожей, подняв голову, можно было рассмотреть остатки комнаты Рольфа. Пробравшись через дымящуюся еще кое где груду щебня, мы стали спускаться по лестнице вниз.

«Осторожно, не наступи случайно на что-нибудь. Эти янки сбрасывают особые зажигательные бомбы — стоит до них дотронуться, они сразу намертво приклеиваются, как смола.

Дьявольская штуковина!»

Диван, на котором еще несколько часов назад сидела мать, со сломанной спинкой лежал на лестнице возле гостиной. Остальная мебель, покрытая толстым слоем известковой пыли, была невредима.

Мы перелезли через диван и благополучно спустились по лестнице вниз, к железной двери подвала. Редлих осторожно дотронулся до ее верхней ручки.

Ручка уже остыла. «Рольф?» — постучал ладонью по двери Редлих.

«Я хотел через окно передать вам наверх пакеты и бутылки, но вы куда-то запропастились», — донеслось из подвала.

«Мы попробуем открыть дверь», — прокричал в ответ Редлих, пытаясь повернуть дверную ручку.

«Изнутри ручки поворачиваются», — послышался голос Рольфа.

«А снаружи — нет».

Редлих, охая, отошел от двери.

«Думаю, обе ручки сместились, поэтому и не поворачиваются», — предположил я.

«Макс!» — снова донеслось из подвала.

«Что?»

«Моя униформа стала похожа на половую тряпку, теперь ее можно выбросить».

«Тогда тебя арестуют!» — насмешливо отозвался я.

Изо всех сил Редлих потянул обе ручки.

«Папа, держись! Тяни! Тяни посильнее! Мы одолеем эту дверь!» — закричал Рольф.

«Погоди хвастаться, дай мне сперва войти», — простонал Редлих, из последних сил потянув кверху обе ручки. «Давай, помоги!», — попросил он меня. «А ты» — крикнул он Рольфу, — «жми на дверь изнутри!»

Мы оба были совершенно мокрыми от пота. Наконец дверь медленно подалась.

Редлих вошел в подвал и обнял сына. «Нужно вынести отсюда уцелевшие вещи, не то опять что-нибудь свалится нам на голову. А свои осколки успеешь забрать позже. За работу!»

Между тем совсем рассвело. Кое-где в саду деревья еще тлели, но при дневном свете это уже не так бросалось в глаза.

Мы принялись выносить из подвала пакеты с мукой и сахаром и бутылки с вином. Вынесенные вещи мы передавали матери, которая все аккуратно складывала.

Рольф принес из подвала какой-то ящик. «Папин неприкосновенный запас — краковская колбаса», — показал он

мне его содержимое. — «Ужас какой тяжелый ящик! Этим ящиком можно кого-нибудь прикончить!»

Неожиданно раздался страшный грохот — одна из стен дома на наших глазах развалилась на куски. Затем появился Редлих, окутанный облаком пыли. Из-под обломков он выкопал матрац. «Здесь должны быть еще. Надо посмотреть, не провалились ли они вниз».

«Тебе что, жить надоело?» — закричал Рольф. Он подхватил у отца матрац и отнес его в безопасное место.

«Если мы найдем остальные матрацы, можно будет устроиться в гараже и обойтись без посторонней помощи».

«Ты больше не пойдешь в дом», — сказал Рольф.

«Я должен снова пойти туда — не можем же мы вчетвером спать на одном матраце!»

Наконец мы извлекли из-под обломков матрацы и даже одеяла. С ног до головы мы были покрыты известковой пылью и походили на мучных червей.

«Сначала нужно все как следует почистить», — сказала мать.

Потом мы сидели на разложенных матрацах. Старым складным ножом Редлих нарезал колбасу и разделил ее между нами. «Завтра гараж будет выглядеть уютнее. Я налажу старую спиртовку, и можно будет готовить хоть какую-то еду».

«Это уж моя забота», — пробормотала мать. На кончике ножа Редлих протянул ей кусок колбасы.

Мы проспали целый день, и если бы нас не разбудил пожарник, мы бы, наверное, даже от звука воздушной тревоги не проснулись.

«Вам уже давно следует находиться в бомбоубежище. Янки опять на подлете».

«Никуда мы больше не пойдем», — отрезал Редлих.

Пожарник огляделся. «Уютно устроились! Ну что ж, смотрите сами! Вы рискуете. Не зажигайте света! Даже карманный фонарь зажигать не советую. И окно у вас в гараже не затемнено».

«Ладно, сделаем».

«Не знаете, кто еще поблизости спрятался подобным образом?»

«Мы вовсе не спрятались. Вон, видите развалины? Это наш дом!» Рольф, в перепачканной известковой пылью униформе, выпрямившись, стоял перед пожарником.

«Я только хочу знать — может, еще кого-то поблизости разбомбило, и они тоже не хотят в бомбоубежище?»

«Вы сами должны таких людей разыскивать», — сказал Редлих.

«Ну что ж, будьте здоровы. Хайль Гитлер! Желаю вам

приятного отдыха во время воздушной тревоги».

Он вышел, закрыв за собой дверь.

Мы сидели в полной темноте.

«Бывают же такие твердолобые!» — сказала мать.

Ночь прошла без происшествий. Иногда где-то очень далеко грохотало, но уже через час прозвучал отбой.

«Жаль, такой хороший дом», — огорчалась мать.

«Он мне никогда не нравился», — возразил Редлих. — «Участок, конечно, прекрасный, но сам дом — просто старая развалина, причем с кучей изъянов. Тогда мы думали, что совершили очень выгодную сделку. Но дом старый, приходилось все время что-то чинить, подновлять — одним словом, выкладывать денежки. Я намеревался когда-нибудь после войны снести его. Но теперь янки сделали эту работу вместо меня. И тем самым сэкономили мои деньги».

«У кого вы этот дом купили?» — спросила мать.

Редлих на мгновение замолчал, потом сказал очень громко, как будто хотел перебить кого-то:

«У одного садовода-любителя из Эркнера. Нет, фрау Гемберг, не подумайте чего-нибудь такого — дом был приобретен совершенно честно. Мне его продал один железнодорожный инспектор — он перешел на другую работу, кажется, где-то около Ваннзее. Нет, нет, это вовсе не то, что вы предполагаете».

«Что же я, по вашему мнению, предполагаю?»

«Ну, например, что я этот дом присвоил, украл. У какого-то еврея или еще кого-нибудь в этом роде. Нет, здесь никто бы не смог это сделать, потому что евреи тут никогда не жили».

Мать молчала.

«Вы, наверное, мне не верите?»

«Почему же я не должна вам верить?»

Наконец все улеглись. Мы проснулись, когда было совсем светло. Время от времени к нам приходили соседи Редлиха, дома которых не пострадали от бомбежек. Они приносили одежду и одеяла.

Нам принесли даже три термоса с жидким, но горячим кофе, который, впрочем, нам не понадобился. Старый Редлих спустился в подвал и что-то там долго чинил. Вернулся он с приятным известием — у нас опять есть горячая вода и теперь всем можно помыться.

Матери не надо было повторять дважды. Когда она, чистая и причесанная, вернулась в гараж, Редлих сообщил, что нам как пострадавшим от бомбежки нужно зарегистрироваться в полиции для получения нового жилья.

Мы с матерью на это сообщение не прореагировали. «Господи», — подумал я, — «опять эта тягомотина начнется!» У меня не было никакого желания снова оказаться в приемном пункте для пострадавших, устроенном в здании какой-нибудь школы или учреждения. Да и с сестрами из СС мне больше не хотелось связываться.

«Мне вполне удобно здесь, в гараже. Мы ведь и тут можем

пожить некоторое время, пока нам не дадут какое-нибудь жилье» «Ничего другого нам, наверное, и не остается — отделение полиции тоже разбомбило. Во время последней бомбежки очень много погибших, которых невозможно идентифицировать, потому что они не были зарегистрированы».

Ближе к вечеру, когда мы с Рольфом собрались прогуляться по окрестностям, я вдруг увидел — по улице навстречу нам шла Мартхен.

«Мне почудилось!» — подумал я. — «Это не Мартхен. Это какая-то другая женщина, похожая на Мартхен».

Но это была Мартхен. Ее нос невозможно было спутать ни с каким другим.

«Мой нос единственный в своем роде», — говорила сама Мартхен.

«Добрый день!» — сказала она, приблизившись к нам.

Больше всего мне хотелось подбежать к ней, обнять ее, но я не знал, как она в присутствии Рольфа отнесется к этому.

«Это мой друг Рольф», — сказал я.

«Добрый день», — приветливо повторила Мартхен. Она стояла перед нами, критическим взглядом осматривая униформу Рольфа.

«Да-да», — сказал он. — «Не мешало бы ее почистить и погладить».

«Где твоя мама?» — спросила Мартхен.

«Что ей нужно от мамы?» — подумал я. — «Мама в гараже».

«В гараже?»

«Мы живем здесь уже давно, а вчера нас разбомбило», — продолжал я.

«Я бы очень хотела поговорить с твоей мамой. Сегодня утром мы услышали, что ночью бомбили Мальсдорф и Кепеник. Вот я и захотела посмотреть, как здесь обстоят дела».

«Бомбили довольно сильно», — сказал Рольф. — «Вот, видите — это был наш дом».

Он показал на развалины.

«А теперь мы живем в гараже. И нам вполне удобно», — закончил я.

«Не выдумывай! Долго жить в гараже невозможно!» — набросился на меня Рольф.

«Я тоже так думаю», — сказала Мартхен, направляясь к гаражу.

Мать уставилась на нее, как будто увидела привидение. Спустя мгновение она вскочила с места и бросилась Мартхен на шею.

«Ты жива, жива», — без конца повторяла она.

«Не беспокойся обо мне — вчера у нас было тихо. Зато здесь, наверное, сильно бомбили. Где вы были во время бомбежки?»

«В винном погребе», — ответил я.

Это было слишком даже для Мартхен.

«Я серьезно спрашиваю — где вы в это время были?»

«Они были в нашем подвале», — объяснил Рольф. — «У моего отца там хранятся бутылки с вином. А фрау Гемберг с Максом не хотели идти в бомбоубежище».

«А где же был ты?» — приветливо улыбнувшись, спросила Рольфа Мартхен.

«Я был на дне рождения».

В это время в гараж вошел старый Редлих. Мать сразу же представила ему Мартхен:

«Это наша очень близкая знакомая. Она услышала, что наш район бомбили, и решила справиться о нас».

Редлих пожал Мартхен руку.

«Не знаете, куда пропала Кэте Нихоф? Ведь она должна позаботиться о своих друзьях — ее дом еще цел!»

«Поэтому я и приехала сюда», — ответила Мартхен. — «Кэте срочно уехала к своей сестре. Она не смогла известить вас об этом».

Мать испуганно взглянула на Мартхен. Та незаметно покачала головой.

«Не знаю, встретилась ли Кэте со своей сестрой», — продолжала Мартхен. — «Во всяком случае, я разыскала вас. И если вы хотите, я возьму вас к себе».

Мать вздохнула. Она не хотела причинять боль старому Редлиху. Но ей очень хотелось уехать вместе с Мартхен, и Редлих видел это.

«Ну, тогда и тянуть с этим не нужно», — сказал он.

«Я живу в Каульсдорфе», — объяснила Мартхен. — «В крайнем случае, если не будет автобуса, мы доедем на электричке до Мальсдорфа. А оттуда уже недалеко».

Она с улыбкой посмотрела на меня, и я вспомнил, как в первый раз мы с матерью и Мартхен шли пешком к дому Карла Хотце.

«А разве вы не захотите когда-нибудь повидаться с нами?» — обернулся ко мне Редлих.

Я вопросительно взглянул на Мартхен. Она молчала. Я перевел взгляд на мать — та тоже ничего не отвечала.

«Сначала вы должны подыскать себе новое жилье», — попытался я выйти из неловкого положения.

«Но тогда мы тоже долго не будем знать, где ты», — сказал Рольф.

Я почувствовал, что он очень рассердился.

Старый Редлих закрыл дверь гаража и отдернул штору затемнения.

Мы, наверное, не должны знать, где вы будете жить. Ну что же, нам это понятно. И может быть, для нас это будет даже лучше. Во всяком случае, безопаснее. Всего вам доброго, и счастливо добраться!»

Он торжественно подал каждому из нас руку и вышел из гаража. Рольф притянул меня к себе.

«Господи! Да он же плачет!» — сообразил я.

Мартхен открыла свою сумку, достала карандаш и чистый листок бумаги и что-то написала на нем. Затем она протянула листок Рольфу.

«Теперь ты можешь с этим делать, что хочешь. А если ты приедешь к нам, одень что-нибудь неприметное, чтобы не слишком бросаться в глаза».

Схватив листок, Рольф опрометью выскочил из гаража.

Мы отправились в путь. Как и в прошлый раз, Мартхен легко прошла расстояние от вокзала. Но мать снова захромала, да и я порядком устал.

«Я вас везде искала, Лону спрашивала — может, вы дали ей знать о себе. Сначала я попыталась связаться с Кэте Нихоф. Но она бесследно исчезла. Я очень беспокоюсь за нее».

«Мы пришли к ней, потому что не хотели подвергать опасности еще кого-нибудь, кто связан с вами. А Лона ведь каждую вторую неделю у вас бывала!» — оправдывалась мать.

«Но вы же были у Радни на птицеферме. Конечно, вы сделали это от отчаяния, не понимая, что гестаповцы могут сразу и Гюнтера заподозрить — он ведь много лет был близким другом Карла».

«У него были неприятности?» — спросила мать.

«Из-за Карла — нет. Но вчера его призвали на военную службу. В войска СС. Как будто нарочно — его, противника режима. Я вообще не могу представить себе, как он выглядит в эсэсовской форме».

«Почему же, я легко это представляю», — сказала мать. — «Высокий, светловолосый, голубоглазый. Одним словом, истинный ариец».

«Он родом из северной Германии. Там почти все такие».

Мартхен улыбнулась своей мягкой улыбкой.

«Бывают и светловолосые противники нацизма».

«Он сразу отправится на фронт или сначала пройдет военную подготовку?» — спросил я.

«СС — это элитная группа войск. Поэтому Гюнтер пройдет

самую серьезную подготовку, какая вообще бывает».

Мартхен серьезно посмотрела на меня.

«С нацистов еще спросится за преследование евреев. И расплата будет ужасна. Если мы переживем весь этот ужас, думаю, ты будешь доволен. Не знаю, как поведет себя Радни — ведь он противник нацизма и в армию пошел против своей воли. В любом случае я очень рада, что вы снова здесь. В этом доме гестапо вряд ли будет искать евреев».

«Мартхен», — сказала мать. — «Я не хочу, чтобы у тебя из-за нас были неприятности. У меня дурное предчувствие».

«Но ведь здесь вам будет безопаснее всего. Хотце обвиняли совсем в другом. Он распространял листовки, и гестаповцы, вероятно, хотели от него добиться, кто эти листовки печатал. К несчастью, Карл втянул в это и мою сестру. Боюсь — для обоих настали тяжелые времена».

Извинившись, Мартхен стремительно выбежала из кухни.

«Нам нельзя оставаться здесь. Мы не можем снова подвергать ее опасности».

«Обратно к Редлихам?» — спросил я.

Вернулась Мартхен. Глаза у нее были красные. Она села рядом с матерью.

«Вам ни в коем случае не нужно уходить отсюда. Если бы гестаповцы что-то о вас знали, они наверняка пришли бы за вами еще тогда».

Потом Мартхен рассказала нам, что Лона из-за нас возобновила контакты с тетей Региной и с Гансом Кохманом и что все очень о нас беспокоились. Она должна завтра же сообщить Лоне, что мы здесь, у нее.

«Иначе они наделают глупостей», — объяснила Мартхен. — «Гансу Кохману скрываться не нужно, он может жить легально. Его мать — немка, и поэтому ему не нужно носить на одежде желтую звезду. Хотя он, как полуеврей, получает меньше продовольственных карточек, чем чистокровные немцы. Гитлер был готов последний кусок у вас изо рта вырвать. Для него решающий фактор — национальность матери. Неарийская женщина может родить только неарийца. Все дело — в женщинах!» Она засмеялась и обняла мать. «Идем в гостиную. Лондон мы слушать не будем. Но мы можем послушать музыку — у меня есть патефон».

У Мартхен было много пластинок с записями Дитриха, Руди Годдена и Отто Ройтера. Даже если мы проводили всю ночь в вырытой Хотце траншее и утром не могли уснуть, голос Отто Ройтера поднимал нам настроение, заставлял смеяться. Эту пластинку мать могла слушать без конца.

Однажды вечером в доме неожиданно появился Ганс Кохман. Вместе с ним приехала тетя Регина. Мать вполголоса выговаривала своей сестре — как она могла подвергать себя и Кохмана такой опасности. Регина только рукой махнула.

«Какие могут быть проверки? Сейчас столько работы по разборке развалин и починке транспорта, что людей для проверки документов не осталось».

Все засмеялись, однако Мартхен предположила, что люди, которые проверяют документы, никогда не привлекаются к разборке развалин.

«В городе царит невероятный хаос», — сказал Кохман. — «Починят какой-нибудь участок проезжего пути, а через пару дней он опять разрушен. Американцам берлинский транспорт никогда не нравился. Помню, в начала тридцатых приехал кто-то с визитом в Берлин из Нью-Йорка, посмотрел с сочувствием на поезда в берлинском метро и говорит: „Да разве это метро? Это просто трамвайная линия под крышей“».

«Даже теперь это самый надежный транспорт», — заступилась за берлинское метро тетя Регина. Мы все удивлялись, как ей удалось уговорить трусоватого Кохмана приехать к нам.

«Мальчику нужно учиться», — объяснила она. — «Он не должен вырасти невежей, а Ганс наверняка позанимается с Максом хотя бы раз в неделю, обоим это только на пользу».

Обернувшись к Кохману, тетя Регина с усмешкой прибавила:

«Или вы предпочитаете тяжелую работу на военном заводе?»

«Я охотно буду заниматься с мальчиком», — согласился Кохман. — «Но заниматься надо по крайней мере два раза в неделю, чтобы был какой-то результат. И платить за занятия мне не нужно — только деньги на проезд. Мое нищенское пособие подобные расходы не позволяет».

«Карфункельштейн все уладит», — безапелляционно заявила тетя Регина. — «И не только с деньгами на проезд. Я об этом позабочусь».

«Мне бы не хотелось просить Карфункельштейна», — вмешалась в разговор мать. Она не выносила сожителя своей сестры. «Он только использует ее», — сказала она как-то Мартхен. — «После войны он снова женится на своей арийке, а Регина окажется у разбитого корыта».

После войны все произошло так, как предсказывала моя мать. Но тогда, осенью 44-го, Ганс Кохман получил проездные деньги и даже деньги за уроки.

Дважды в неделю Кохман приезжал в Каульсдорф. Ему не мешала ни плохая погода, ни даже бомбардировки. Иногда он мог уехать от нас лишь на следующее утро с первой электричкой.

Кохман занимался со мной орфографией и заставлял меня заучивать наизусть тексты. На последнем занятии мы читали по ролям отрывки из «Фауста», а первую часть этого произведения я должен был выучить самостоятельно.

Я задохнулся от возмущения, когда к следующему уроку он велел мне выучить целое действие «Фауста». Но чаще всего он вообще ничего не спрашивал, потому что или начисто забывал, что задавал мне в прошлый раз, или изобретал для меня какие-нибудь новые мучения. Однако «Фауста» я потом одолел до конца, хотя Кохман уже давно со мной не занимался.

Он пытался познакомить меня с книгами Томаса Манна, своего любимого автора. Мы вместе читали «Будденброков» и «Волшебную гору». Кохман с воодушевлением рассказывал мне об особенностях прозы Томаса Манна. Несколько раз его импровизированные лекции прерывала воздушная тревога, однако в траншее он возвращался к ним снова. Я должен был повторять длиннущие фразы романов Манна до тех пор, пока их смысл не становился мне понятен и я мог пересказать текст своими словами. Снаружи, за стенками траншеи, неистово грохотало, трещало, взрывалось, а в это время Кохман с увлечением описывал стеклянную дверь, через которую мадам Chauchat вошла в столовую давосского туберкулезного санатория.

Уж лучше бы Кохман решал со мной задачи!

«Мама, скажи ему, что он должен заниматься со мной математикой!» — просил я.

Но математика не была специальностью Ганса Кохмана, а матери, видимо, эти занятия доставляли удовольствие. Она охотно согласилась на предложение Кохмана снова прочесть по ролям отрывок из «Фауста». Да и Мартхен тоже было очень легко уговорить.

Примерно в это же время Мартхен получила короткое извещение, что ее сестра умерла в концентрационном лагере Равенсбрюк от воспаления легких.

Личные вещи покойной будут высланы фрау Шеве.

Мартхен не плакала. Нам о смерти сестры она рассказала спустя несколько дней. За эти несколько дней она заметно осунулась, лучистые глаза погасли.

Через пару дней после того, как Мартхен узнала о смерти сестры, в нашем доме появилась Зигрид Радни. Вне себя от горя она сообщила нам, что ее муж погиб в Югославии. «Гюнтера направили на борьбу с югославскими партизанами, но едва эшелон с немецкими солдатами пересек границу, он взлетел на воздух — пути были заминированы» Зигрид производила впечатление помешанной. Она не переставая качала головой и

бормотала:

«От него же наверное совсем ничего не осталось. И похоронить нельзя! А если даже мне пришлют урну или что-нибудь вроде этого — неужели они думают, что я настолько глупа и поверю, что там находится прах моего мужа?»

Целый день Мартхен удерживала Зигрид в нашем доме, хотя та все время говорила о том, что ее присутствие на птицеферме совершенно необходимо — без нее там все пойдет кувырком.

Наконец Зигрид уснула в комнате Мартхен. И тогда Мартхен рассказала нам о смерти своей сестры. Она очень беспокоилась о Карле Хотце и боялась, что рано или поздно она получит извещение и о его смерти.

«Еще одной смерти она не перенесет», — подумал я, глядя на Мартхен.

Неожиданно она подошла к радиоприемнику и стала крутить ручки, пытаясь поймать сообщение английского радио. Мы с матерью бросились проверять, хорошо ли закрыта наружная дверь. Убедившись, что дверь закрыта, а Зигрид крепко спит, мы вернулись в гостиную.

«Русские войска все еще стоят у ворот Варшавы», — сообщал английский диктор. — «В самом городе немцы жестоко расправляются с восставшими поляками».

«Все польские пленные» — продолжал диктор — «транспортируются в концлагерь Маутхаузен. Между тем войска Красной армии вступили на территорию Венгрии».

Мартхен надеялась, что Карла Хотце тоже отправили в Маутхаузен — русские скоро будут и там.

Наш дом становился все многолюднее. Тетя Регина стала чаще приезжать к нам. Она беспечно пользовалась всем городским транспортом, который еще функционировал, чем доставляла матери немало беспокойства.

Однажды Регина даже привезла к нам своего сожителя Карфункельштейна.

Вместо букета цветов он преподнес Мартхен буханку черного, грубого помола, хлеба и завернутый в бумагу кусок весьма подозрительной на вид ветчины.

Мать всплеснула руками. «Ты хочешь, чтобы тебя схватили?» — спросила она сестру. На Карфункельштейна она демонстративно не обращала внимания. Нам всем даже неловко стало.

Карфункельштейн был человеком довольно небольшого роста с лихо закрученными усами и живыми, очень светлыми глазами. Самым заметным в нем были желтые, почти коричневые пальцы. Он непрерывно, одну за другой, зажигал сигареты. Я не замечал,

чтобы он курил. Но когда бы я ни посмотрел на него, каждый раз видел, что он зажигает сигарету. Единственным признаком его богатства была зажигалка из массивного золота. Заметив, что я с удивлением поглядываю на его зажигалку, Карфункельштейн даже позволил мне поиграть с ней. Он производил впечатление приветливого, но в то же время настороженного человека. Когда он разговаривал с кем-нибудь, то в глаза собеседнику не смотрел. По выражению его лица невозможно было определить, о чем он думает.

Кохман по-прежнему приезжал два раза в неделю, чтобы заниматься со мной. Мать сказала ему, что математика — мое самое уязвимое место, но он решительно отказался обучать меня этому предмету. «Я ведь учитель немецкого языка. С историей и географией я бы, пожалуй, тоже справился, но математика?.. Даже не знаю, кого в настоящий момент я мог бы рекомендовать вам», — улыбнулся он.

Каждый его урок неизменно заканчивался чтением по ролям отрывка из какого-нибудь произведения. Мартхен и мать скоро отказались в этом участвовать. Ганс Кохман не обращал внимания ни на войну, ни на то, что было с ней связано. Концентрационный лагерь был для него чем-то несуществующим.

Гитлер в его понятии был ошибкой немецкого народа, заблуждением, от которого немцы скоро освободятся. Когда Мартхен однажды спросила его, кто же, по его мнению, поможет нам освободиться от этой ошибки, он печально покачал головой и сказал:

«Эти проклятые коммунисты. С их помощью мы сможем изгнать дьявола и его приспешников».

Впервые я увидел Мартхен рассерженной. «Не говорите мне о коммунистах. Сестра моя умерла, ее муж сидит в концлагере из-за этих, как вы их называете, проклятых коммунистов».

Извинившись, Кохман возразил, что скоро снова будет можно высказывать свое мнение вслух, и поэтому нужно как можно быстрее получить навык в этом деле. Однако Гансу Кохману следовало бы понимать, что упоминание о коммунистах причиняло душевную боль Мартхен.

После войны мы узнали от Кэте Нихоф, что ее сестра Эрна тоже умерла в концентрационном лагере Равенсбрюк. Оставшийся в живых узник концлагеря рассказал Кэте, что надзирательницы женских бараков спускали на заключенных специально выдрессированных овчарок, и те набрасывались на их половые органы. Несчастные женщины погибали в страшных мучениях. Родным же обычно сообщали, что они умерли от воспаления легких.

Линия фронта приближалась все ближе к городу. С весны 45-го грохот орудий стал непрерывным. Однажды в доме появились наши соседи-нацисты, которых так боялся Карл Хотце (у нас уже вошло в привычку проходить мимо окна нашей комнаты, согнувшись в три погибели). Соседи взволнованно сообщили, что русские вошли в Кюстрин и тащат все, что плохо лежит.

«Они насилуют женщин, всех без разбора, даже старух не щадят, да и над мужчинами тоже издеваются».

Соседи приходили после каждой воздушной тревоги, и нам приходилось выслушивать их бесконечное нытье. Если налет продолжался всю ночь, они приносили с собой молотый кофе, который Мартхен заваривала.

В середине апреля русские перешли к массированному наступлению. А к нам на короткое время неожиданно заехал Рольф Редлих. Он рассказал, что они с отцом по-прежнему живут в своем разрушенном доме — задние комнаты на верхнем этаже уцелели.

«Это те комнаты, в которых вы ночевали. Отец сделал прочную лестницу и установил наверху старую входную дверь. Все получилось просто замечательно. Но кухню пришлось устроить в гараже. Отец провел туда воду. Он у меня молодец! Ты обязательно должен приехать и посмотреть. А во время налетов мы спускаемся в подвал. Наш подвал тоже пока держится».

«А ты чем занимаешься? Все еще учишься стрелять из ручных гранатометов?»

«Отец сказал — я должен постараться увильнуть. Сейчас нас и в самом деле хотят послать на линию огня. А русским, говорят, все равно — они и детей ухлопают».

«Да ты что!»

«Но если я уклонюсь — знаешь, какую мне зададут головомойку! Да и моему отцу тоже. Это можно себе легко представить».

Я непременно хотел поехать в Вальдесру, взглянуть на новую постройку Редлихов, но мать подняла крик. А Мартхен предложила — пусть Рольф попросит отца приехать к нам.

«Он ни за что не поедет», — покачал головой Рольф.

Но старый Редлих все-таки приехал. Едва он появился, начался налет. На этот раз американских бомбардировщиков сопровождали истребители. Они атаковали немногочисленную зенитную оборону, и теперь бомбардировщики могли беспрепятственно сбрасывать бомбы.

«Для нас это очень хорошо», — объяснил Редлих. — «Если им ничего не помешает, они будут сбрасывать бомбы на намеченную цель, а не просто куда придется».

Тем не менее бомба разорвалась где-то поблизости. Наш дом сильно тряхнуло, и Редлихом постепенно овладел страх. «Только бы они снова в мой дом не угодили», — пробормотал он.

«Вы ведь так не волновались, когда разбомбило ваш дом, а сейчас, когда он в развалинах, вы переживаете», — сказала мать.

«Теперь дом стал действительно моим. Вы не поверите, но у меня к руинам этого дома особое отношение, даже какая-то привязанность».

Редлихи стали навещать нас, как только у них появлялась возможность.

Потом Рольфа призвали в «фольксштурм», и мы больше ничего не слышали ни о нем, ни о его отце. Остальные тоже перестали появляться, хотя электрички по-прежнему ходили. С уроками немецкого языка и литературы было покончено.

Люди затаились. Все ждали неизбежного конца.

В ночь на 22-е апреля в Берлине загрохотали залпы русских «катюш».

Казалось, даже небо стало красным от тысяч летящих раскаленных снарядов.

Однако хуже всего был производимый обстрелом адский шум. Рев, свист, разрывы снарядов не прекращались ни на минуту. Разговаривая друг с другом, нам приходилось кричать. Обстрел продолжался всю ночь и весь следующий день.

Внезапно все прекратилось.

«Что теперь?» — спросила Мартхен. — «Теперь ведь с вами ничего не случится?»

Мы с матерью молчали. Сидя в нашей траншее, мы вслушивались в наступившую тишину. Может, у русских кончились боеприпасы? А может, немцы сейчас откроют встречный огонь?

Но орудийных залпов больше не было слышно. Спустя несколько часов — мы только что задремали — мы услышали приближающийся шум моторов. Сначала мы подумали, что это опять американские бомбардировщики. Однако приближающийся шум не был похож на гул самолетов.

«Это дизельные двигатели», — прошептала Мартхен. — «Или наши начали встречное наступление, или русские, все разгромив, едут на своих громадных танках».

Рев моторов становился все громче. Нам показалось — машины приближаются к нашему дому.

Мартхен вскочила с места. «Наверное, стрелять не будут», — прошептала она. — «Посмотрим, что происходит на улице».

Я никогда еще не видел ее такой возбужденной. Она осторожно открыла дверь и прислушалась. Потом медленно

вышла из траншеи. Мы последовали за ней.

Зрелище было захватывающее. В утренних сумерках все казалось призрачным, каким-то нереальным. Один за другим мимо нас проезжали танки. Их люки были приоткрыты. Из люков выглядывали головы в странных шлемах. У многих танков крышки люков были откинуты назад, и на них, развалясь на пышных перинах, лежали солдаты в формах защитного цвета.

«Они стащили эти перины в пустующих домах», — прошептала Мартхен и тихо засмеялась. — «Наверное, они так быстро гнались за нашими, что очень устали и теперь отдыхают».

А танки все шли и шли. Казалось, им не будет конца. Затаив дыхание, мы стояли и смотрели на эту бесконечную колонну. Вдруг мы увидели фрау Риттер, нашу соседку из дома напротив. Она тоже стояла возле своего забора.

«Откуда у русских столько целых танков?» — стараясь перекричать рев моторов, спросила она. — «Нам же все время говорили — русские за два последних месяца совершенно выдохлись, у них почти не осталось военной техники».

«Потише, пожалуйста!» — прикрикнула на соседку мать.

Сияющими глазами она смотрела на проходящие мимо танки.

«Мы выдержали! Все уже позади!» — обернулась она к Мартхен.

Она схватила меня в охапку и прижала к себе. И откуда у нее взялось столько сил? Отпустив меня, она порывисто обняла Мартхен. Мне даже показалось — мать хочет танцевать с ней. Потом мать громко запела что-то.

Один из солдат высунулся из башни танка и повернулся в ее сторону. Он что-то прокричал матери, та засмеялась. Я никогда не слышал, чтобы она так смеялась — каким-то особенным, горловым смехом.

Поведение матери, по-видимому, испугало Мартхен. Она непроизвольно отодвинулась в сторону.

«Ты поняла, что сказал солдат?» — попыталась она отвлечь мать.

«Да».

Мать перевела дух и опять засмеялась.

«Он сказал пошлость. Но это была самая лучшая пошлость, которую я когда-либо слышала».

Она все еще обнимала Мартхен.

«Теперь мы начнем жить, Мартхен. Теперь мы заживем. Мы станем обычными, нормальными людьми. Совсем как остальные».

От волнения ее пошатывало. Мне даже стало страшно — она показалась мне слегка спятившей.

Мартхен крепко держала мать. «Откуда ты знаешь русский?» — спокойным голосом спросила она.

Мать взглянула на Мартхен и так же спокойно ответила:

«Я долгое время училась в Праге. И жила в интернате. Там преподавали русский язык. Это был обязательный предмет».

Тем временем стало совсем светло. Мимо нас нескончаемой вереницей с грохотом шли и шли русские танки. Мы смотрели на них, не отрываясь.

«А где ты так хорошо немецкий выучила?» — спросила Мартхен.

«Дома мы говорили по-немецки, по-польски и на идиш. Я ведь родилась в Австро-Венгрии. Мой отец был офицером австрийской армии и погиб во время первой мировой войны».

«Хорошо, хорошо».

Мартхен втащила мать в дом и закрыла за собой дверь. Обе, казалось, совершенно забыли обо мне. Я стоял у садовой калитки и глядел на русских солдат, на их гимнастерки, на их небритые лица, на украденные перины, на которых спали эти уставшие люди.

«Русские совсем непохожи на выигравших войну», — подумал я.

А может, это и не русские вовсе, а замаскированные эсэсовцы? Все происходящее было для меня совершенно невероятным. Мать сказала — теперь мы сможем жить «как нормальные люди». А что это такое — «жить как нормальные люди»? Я просто не мог представить себе, как можно жить, не прячась, не скрываясь. Это стало для меня «нормальной» жизнью. Но может быть, когда-нибудь все и изменится.

Я не мог отвести взгляд от проходящих мимо танков и терпеливо ждал, пока последняя машина не скрылась из виду. Неужели именно с этими танками Рольф думал справиться с помощью своего ручного гранатомета? Я медленно направился к дому. Мартхен с матерью сидели в гостиной. Мартхен крутила ручки радиоприемника. На столе стояла бутылка яичного ликера.

«Посиди с нами», — сказала Мартхен. — «Я думаю, тебе тоже можно немного выпить. Сегодня мы празднуем наше второе рождение».

«Родиться заново может только тот, кто перед этим умер».

«Правильно!» — воскликнула мать и залпом выпила еще одну рюмку. — «Мы и были мертвыми».

Мартхен тихонько выругалась — она никак не могла поймать БиБиСи.

«Зачем тебе это нужно?» — спросила мать. — «Англичане наверняка скажут то, что мы уже знаем — русские уже в Берлине.

Оставь в покое радиоприемник!»

Обе женщины пили, пока не опустела бутылка. Я охотно выпил бы еще рюмочку — сладкий ликер мне понравился.

«Мне нужно предупредить Рольфа. Я знаю его — он способен стрелять по этим русским громадинам из своего ручного гранатомета. Это безумие!»

«Ты не сможешь его предупредить», — возразила Мартхен. — «Для этого ты должен перейти через русские рубежи. А об этом даже думать нельзя!»

Внезапно в дверь громко постучали. (Мы совсем не слышали, как кто-то вошел в сад и подошел к дому). Мужской голос прокричал что-то по-русски. Потом в дверь забарабанили чем-то тяжелым.

«Нужно открыть дверь, Мартхен. Они кричат: „Открывай!“»

«Ты пойдешь со мной?» — спросила Мартхен.

Мать встала из-за стола. Я тоже хотел подойти к двери.

«А ты останься здесь!» — сказала мать.

Обе женщины вышли в прихожую, закрыв за собой дверь. Подойдя к закрытой двери, я прислушался, пытаясь понять, что происходит в прихожей. Я услышал, как открылась наружная дверь. После этого события стали развиваться стремительно. Русские оттеснили обеих женщин от входной двери. Мать протестующее сказала что-то по-русски. Однако ее протесты были бесполезны.

Дверь в гостиную с шумом распахнулась. Я отлетел в сторону и чуть не ударился головой о край стола. Двое русских втащили в комнату Мартхен и мою мать. Один из русских поднял автомат и прицелился в Мартхен. Подскочив к нему, мать отвела автомат в сторону. Она что-то прокричала солдату по-русски, указывая на Мартхен. Солдат в нерешительности обернулся к двери.

В комнату вошел еще один русский в офицерской форме. Они о чем-то тихо заговорили друг с другом. Потом те двое, которые появились первыми, быстро подошли ко мне и к Мартхен и стали тащить нас из комнаты.

Мартхен не сопротивлялась, но я кричал так, как будто меня резали. Я даже попытался ударить одного солдата кулаком в живот, но он завернул мне руки за спину. Мне было очень больно.

«И это наши освободители?» — закричал я, обращаясь к матери. — «Они такие же, как нацисты!»

«Только не реветь».

Это было единственное, о чем я тогда думал. Но от боли у меня на глазах выступили слезы. Мать совершенно спокойно сказала что-то третьему военному. Внезапно я почувствовал, что меня отпустили. Мой мучитель вышел из комнаты. Дверь за ним

закрылась.

«Нам нельзя оставлять Мартхен одну с этим говнюком!» — прорыдал я. — «Он же убьет ее!»

«Успокойся, ей ничего плохого не сделают», — ответил третий русский на хорошем немецком языке. Говорил он почти без ошибок. «А с вами — с тобой и твоей мамой — я хочу поговорить наедине».

Только теперь я смог рассмотреть его как следует. «Он похож на кинозвезду», — подумал я. — «Если бы не эта дурацкая военная форма — она ему совершенно не к лицу».

Он попросил нас сесть и сам сел рядом со мной.

«Ты ведь немецкий мальчик?» — приветливо спросил он.

«Да», — сказал я.

«Хорошо».

Он обернулся к матери.

«Ты говоришь по-русски?»

Мать утвердительно кивнула.

«Откуда ты знаешь русский?»

«Я родилась в русской части Польши. После первой мировой войны моя семья переселилась в Германию».

«Вы эмигрировали?»

«Да».

«Вы бежали от Красной Армии?»

«Я думаю, нет», — быстро возразила мать. — «Скорее, от казаков».

«Говори помедленнее!»

Мать снова кивнула.

«Где твой муж?»

«Умер», — сказала мать.

«Когда он умер?»

«Пять лет назад».

«В Германии?»

Этот тип все больше действовал мне на нервы. «Что он хочет от мамы?» — спрашивал я себя. — «Здесь достаточно немок, путь их он и допрашивает.

Почему именно мою маму?»

«Где он умер?» — несколько строже продолжал спрашивать русский.

«В ка-цет».

«Господи, ведь она с трудом вытащила отца оттуда!» — подумал я. — «Почему мама об этом не сказала?»

«В ка-цет», — повторил русский.

«Это сокращение от слов „концентрационный лагерь“», — медленно сказала мать.

«Знаю, знаю, но ты долго думала, прежде чем сказать, где умер твой муж. Слишком долго думала».

Он вдруг пристально посмотрел на меня.

«Ты же приказал мне говорить медленно», — сказала мать. Она обращалась к русскому на «ты», но это, по-видимому, его ничуть не удивило. Он по-прежнему не спускал с меня глаз.

«Почему твой муж был в концлагере?»

«Он был еврей».

Вздрогнув, русский перевел взгляд на мать.

«Значит, ты немка, а твой муж был еврей?»

Мать хотела ответить, но он оборвал ее на полуслове. «Ты была замужем за евреем. Ты бегло говоришь по-русски. Сама ты немка и живешь в роскошном доме».

«Этот дом вовсе не роскошный!» — крикнула мать.

«Хорошо, хорошо, не роскошный», — согласился он. — «В каком концлагере умер твой муж?»

«В Заксенхаузене».

«В 1940-м?»

Мать молча кивнула.

«Разве тогда в концлагерях евреев уже убивали?» — спросил русский.

«Мой муж из тех же мест, что и я. Он тоже был еврей».

«Но ты ведь немец!» — обратился он ко мне. — «А может, ты тоже говоришь по-русски или по-польски?»

«Он родился здесь», — ответила за меня мать, — «и не говорит ни по-польски, ни по-русски».

«Я хочу, чтобы он сам мне ответил. Ты немецкий мальчик?»

«Да».

«Хотя твой отец — еврей?»

«Я немец и еврей», — взглянув на мать, ответил я.

«Ты не еврей. Если твой отец еврей, а мать — нет, ты уже не считаешься евреем».

Я снова посмотрел на мать, Почему она не помогала мне?

«Где твоя форменная одежда?»

«Какая форменная одежда?» — озадаченно спросил я.

«Твоя форма члена „гитлерюгенд“».

«У меня нет этой формы».

«Но ты же немецкий мальчик, и у тебя она обязательно должна быть», — настаивал русский.

«Я немецкий еврей, поэтому мне запрещено быть членом „гитлерюгенд“».

«Ты немец».

«И еврей».

«Ты не еврей».

«Нет, я еврей».

Наш разговор, казалось, развеселил русского. Он снова повернулся к матери.

«Покажи мне свой паспорт».

«У меня нет паспорта».

«Покажи мне свой немецкий паспорт».

«Немецкого паспорта у меня тоже нет. Я могу показать тебе только мое старое почтовое удостоверение, но оно выписано на другое имя».

«Это потому, что ты шпионка!» — неожиданно закричал он. — «И мужа-еврея у тебя не было. Ты прекрасно знаешь, что евреи были отправлены в газовые камеры! Причем гораздо позднее. У нас немцы делали все гораздо проще — евреи должны были сами копать себе могилы. Ты предательница и шпионка!»

От ярости русский едва мог говорить. Он рывком поднял мать со стула и потащил к двери. Я, плача, пытался вырвать мать из его рук. Тогда он схватил меня за шиворот:

«Так ты говоришь, что ты еврей?»

Рыдания мешали мне говорить. Мать хотела погладить меня по голове, но он оттащил ее.

«Ты еврей? Хорошо. Тогда тебе, конечно, известно, что твоя мать тоже должна быть еврейкой».

Я молча кивнул.

«Но это ложь — она не еврейка. Твоя мать вырастила тебя лжецом».

Он был просто в бешенстве. «Сейчас он убьет нас всех!» — подумал я. Из кухни слышался голос Мартхен, повторявший имя моей матери. Внезапно русский перестал кричать. Это было еще страшнее.

«Ты же знаешь, что Гитлер убивал евреев?»

Он говорил со мной, но его слова предназначались для матери.

«Да», — сказал я. — «Да».

«Как же получилось, что ты и твоя мать остались живы?»

«Мы все время прятались», — ответил я. Если бы он сейчас захотел, я выложил бы ему всю нашу одиссею. Лишь бы он оставил нас с матерью в покое.

«Гитлер уничтожал всех евреев. Это он хорошо организовал. Очень хорошо. А вы рассказываете мне, что вы евреи! Да как же вы могли уцелеть здесь, в Берлине, в самом центре гитлеровского государства?»

«Мы прятались!» — закричал я. — «Мы прятались больше двух лет. Прятались у друзей, у проституток, у эмигрантки, у коммунистов. Нам помогла даже одна нацистка, которая за это

поплатилась жизнью. Она была нашим другом. И никогда не обращалась с нами так, как ты! Все это время мы ждали вас, а теперь вы хотите убить мою маму. И Мартхен тоже. Она снова спрятала нас у себя в доме, хотя ее сестра с мужем были отправлены в концлагерь. Потому что оба были коммунистами и распространяли листовки. У Мартхен больше мужества, чем у всех вас. Со всеми вашими танками и ракетами. А теперь можешь расстрелять меня, говнюк поганый!»

Мать с удивлением смотрела на меня. Я чувствовал — она восхищается мной. А мне ничего больше и не нужно было. Мой страх куда-то исчез, испарился. Русский мог выпустить в меня целую обойму — мне было все равно. Я вырвался из его рук и уселся на стул, не спуская глаз с него и с матери.

«Он колеблется, иначе ни за что не отпустил бы меня», — подумал я. — «Может быть, теперь он и маму отпустит».

Русский приоткрыл дверь и что-то крикнул своим товарищам. Потом снова захлопнул дверь.

«Ты говоришь, что ты еврей», — опять начал он.

Я промолчал.

«Твои родители тоже евреи».

«Мой отец умер».

«Тебя воспитали как еврея?»

«Поцелуй меня в зад!» — подумал я, глядя на него.

«Если твои родители родом из русской части Польши, то ваша семья, наверное, была религиозной».

«Нет!» — неожиданно для самого себя воскликнул я.

Он все еще крепко держал мать.

«Почему же вы не были религиозными?»

«Потому что ты делаешь больно моей маме!» — закричал я.

Я не знал, понял ли он меня. В глазах матери снова заметался страх.

Русский, казалось, оставался невозмутимым.

«Знаешь, что ты по еврейским обычаям должен делать, если твой отец умер?»

Отпустив мать, он вплотную подошел ко мне. Только теперь я заметил, что у него светло-карие глаза и очень высокий лоб.

«Итак, что ты должен делать, если твой отец умер?»

«Читать „Отче наш“», — едва не сказал я. Сегодня, спустя много лет, я понимаю, что такой ответ означал бы смерть для нас обоих. Я взглянул на сидевшую напротив мать. Она смотрела на меня выжидающе и одновременно задумчиво.

«Читать поминальную молитву», — сказал я и повернулся лицом к стене. В комнате наступила напряженная тишина.

«Ты можешь прочесть „Кадиш?“» — услышал я его голос.

С меня было довольно. Сидя лицом к стене, я в бешеном темпе пробормотал «Кадиш», раскачиваясь взад и вперед, как старый еврей в синагоге. Честно говоря, это была лишь скверная пародия на «Кадиш», но он не заметил этого.

Когда я кончил, снова наступила долгая тишина.

«А теперь прочти молитву, которую произносит еврей перед смертью».

Я скороговоркой забубнил «Шма, Исраэль». В моем исполнении эта молитва тоже напоминала пародию. Пожалуй, даже еще больше, чем прочитанный перед этим «Кадиш».

«Маме, наверное, смешно», — вдруг подумал я. И прервался, не договорив «Шма, Исраэль» до конца.

«Больше не хочу», — сказал я, повернувшись в его сторону.

Он плакал. Лицо его оставалось бесстрастным, но из глаз лились обильные слезы, как будто у него внутри открыли водопроводный кран. Он вытащил из брючного кармана платок и вытер лицо.

Дверь открылась, и кто-то втолкнул в комнату Мартхен. Выглядела она слегка растрепанной, лицо приобрело какой-то желтоватый оттенок, но, похоже, русские не сделали ей ничего плохого. Мать тотчас же подбежала к Мартхен, усадила ее на диван и села рядом.

«Он ничего тебе не сделал?» — спросила Мартхен.

Мать отрицательно покачала головой. Я демонстративно сел рядом с Мартхен. Рядком, как куры на насесте, сидели мы на диване и смотрели на сидящего перед нами мужчину, который так же внимательно разглядывал нас.

«Ты коммунистка?» — обратился он к Мартхен.

«Нет».

Он снова посмотрел на меня.

«Ее сестра и муж сестры — коммунисты», — сказал я.

«Где муж твоей сестры?»

«В концлагере», — ответила Мартхен.

Она отвечала коротко и даже чуть резковато. Русский же, напротив, старался быть вежливым.

«В каком концлагере?»

«Маутхаузен. В Австрии».

«Это далеко отсюда».

«В последнее время всех политических отправляют туда».

«А твоя сестра?»

«Она умерла».

Он снова бросил на меня короткий взгляд.

«Она умерла в концлагере Равенсбрюк от воспаления легких», — объяснил я.

Русский подтянул свой стул поближе к дивану. «Но муж твоей сестры был коммунистом?»

«Он и сейчас коммунист».

«Хорошо, и твоя сестра тоже была коммунисткой?»

Я видел, что силы Мартхен на исходе. Еще несколько подобных вопросов, и она окончательно потеряет самообладание. Русский, видимо, тоже заметил ее состояние.

Он встал и перегнулся через стол.

«Тебя зовут Мартхен?» Он внезапно заговорил с ясно слышимым еврейским акцентом.

«Мартхен, мы сейчас выпьем за наше примирение».

В комнату вошли два солдата и поставили на стол две полных бутылки. Из кухни они принесли большие кофейные чашки.

«У нас есть рюмки», — сказала Мартхен. Она с удивлением смотрела на русских.

Не обратив внимания на заявление Мартхен, они наполнили чашки до краев.

Офицер встал, подняв свою чашку.

«Выпьем за мир и за победу над Гитлером».

Нам тоже пришлось встать. Моя чашка осталась стоять на столе. Один из солдат сунул ее мне в руки.

«Ты прочел „Кадиш“ в память о своем отце, выпей теперь за упокой его души и за победу над Гитлером. Повтори за мной: „Да живем мы вечно!“»

«Да живем мы вечно!» — повторил я.

«А теперь пей!»

«Мне станет плохо».

«Ты уже мужчина. Пей!»

Я увидел, как русские поднесли свои чашки ко рту и залпом выпили их содержимое. Мартхен с окаменевшим лицом тоже сделала глоток. Мать смотрела на меня полными испуга глазами.

«Однажды мне пришлось выпить целый стакан касторки. И с этим я тоже обязательно справлюсь!» — подумал я. Зажмурившись, я отхлебнул из чашки.

Когда я проснулся, то увидел, что лежу в спальне Мартхен на ее кровати.

На краешке кровати сидела Мартхен.

«Они выставили возле нашего дома охрану. Этот офицер — из Ленинграда. А уж пьет он! Прямо бездонная бочка! И как ты думаешь, что делает твоя мама? Пьет вместе с ним!»

«А почему я лежу здесь?»

«Ты выпил всю чашку до конца. И сразу отключился, упал, как подкошенный».

Она похлопала меня по руке.

«Ты вел себя молодцом».

«А что мне оставалось делать? Видит Бог, мне это совсем не понравилось».

«И все же хорошо, что ты выпил. Русские очень обижаются, если кто-то отказывается выпить с ними».

«Да это было мне совсем нетрудно. Я просто очень устал».

«Не обманывай меня. Я тебя добрых полчаса над унитазом держала!».

«А где мама?»

«В гостиной с русским».

«Что она там делает?»

«Пьет».

Мать, конечно, выпила совсем немного. А ковер под столом вонял спиртным еще долго, пока мы не отдали его в чистку. И сам я даже спустя много времени не переносил запаха алкоголя.

Этому русскому офицеру я обязан своим отвращением к спиртным напиткам.

Звали его Василий Яковлевич Тункельшварц. Он был пианистом. Однажды он приволок откуда-то пианино и по вечерам устраивал для нас концерты.

Он был потрясающим пианистом. Больше всего мне нравилось, когда он играл Баха или Генделя или исполнял на пианино пьесы для клавесина.

«Как этот народ мог иметь столько прекрасных композиторов?» — каждый раз говорил он.

Тункельшварц имел звание капитана и поэтому мог многое себе позволить.

Пять лет он оставался гарнизонным офицером, но в ходе постоянных чисток внутри армии был отозван в Советский Союз. И хотя мы обменялись адресами, я больше о нем никогда не слышал.

В апреле 45-го он был комендантом Каульсдорфа и освободил наш дом от всяких посягательств.

Фронт все ближе подступал к центру города. Однако тогда нас это не слишком беспокоило, хотя его приближение мы ощущали.

Василий снабжал нас русским черным хлебом и в большом количестве луком.

Мне становилось плохо уже от одного вида этих продуктов.

Когда русские стали поставлять продукты питания в первые магазины и возле них выстраивались длинные очереди, мать могла проходить в эти магазины сразу, не выстаивая часами в этих очередях. А охрану возле нашего дома не снимали вплоть до

капитуляции.

«В действующих частях люди хорошие», — говорил Василий. — «Они ведут себя более или менее прилично. Но в тылу встречаются настоящие бандиты. Они насилуют женщин и вообще быстро расправляются с населением. Но это пустяки по сравнению с тем, что творили в нашей стране немцы».

Постепенно все больше женщин-соседок находили убежище в нашем доме. Они приносили с собой матрацы и располагались где могли. Даже на кухне. Василий был не слишком доволен этим, но молчал. Только по вечерам, когда он возвращался со службы, все, кроме нас, должны были освобождать гостиную.

Нашу соседку фрау Риттер, жившую на противоположной стороне улицы, насиловали неоднократно. Время от времени мы слышали, как она кричит и ругается. Однако постепенно в доме соседки стало спокойнее. Русские часто стояли перед дверью дома фрау Риттер и терпеливо ждали, когда их впустят. Многие держали подмышкой буханки черного солдатского хлеба или завернутое в газетную бумагу свиное сало. Мартхен как-то зашла к фрау Риттер и предложила ей ночевать у нас. Но та отказалась.

Фрау Риттер нельзя было назвать красавицей. На ее передних зубах были металлические коронки, которые ярко блестели, когда она смеялась. А кроме того, она была толстухой.

«Если я буду ночевать у вас», — говорила она, — «тогда, конечно, они перестанут приставать ко мне. Но ведь они за это платят, причем немало. И дело я имею только с молоденькими. Они довольно безобидны. А если я не в настроении, то говорю, что у меня выходной. Они послушно уходят и являются только на следующий день. Не нужно ругаться и поднимать крик — только хуже будет, они от этого приходят в ярость. Мне нужно, наверное, поднять цену, тогда они сами не захотят ко мне ходить».

«А если ваш муж вернется из плена?»

«Ах, фрау Шеве, о чем вы говорите? В последний раз, когда он приезжал в отпуск с фронта, он уже ни на что такое не годился».

Переубедить нашу соседку Мартхен так и не смогла. Матери фрау Риттер нравилась.

«Ее смех хоть кого развеселит», — говорила она Мартхен. — «И если никто из этих парней не наградит ее сифилисом, она уцелеет».

Мне тоже нравилась эта толстуха с ее цветастыми летними платьями, металлическими зубами и заразительным смехом. Впрочем, ей симпатизировали почти все, и никто на нее не обижался.

В городе творилось что-то невообразимое. Однажды по нашей

улице прошла небольшая группа мальчишек в изодранных военных формах. Группу сопровождали трое вооруженных до зубов русских солдат. Мальчишек привели в сад нашего соседа-нациста.

Их усадили на землю возле стены дома, и один из русских, громадный парень в сдвинутой на затылок пилотке, бегал перед ними взад и вперед, демонстративно поигрывая спусковым крючком своего автомата.

Жена соседа крикнула нам из окна, что этих мальчишек русские взяли в плен, когда те хотели обстрелять их танки из ручных гранатометов. И теперь этих мальчиков убьют. Не может ли моя мать сделать что-нибудь?

Русский поднял автомат и прицелился в окно. Раздалась автоматная очередь. С крыши дома посыпались осколки черепицы. Соседка поспешно закрыла окно, но продолжала жестами просить мать о помощи.

Сидевшие у стены мальчишки начали плакать. Мать подбежала к русскому.

Видимо, она о чем-то просила его, но он и слушать не хотел.

Я попытался разглядеть лица сидевших у стены ребят. У меня отлегло от сердца, когда я убедился, что Рольфа среди них нет.

Внезапно русский поднял автомат и приставил дуло к животу матери. Он закричал на нее, и мать, осознав свое бессилие, пошла прочь.

«Ничего нельзя сделать», — подойдя к нам, сказала она. — «Наша охрана тоже не хочет в это вмешиваться».

«Он же чуть не застрелил тебя!» — воскликнула Мартхен.

«Чепуха», — отмахнулась мать. — «Кажется, этот русский добродушный парень. Но он подчиняется приказам».

«Кто же отдает приказы расстреливать детей?» — возмущенно спросила Мартхен.

Мать пожала плечами. «Этих ребят схватили, когда по всему Кепенику уже развесили белые флаги. В назидание другим их нужно расстрелять. Война всех сделала сумасшедшими».

«Но ведь ты же все объяснила этому русскому!»

«Конечно. А в ответ на это он приставил к моему животу автомат».

Мы увидели, как двое других русских притащили откуда-то большой ящик и поставили его на землю перед верзилой в пилотке.

«Там, наверное, еще какое-нибудь оружие».

Мартхен дрожала как осиновый лист. Мать попыталась увести ее в дом.

«Нет, я хочу это видеть!» — громко, чтобы ее услышал

русский, закричала Мартхен. — «Я хочу видеть, как эти взрослые парни стреляют в маленьких детей!»

Верзила в пилотке повернулся в нашу сторону и замахал своим автоматом — мол, уходите отсюда. Затем, обернувшись к своим товарищам, что-то коротко приказал им. Солдаты открыли ящик. Мы смотрели на них, онемев, затаив дыхание.

«Немедленно иди в дом», — зашипела на меня мать.

Но я остался.

Полумертвые от страха мальчишки прижались к стене дома, уткнув головы в колени. Внезапно русские вытащили из ящика толстые кольца колбасы и подошли к детям.

Солдаты подняли их с земли, сунули в руки каждому по кольцу колбасы и вытолкнули их на улицу. Верзила в пилотке что-то прокричал им.

«Что, что он говорит?» — дергала Мартхен за руку мать.

«Погоди-ка».

Мать подошла к забору, разделявшему оба садовых участка.

Смертельно уставшие мальчишки в нерешительности стояли на улице, не двигаясь с места. Русский что-то закричал и захлопал в ладоши, как будто хотел их спугнуть. Потом он прокричал матери что-то по-русски.

«Идите домой», — перевела мать. — «Скажите вашим матерям — война окончена».

Мальчишки разбежались. Русский в восторге хлопал себя по ляжкам. Затем, схватив ящик, он бросил нам через забор оставшуюся колбасу.

Мартхен тут же ушла в дом. Ей ни на секунду не приходила в голову мысль, что мать знала о разыгранном перед ними спектакле.

«Он говорил тебе, что собирается делать?»

«Нет, ничего он мне не говорил. А даже если и сказал бы что-то, я ничего не смогла бы изменить».

Тридцатого апреля к нам в гости приехали Редлихи. На мой вопрос, участвовал ли Рольф в боях, тот ответил отрицательно. «Отец спрятал меня в подвале. Да меня никто и не хватился — уже некому было».

Редлихи приехали к нам на своих старых велосипедах и очень удивлялись, что их велосипеды до сих пор не забрали русские. «Даже старые кофемолки вроде нашей у них высоко ценятся», — рассказывал Рольф.

«Вы все еще живете в своем доме?» — спросил я.

«Ну конечно. Русские в таких развалюхах селиться не будут. Отец займется домом, когда они уйдут. Он обещал мне восстановить дом полностью».

С помощью старого Редлиха мы с Рольфом уговорили мать и Мартхен отпустить меня в Вальдесру. «Может, удастся уломать Василия, и он отвезет нас на машине», — предложила мать.

Однако я непременно хотел ехать вместе с Редлихами. После того как старый Редлих твердо пообещал матери соблюдать предельную осторожность, мы отправились в путь.

Однако недалеко от Вальдесру нас все же остановили. Из встречного грузовика выпрыгнули русские с криками «Часы, часы!»

Ни у кого из нас часов не было. Тогда русские забрали наши велосипеды, погрузили их в кузов грузовика и поехали дальше. Мы были уверены, что даже если бы у нас были часы, велосипеды все равно бы отобрали. Остаток пути мы шли пешком.

Наконец мы добрались до места. Вальдесру (мать называла его захолустьем) встретил нас полной тишиной. Все словно вымерло. Дом Редлихов постепенно приобретал жилой вид. Половина дома оставалась полностью разрушенной, и сквозь проломы можно было заглядывать в уцелевшие комнаты. Внутренняя лестница, ведущая на второй этаж, была в полном порядке. Дверь, закрывавшая вход в уцелевшие помещения, была отремонтирована и выглядела потрясающе. Кухня снова переместилась из гаража на прежнее место. Запасы были водворены обратно в подвал. Почти вся сантехника была невредима, из крана вода текла в стоявший на полу таз. Однако восстановительные работы на кухне еще не были закончены. После того, как я все осмотрел и по достоинству оценил работу старого Редлиха, мы с Рольфом решили отправиться в наш лес.

«Только не заходите слишком далеко», — предупредил нас старый Редлих. — «Теперь в лесу полно всякого сброда».

«Русские?» — спросил я.

«Нет, там окопались бомжи. Они собираются в банды, могут даже ограбить. А добычу делят между собой. Такие вот дела».

«Отец преувеличивает — хочет напугать нас», — объяснил мне позднее Рольф. — «Я наверняка знаю — там повсюду валяются целые куски от русских „катюш“. А какой адский грохот стоял, когда они в первый раз ударили! У нас в лесу можно собрать много интересного».

Старое место, где мы обычно искали бомбовые осколки, было совершенно пусто. Ни одного осколка! Выругавшись, мы побежали дальше, по направлению к Кепенику.

Вдруг на обочине дороги мы увидели две сидевшие на земле человеческие фигуры. Один сидел, прислонившись к дереву, второй — на куче мха недалеко от первого. Он что-то жевал.

«Это не бомжи», — прошептал Рольф. — «Тот, который

жует — русский».

«А второй?»

«Отсюда не видно».

Мы осторожно подошли ближе.

«Господи, да это же немец! И оба сидят рядышком, как два приятеля!»

«Немец не пехотинец», — тихо сказал я. — «Это парашютист-десантник. Видишь, какая у него форма! Сидит тихо-тихо, а этот русский лопает».

«Хоть бы с соседом поделился!» — добавил Рольф.

Мы подползли к немецкому парашютисту совсем близко. Я даже мог дотронуться до него. Русский видел нас, но наше присутствие, казалось, ему совсем не мешало. Я заглянул немцу в лицо.

«Черт побери, да он же мертвый!» — испуганно сказал я. — «Мертвее не бывает!»

Рольф подполз поближе. «И совсем не воняет. Оба, наверное, тут как раз и повстречались».

На шлеме немца мы увидели пулевое отверстие.

«Ему выстрелили в голову», — сказал Рольф. — «А кровь, наверное, вытекла внутрь шлема».

Неожиданно русский проявил беспокойство. Размахивая руками, он что-то закричал нам. Мы пустились наутек. «Он оберегает свой трофей», — говорил на бегу Рольф. — «Я еще никогда не видел такого элегантного мертвеца. Даже сапоги начищены до блеска!»

Мы повернули назад, однако сделали большой крюк, чтобы снова не наткнуться на мертвого немецкого парашютиста и сидящего рядом с ним русского. Я бежал впереди, глядя под ноги — вдруг найду осколок бомбы?

«Смотри, что я нашел!» — услышал я голос Рольфа, — «Блестит, как салом смазанный!»

Я обернулся. Вдруг раздался негромкий хлопок.

«Ой! Черт побери!» — закричал Рольф.

Я бросился на землю. «Бежим отсюда!» — крикнул я. — «Этот русский стрелял в нас!»

Рольф тоже бросился наземь. «Думаю, это был не русский», — сказал он. — «Наверное, я наступил на что-то — меня сильно укололо».

Он попытался подняться. — «Черт побери, у меня нога болит!»

Вскочив на ноги, я подбежал к нему, ухватил его сзади за подмышки и рывком поднял. «Потише, потише, Макс. Не торопись. Мне очень больно!»

«Твои штаны совсем мокрые».

«Я от страха описался, наверное».

«Это кровь», — сказал я. — «У тебя внизу все в крови. Обопрись на меня. Идем домой».

Он попытался сделать несколько шагов. «Не могу. Ноги как ватные. Я полежу здесь, а ты сбегай за отцом».

«Ты с ума сошел! Чтобы я оставил тебя здесь истекать кровью? Отсюда до дома совсем недалеко! Полезай ко мне на спину. Ничего, мы доберемся».

Я опустился на колени, и он залез ко мне на спину.

«Обними меня за шею, и побежали».

Через некоторое время я почувствовал, что его руки заметно ослабели и едва держатся за мою шею.

«Держись крепче! Ну постарайся!» Я сильнее обхватил руками его ноги.

«Боже», — молился я про себя. — «Боже, если ты есть, помоги! Пусть с ним не случится ничего плохого, просто лопнул какой-нибудь сосудик или что-нибудь в этом роде!» — «Как ты там?» — спросил я Рольфа.

«Прекрасно. А если бы не так тряс, было бы еще лучше».

«Я должен побыстрее принести тебя домой».

«Понятно. Но меня качает, как будто я на верблюде сижу. Тряси не так сильно, а то меня затошнит. Как у меня внизу болит — то ли задница, то ли еще где-то».

«Наверное, на зубную боль похоже. Когда болит зуб, кажется, что даже кожа на голове болит».

«Голова у меня не болит, это уж точно».

Я засмеялся.

«Прекрати!» — закричал он.

Мои легкие словно огнем жгло. «Только бы мне донести его до дома», — думал я. — «Только бы донести его!»

«Сейчас лес кончится, а там уже и до наших развалин недалеко», — сказал Рольф. Он становился все тяжелее.

«Мне надо приподнять тебя немного, а то ты свалишься с меня», — сказал я.

«Хорошо», — медленно ответил Рольф.

Наконец мы увидели развалины дома Редлихов. Я бежал, собрав последние силы, почти теряя сознание. Старый Редлих стоял возле дома, греясь на солнышке.

Он взглянул в нашу сторону. Секунду он озадаченно смотрел на нас, затем ринулся мне навстречу. Я уже не слышал, что он кричал, только почувствовал, что он снял Рольфа с моей спины. Задыхаясь, я упал на землю.

Отдышавшись, я медленно поднялся на ноги. Старый Редлих

сидел на земле рядом с лежавшим на земле сыном, низко склонившись к нему, прижав голову к его щеке.

«Почему он не относит Рольфа в дом, в крайнем случае его можно и на кухне положить!» — подумал я.

Редлих поднялся и подошел ко мне. Он был мертвенно бледен. «Твои старания были напрасны», — вымолвил он и направился к дому.

«Ты не помог ему, милосердный Боже, ты не помог ему», — думал я, глядя на лежавшего на земле Рольфа. Его такое знакомое мне лицо теперь выглядело чужим и уже не принадлежащим этой жизни. Это был мертвый человек, которого я знал так же хорошо, как себя самого.

Старый Редлих вернулся с покрывалом и накрыл им тело сына. «Я не могу отнести его в дом», — тихо сказал он. — «У меня нет сил».

Он сел на землю возле мертвого Рольфа.

«Но я же только что с ним разговаривал! Он еще шутил!»

Я опустился на колени перед Редлихом и заглянул ему в глаза. — «Мы должны отнести его в дом и вызвать врача. Я помогу вам».

Откинув покрывало, я взглянул на Рольфа. Потом приложил руку к его щеке.

«Он же еще совсем теплый. Нужно вызвать врача».

Внезапно до меня дошло — сидящий передо мной человек прав. Мне не удалось спасти жизнь своему лучшему другу.

Редлих сидел с безучастным, отрешенным видом. Он не отвечал на мои вопросы, он просто не обращал на меня внимания. Он даже не заметил, что я откинул с Рольфа покрывало, а потом снова аккуратно расправил его на теле погибшего. Он ушел в себя, окружающее словно перестало для него существовать. Он сразу стал очень старым.

И я побежал. Я бежал как сумасшедший. «Мне нужно в Каульсдорф. К Мартхен», — торопил я себя. — «Она наверняка знает, что делать с Редлихом, как его образумить».

Я до сих пор не понимаю, как мне удалось так быстро добраться до Каульсдорфа. У меня начался непрекращающийся приступ кашля. «Сейчас я выблюю мои легкие» — подумал я.

Мать организовала все. В открытой легковой машине приехал Василий, и мы помчались в Вальдесру.

Редлих все еще сидел возле мертвого сына. Рядом с ним стояли его соседи. Они увидели нас, и их словно ветром сдуло. Бросив короткий взгляд на мертвого Рольфа, Василий перевернул его на живот. «У него внизу все разворочено», — сказал он.

По его приказанию тело Рольфа перевезли в Кепеник, в

военный госпиталь.

Вернули его только через десять дней, и Редлих смог похоронить своего сына.

В той же легковушке мы вернулись домой. Редлиха мы тоже взяли с собой.

Василий поднял его с земли и почти донес до машины. В Каульсдорфе я уступил ему свою комнату, а сам перешел в комнату матери.

Редлих выходил из комнаты только в уборную. Остальное время он лежал на кровати, молча глядя в потолок.

Жена соседа-нациста, тоже нашедшая приют в нашем доме, по-матерински заботилась о Редлихе. Муж ее был арестован — его выдали бывшие соратники по партии.

«И зачем он рассказывал всем, что был постоянным собутыльником Геринга», — жаловалась она. — «Это возбуждает у людей лишь зависть».

На 9 мая 1945 года был намечен большой праздник в честь безоговорочной капитуляции Германии. По этому поводу русские задумали устроить на Александерплац грандиозный фейерверк. Об этом нам рассказал Василий.

«К сожалению», — прибавил он, — «у меня нет времени отвезти вас туда».

Он, наверное, и не мог этого сделать. Но мы решили обязательно попасть на праздник. Ранним утром следующего дня наша троица — мать, Мартхен и я — отправилась в путь. За главного в доме осталась фрау Риттер, а наша соседка-нацистка опекала старого Редлиха.

День выдался необычно жаркий. Дороги были пусты — ни одной машины.

Иногда проезжали, не останавливаясь, советские военные грузовики. О городском транспорте нечего было и мечтать. По пути к Александерплац какой-то прохожий рассказал нам, что снова, хотя и нерегулярно, ходят электрички. Однако вокзал в Лихтенберге, мимо которого мы проходили, был закрыт. Мы шли по Франкфуртераллее в направлении Штраусбергерплац. И чем дольше мы шли, тем сильнее ощущали знакомый, ставший уже привычным, сладковатый трупный запах, смешанный с запахами гари и кирпичной пыли.

Широкая когда-то улица местами была так сильно разрушена, что даже приходилось искать ее между грудами обломков и щебня.

Штраусбергерплац больше не существовала, и на какое-то время мы потеряли ориентацию.

«Александерплац должна быть где-то там».

Мартхен показала куда-то в западном направлении.

Мы перелезли через горы обломков и мусора и оказались на узкой улице, которую, видимо, уже привели в относительный порядок.

«Теперь я знаю, куда мы пришли!» — воскликнула Мартхен. — «Это, кажется, Мемхартштрассе. Она ведет прямо к Александерплац».

«Как же мы смогли вдруг очутиться на Мемхартштрассе? Она ведь находится по другую сторону Александерплац», — сказала мать.

Она прошла несколько шагов в противоположном направлении. Вдруг она поскользнулась и упала. Мы бросились к ней и помогли подняться. Мартхен стряхнула с матери пыль. Впрочем, мы выглядели немногим лучше. Тут я увидел, на чем поскользнулась мать. Это была перчатка, показавшаяся мне несколько странной. Я поднял ее. В перчатке была полуразложившаяся, отвратительно вонявшая кисть человеческой руки. Взглянув на содержимое перчатки, мать закричала, как будто ее резали. Испуганная ее криком Мартхен посмотрела на меня и на перчатку, которую я все еще держал в руках-. Ее тут же стошнило.

Вдруг мать побежала обратно. Нам с трудом удалось догнать ее.

Мартхен уже забыла о своей тошноте. Взяв мать под руки, мы осторожно повели ее назад, обогнули злополучное место и действительно вышли на Александерплац. Мартхен оказалась права, однако нам пришлось сделать изрядный крюк, прежде чем мы через груды обломков и щебня добрались до цели.

День уже давно перевалил на вторую половину. Мы уселись у каких-то развалин и развернули свои бутерброды. Солдатский хлеб был отвратителен на вкус, но нам очень хотелось есть.

И здесь я в первый раз увидел американца. С нашего места я прекрасно мог рассмотреть его. На голове у американца был белый шлем. Выскочив из джипа, он обнял проходившего мимо красноармейца. Его товарищи тоже вышли из машины и обменялись с русским энергичными рукопожатиями.

«Нехватает только, чтобы к ним подъехали эсэсовцы в парадных формах и белых перчатках и тоже приняли в этом участие», — подумал я.

«Мама, смотри, это американцы», — сказал я, указывая на «джип».

Обе женщины поднялись со своих мест, разглядывая машину.

«И в самом деле, американцы», — сказала через некоторое время Мартхен.

Неожиданно перед нами выросли русские солдаты и согнали нас с места.

«Немцам не положено», — усмехнулась Мартхен.

Мы смешались с толпой других зрителей. К сожалению, с нового места нам почти ничего не было видно.

«Жаль», — вздохнула мать. — «Место на развалинах было почти как ложа. Русские, оказывается, тоже антисемиты».

Мартхен, продолжая улыбаться, ничего не ответила. Мы увидели подходившую к нам фрау Плац, которая энергично махала нам рукой. Следом за ней шел Ганс Кохман.

«Регина и супруги Карфункельштейн стоят на другой стороне — оттуда лучше видно».

«Что, у господина Карфункельштейна ложа?» — спросила Мартхен. Фрау Плац засмеялась.

«Нет-нет, они тоже стоят».

Мать представила ей Мартхен. Фрау Плац по очереди обняла всех.

«Господи, да ты совсем не вырос», — сказала она, глядя на меня.

«Ты что, слепая?» — мать притянула меня к себе.

Фрау Плац смущенно обернулась к Гансу Кохману.

«В этом возрасте растут еще не так быстро», — попытался помочь ей Кохман.

Через толпу мы протиснулись на противоположную сторону.

«Ну, все уже позади», — улыбнулась нам фрау Карфункельштейн.

Ее муж рассказал, что на уличных фонарях вдоль Шарлоттенбургершоссе и Бисмаркштрассе до поворота на Адольф-Гитлер-плац висели трупы эсэсовцев.

Говорят, среди повешенных — семья Геббельса. «Сам я, правда, не видел, но есть очевидцы».

«Не может быть!» — воскликнула Мартхен.

«Мне говорили — есть очевидцы», — повторил Карфункельштейн. — «Там, должно быть, непереносимо воняет. Но русские запретили снимать трупы с фонарей».

«Вполне может быть», — согласился Ганс Кохман. Внезапно раздался громкий треск. В небе вспыхнули разноцветные огни фейерверка. На очищенной от обломков и щебня площади русские начали танцевать краковяк, приглашая товарищей по оружию танцевать вместе с ними.

Танцующих становилось все больше. К русским присоединились американцы, французы, англичане. Они угощали друг друга сигаретами и водкой. Поздно ночью мы попрощались с остальной компанией и пошли ночевать к Регине — у нее была

полуподвальная квартира в доме на Инвалиденштрассе.

«И давно ты здесь живешь?» — поинтересовалась мать, когда мы вошли в Регинину квартиру.

«Две недели. До этого времени я жила в разных местах».

«И Карфункельштейн тоже все время жил с тобой?»

«Да, все время».

«А теперь? Где он теперь живет?»

«Он опять живет в Целедорфе. Его дом уцелел — ни одной царапины».

«Дом его жены», — поправила мать. — «Он ведь перевел все имущество на ее имя».

«Да, дом его жены», — равнодушно подтвердила Регина. И с неожиданной гордостью продолжила: «Он уже имеет в своем распоряжении машину и сколько угодно талонов на бензин».

«Наверное, Господь спал в это время, и поэтому твой Карфункельштейн сохранил свое имущество», — неприязненно отозвалась мать, не выносившая бывшего сожителя сестры.

Регина невесело усмехнулась. Мать обняла ее — ничего другого ей не оставалось.

На следующий день мы отправились обратно. Фрау Риттер встретила нас в страшном волнении.

«Господин Редлих хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что нам вовремя удалось отобрать у него нож. Сейчас он сидит в комнате наверху и несет какой-то вздор».

Когда мы вошли в комнату, Редлих упал перед матерью на колени и судорожно обхватил ее ноги.

«Это мне наказание за то, что я возил евреев туда, где их ждала газовая камера. И за это Бог забрал моего сына, а его» — кивнул Редлих в мою сторону, — «оставил жить».

«Я уже думал, что Бог простил меня, но он не простил, он страшно покарал меня за этот грех».

«Бога нет!» — сказал я. Мать попыталась высвободиться из рук Редлиха.

«Я ведь все, все видел», — говорил он, — «я видел, как их обыскивали, как у них все отбирали. Я помню этот ужасный запах, этот черный дым из труб крематория. Я видел небо в этих красных отблесках. Меня сразу же, как только приходил состав с евреями, отправляли за провизией, но я все видел. Я спотыкался, шел как слепой, потому что у меня не было сил смотреть на все это, — я зажмуривал глаза. Врач сказал — у меня нервное истощение, дал мне справку, и меня освободили от этой работы. Я больше не мог. И никогда бы уже не смог. Но почему за это должен был расплачиваться мой сын?»

Мать наконец высвободилась из его рук. Мое лицо было

мокрым от слез.

«Рольф вообще был не при чем. Он ко всему этому дерьму никакого отношения не имел!» — крикнул я и бросился вон из комнаты.

После девятого мая с дома Мартхен сняли охрану. Советская комендатура стала строго наказывать каждого солдата за мародерство и изнасилование. Матери предоставили квартиру в одном из уцелевших домов Каульсдорфа, и мы устроили по этому поводу большой праздник.

Связь с Лоной мы снова наладили. Даже Людмила Дмитриева объявилась. Лона явилась к нам со своим третьим мужем Фуркертом, сбежавшим из моабитской тюрьмы. Фуркерт непременно хотел повидаться с Карлом Хотце. Нам было трудно растолковать ему, что Хотце — если он еще жив — находится в заключении где-то в Австрии. Людмила приехала к нам, как всегда, одна. И как всегда, с неизменной сигаретой во рту. Она с видимым удовольствием разговаривала с Василием по-русски. Однако впоследствии она всегда подчеркивала, что коммунисты, соратники Василия по партии (так, во всяком случае, считала сама Людмила) уничтожили всю ее семью. Но тогда, на празднике, оба мирно беседовали друг с другом. Василий перенес свое пианино из гостиной Мартхен в нашу новую квартиру, и они с Людмилой играли в четыре руки русские народные песни. А для нас Василий играл немецкие шлягеры тридцатых годов. Карфункельштейн танцевал попеременно то с тетей Региной, то со своей женой. Иногда матери удавалось оттащить Василия от пианино и потанцевать с ним. В этих случаях за инструмент садился Ганс Кохман. Старый Редлих молча, неподвижно сидел в углу комнаты. Время от времени он подносил ко рту бутылку водки, которую Василий сунул ему в руки. Я подсел к нему и попытался заговорить, но он, сжав губы, отодвинулся от меня и продолжал молчать.

В этот праздничный вечер Карфункельштейн объявил, что решил снова заняться торговлей — продавать чулки и трикотаж. Он слышал, что в Саксонии разработали специальную синтетическую ткань для чулок, похожую на нейлон.

«Эта ткань называется перлон», — рассказывал Карфункельштейн. — «Чулки из нее гораздо прочнее нейлоновых. Американцы от этих вещей просто в восторге — они дешевле и к тому же нравятся немецким девушкам. Нужно только раздобыть небольшой грузовичок и получить от русских разрешение на торговлю».

Зигрид Радни пообещала предоставить в распоряжение Карфункельштейна свой старый грузовик, от которого отказались

русские, и даже водителя.

«Русские съели даже самых маленьких цыплят. Опустошили птицеферму начисто! И лицензию у меня отобрали, потому что я обслуживала эсэсовское начальство. Можете взять мой грузовик. А вот бензина у меня нет. В крайнем случае можно приспособить дровяную печь. Брат мужа в этом хорошо разбирается»..

Карфункельштейн сказал, что, конечно, этим можно будет воспользоваться, если он не сможет достать необходимое количество бензина. И еще — хорошо бы сначала проверить, как янки воспримут эти новые чулки.

«Да они и не поймут вовсе, в чем различие», — сказала тетя Регина.

«Они умнее, чем ты думаешь», — возразил Карфункельштейн. — «И прежде всего они спросят, где мы эти вещи взяли. Поэтому мы должны соблюсти все формальности и получить у русских лицензию».

Мать получила в комендатуре лицензию и стала официальным владельцем предприятия. Зигрид Радни предоставила нам свой грузовичок, а брат ее мужа приладил к нему дровяную печь. Бензин Карфункельштейну достать так и не удалось. Скоро на веранде нашего дома уже стояли первые ящики с перлоновыми чулками. Мать купила их не слишком много: во-первых, потому, что на оптовом рынке эти чулки появились недавно и в небольших количествах, а во-вторых, нельзя было предугадать, будет ли этот товар пользоваться спросом.

«А как с „союзниками“ контакты наладить?» — спросила мать Регину.

«Это не твоя забота», — проворчала та. — «Я уже это делаю».

«Интересно, где же? На улице? Не пройдет и двух минут, как тебя схватит патруль, и мне придется вызволять тебя из кутузки».

«Не беспокойся, Карфункельштейн знает, как за это дело взяться. У развалин рейхстага еще и не такое можно продать. Поменять на сигареты. Деньги нам брать нельзя. А сигареты — это валюта. Американские сигареты, что называется, гвоздь сезона. В особенности они пользуются спросом у русских. Вопрос только в том, кто заговорит с ними? Фрау Карфункельштейн охотно довезет нас до рейхстага, но потом мы должны будем действовать сами. Карфункельштейн считает, что взрослым этими делами заниматься ни в коем случае не следует. Лучше всего для этого подойдут дети».

Регина решила отвезти меня к рейхстагу. И там я буду предлагать «союзникам» перлоновые чулки.

«Мы обмотаем его веревкой, на которую повесим чулки. А Карфункельштейн даст ему старое пальто — оно наглухо

застегивается. И можно открывать торговлю!» Регина засмеялась. «Ну, что ты на это скажешь?» — спросила она меня.

«Ну и выдумщица же ты!» — воскликнул я. Однако сама идея показалась мне неплохой. Поколебавшись, мать тоже согласилась с планами сестры. Приступить к работе мы решили немедленно.

«С мальчиком ничего не случится», — успокаивала Регина мою мать. — «Я все время буду где-нибудь поблизости».

День открытия нашей «торговой точки» выдался невероятно жарким. Стоял июль, и в старом зимнем пальто Карфункельштейна я буквально обливался потом.

Фрау Карфункельштейн высадила нас из машины примерно в километре от рейхстага. Регина взяла меня за руку, и мы медленно направились к нашей цели. У развалин рейхстага стояла куча «джипов».

Через груды мусора и щебня мы спустились к подвалам рейхстага. Здесь царило оживление. Немцы предлагали американцам, англичанам и французам для обмена все, что представляло хоть какую-то ценность. Проститутки пытались привлечь к себе внимание потенциальных клиентов. Пахло пылью, потом, мочой.

Спускаться еще глубже мне совершенно не хотелось.

«Если ты почувствуешь, что к тебе подходит покупатель, уведи его куда-нибудь, где поспокойнее. И не показывай ему сразу все, что у тебя есть», — поучала меня Регина. — «Ну-ка, еще раз — как по-английски „чулки“?»

«Stockings».

«А сигареты?»

«Cigarettes».

«Прекрасно. Ты меняешь чулки на сигареты. Только на сигареты. Две пары чулок — на блок сигарет».

Регина, похоже, волновалась еще больше меня.

«Но сначала покажи только один чулок. А перед этим попроси показать тебе сигареты».

«Ладно-ладно», — отмахнулся я от Регины и двинулся вперед по грязному подвальному проходу.

Покупателя я нашел сразу. Это был патрульный-американец. Он отвел меня в сторону и стал говорить что-то. Довольно громко. Наверное, он просто хотел перекричать стоявший вокруг шум, но я так перепугался, что от страха чуть не наделал в штаны. «Stockings!» — неожиданно для себя самого громко закричал я.

Он жестами показал, что хочет видеть товар.

«Ну, хорошо», — подумал я. — «В следующий раз буду умнее».

Расстегнув верхнюю пуговицу пальто, я сунул руку вглубь, вытянул один чулок и протянул его американцу. Он засмеялся и показал на пальцах, что ему нужен и второй.

«Cigarettes», — сказал я.

Американец жестами дал мне понять, что мне надо подождать, и пошел к выходу.

«Со мной ничего не случится», — говорил я себе. — «Это же не нацисты!»

Я прислонился к стене и стал ждать. Через несколько минут американец возвратился. Подмышкой он, не скрываясь, нес по меньшей мере четыре блока сигарет, один из которых протянул мне. Схватив одной рукой сигареты, я снова сунул другую под пальто и вытянул еще один чулок. Американец показал мне второй блок сигарет. Я положил уже заработанные сигареты на землю, слегка придавил ногой для сохранности и вытащил из-под пальто следующий чулок.

Американец приподнял мою ногу, придерживавшую сигареты, положил на них еще один блок и поставил мою ногу на прежнее место. Раздались аплодисменты, и тут, наконец, до меня дошло, что вокруг нас образовалась небольшая толпа американских солдат.

Мой покупатель протянул мне все оставшиеся у него сигареты. Я расстегнул на моем пальто все пуговицы. Американцы, увидев обвивавшую мой живот веревку с висящими на ней чулками, от восторга стали хлопать себя по ляжкам и наперебой предлагать мне сигареты. Мой первый покупатель с трудом угомонил их, объяснив, что он имеет бесспорное преимущество.

Но когда он истощил свой запас сигарет, я смог «облагодетельствовать» и других американцев.

Неожиданно у входа в подвалы появились еще несколько патрульных. Мои покупатели тотчас обступили меня и, надавив на плечи, заставили опуститься на корточки. Но, очевидно, кто-то из стоявших возле меня американцев узнал в патрульных своих, и меня снова поставили на ноги.

Американцы стали жестами объяснять, что должен прийти еще раз.

В этот день в обмен на чулки я получил больше десяти блоков сигарет.

Спрятав свою добычу под пальто, я выбежал из подвала. Выглядел я, наверное, достаточно комично, но зато не потерял ни одной пачки сигарет.

Регина ожидала меня недалеко от развалин рейхстага.

«Знаешь, кому я продал почти все чулки? Американскому

патрульному! За каждую пару я получил целый блок сигарет!» — на одном дыхании выпалил я. — «Это потому, что там были еще другие американцы, им тоже чулки понадобились. И я должен прийти туда с чулками снова!»

В машине обе женщины — фрау Карфункельштейн и Регина — наговорили кучу комплиментов моим коммерческим способностям. С таким талантом, уверяли они, я обязательно стану очень богатым.

«Таким же богатым, как твой муж?» — спросил я фрау Карфункельштейн.

Много они понимают, эти женщины. Просто этот патрульный оказался очень щедрым человеком и с самого начала назначил завышенную цену. Тем не менее я с достоинством принимал похвалы в свой адрес. Как в эту минуту мне нехватало Рольфа! Ему бы я обязательно похвастался!

Карфункельштейн тоже счел мой дебют успешным и активно взялся за дело.

Он привозил из Саксонии горы перлоновых чулок. Через некоторое время ему уже было недостаточно маленького грузовичка Зигрид Радни, он даже раздобыл американский военный грузовик. Таким образом, у нас образовался небольшой автопарк, располагавшийся на территории бывшей птицефермы. За машинами ухаживал брат погибшего Гюнтера Радни. А бывший кабинет Радни был переоборудован в склад для хранения чулок.

Мать часто ездила с Карфункельштейном в Саксонию. В такие дни я перебирался к Мартхен, и она заботилась обо мне.

В конце июля домой вернулся Хотце. Произошло это как раз в тот день, когда старый Редлих, как всегда безмолвный, явился к Мартхен с визитом.

Хотце сперва принял его за человека, которого его свояченица пригласила для помощи по дому. Но скоро он понял, что Редлих не в себе и рассчитывать на его помощь вообще не следует.

Мартхен защищала Редлиха как собственного ребенка и всегда очень сердилась, когда кто-нибудь начинал над ним смеяться. Ее дом всегда был открыт для несчастного старика, но он, к великому сожалению Мартхен, пользовался этим очень редко.

«Работы по восстановлению дома немного отвлекают его от смертельной тоски по сыну», — сказала однажды Мартхен, навестив старого Редлиха в Вальдесру. — «Он все делает очень аккуратно. Снаружи дом еще не совсем в порядке, но внутри уже можно жить вполне комфортно».

Хотце выглядел, как и прежде, поджарым и мускулистым. Как

и прежде, сверкал при свете солнца его стеклянный глаз. О своем пребывании в концлагере он почти не рассказывал. Как-то вечером он начал было рассказывать о побеге из концлагеря русских пленных и о том, как они бросили свои соломенные тюфяки на забор из колючей проволоки, через которую проходил электрический ток. Мартхен на полуслове оборвала его:

«Расскажешь по об этом позже, Карл. Сейчас ни у кого из нас нет сил это слушать. Да и себя самого ты тоже поберечь должен».

В доме как-то вдруг все поменялось местами. Теперь главой и абсолютным авторитетом стала Мартхен. На первый взгляд казалось, что Хотце вернулся к своим старым привычкам. Как и прежде, он с важным видом разжигал свою трубку и жаловался на состояние дома и сада. Но тон в доме теперь задавала Мартхен.

Каждому она давала какое-то задание: привести что-нибудь в порядок, починить, наладить. Не только Карл Хотце, но и мы с матерью, когда бывали у Мартхен, беспрекословно выполняли все ее просьбы.

Единственным человеком, для которого она делала исключение, был старый Редлих. Он часами мог сидеть в доме или в саду, ничего не делая, не разговаривая ни с кем. Во время обеда он получал еду первым, причем лучшие куски доставались ему. Часто, если ей позволяло время, Мартхен провожала Редлиха домой.

Матери первой бросилось в глаза, что белки глаз у Мартхен стали желтыми, и ест она меньше, почти не прикасается к еде, а в уборную, напротив, стала бегать чаще. Немного позже пожелтели белки глаз и у меня.

Мать сразу догадалась, в чем дело. Местный врач определил у нас обоих желтуху и прописал строгую диету и постельный режим.

Мать, Хотце и фрау Риттер поочередно ухаживали за нами. Тетя Регина умудрялась доставать для нас диетические продукты, иначе мы бы умерли от истощения.

Через шесть недель мы почувствовали себя лучше, но есть нам по-прежнему не хотелось. Белки моих глаз утратили характерный для желтухи цвет. Но неожиданно у меня пошла горлом кровь. Врач направил меня в больницу в Кепенике. Там мне сделали рентгеновский снимок. У меня оказался туберкулез легких. Врач-рентгенолог сказал матери, что в левом легком довольно большая, величиной с одномарковую монету, каверна, и затемнения в верхушках легких. Я должен оставаться в инфекционном отделении больницы до тех пор, пока не установят, нет ли у меня открытой формы туберкулеза. А открытая форма туберкулеза опасна для окружающих.

Мать стала действовать немедленно. Она побежала в комендатуру и попросила Василия о помощи, и он сам отвез нас на машине в бывшую еврейскую больницу, которая теперь находилась во французском секторе, но была подведомственна одной из американских организаций. Немцам вход в эту больницу был запрещен.

Больничные ворота были открыты. Василий нажал на педаль газа, мы въехали во двор и остановились перед газоном. Нас окружили какие-то люди, среди которых я заметил нескольких медсестер. Василий очень громко и решительно сказал, что он должен видеть главного врача больницы. На вопрос, кто он такой, Василий ответил:

«Я капитан Красной армии, и если ко мне немедленно не выйдет главный врач, я устрою здесь грандиозный скандал».

После этих слов он вытащил револьвер и стал угрожающе размахивать им.

По-видимому, лишь немногие из стоявших понимали его немецкий. Перебивая друг друга, люди взволнованно закричали что-то и побежали к главному корпусу больницы. Но кто-то из них, наверное, доложил о нас врачу, и тот, прихрамывая, подошел к Василию и заговорил с ним по-английски.

Василий довольно резко ответил, что здесь он хотел бы разговаривать по-немецки:

«У меня в машине — немецкий пациент, и вы его обследуете!»

«Я американец и подчиняюсь американской военной администрации. К сожалению, я не могу помочь вам» «Речь идет о тринадцатилетнем еврейском мальчике, пережившем войну», — сказал Василий очень серьезно. — «У него кровохарканье».

Врач заглянул в машину. «Где он пережил войну? И кто эта женщина?» — спросил он на безупречном немецком. Мне даже показалось, что у него характерное берлинское произношение.

«Я должен рассказать вам его историю до обследования или после?»

«Вы совершенно правы. Теперь мне нужна только ваша фамилия, чтобы я знал, кому я обязан неприятностями, которые возникнут у меня в нашей администрации».

«Василий Яковлевич Тункельшварц».

«Тункельшварц?»

«Тункельшварц».

«Amcho?»

«Amcho».

«Amcho» в буквальном переводе означает «твой народ». Так обычно евреи узнают друг друга.

«Идемте со мной!» Прихрамывая, врач направился к больничному корпусу.

Как выяснилось позднее, этот человек был главным врачом больницы.

Фамилия его была Коэн. Впоследствии больница снова перешла в ведомство берлинской еврейской общины. Доктор Коэн был человеком маленького роста, но с очень большой головой. Одна его нога была в ортопедическом ботинке.

Мы прошли в ординаторскую. Доктор Коэн предложил матери оставить меня в больнице, пока не остановится кровотечение и из Кепеника не прибудут мои рентгеновские снимки. Меня привели в просторную светлую комнату, и доктор Коэн ввел мне раствор кальция. Во время этой процедуры он беседовал с Василием и моей матерью. Кажется, все трое очень понравились друг другу.

Укол вызвал у меня неприятное ощущение жара. Но Коэн объяснил мне, что после этого укола кровотечение быстро остановится, а неприятное ощущение пройдет. Сопровождаемый Василием и матерью, улыбаясь, доктор вышел из комнаты.

Через три дня из Кепеника прибыли мои рентгеновские снимки. Коэн, внимательно рассмотрев их, поинтересовался, какую часть тела я подставил под рентгеновский аппарат.

«Кровотечения происходят из-за чрезмерного раздражения бронхов», — объяснил он матери. — «Нужно внимательно следить за тем, чтобы мальчик физически не перегружался по меньшей мере несколько лет: у него очень чувствительные бронхи. Что же касается туберкулеза верхушек легких, то это, к сожалению, соответствует действительности. И кроме того, мальчик истощен. Мы оставим его здесь, в больнице, и будем выхаживать. Я обещаю — ваш сын выздоровеет».

Коэн обернулся ко мне:

«Ты остаешься здесь, пока кровотечения окончательно не прекратятся».

И все время, пока я находился в больнице, Коэн всячески старался ободрить меня, отогнать печальные мысли. Правда, до конца это ему так и не удалось, но все же я был очень благодарен доктору. В его присутствии меня охватывало удивительное чувство защищенности и спокойствия. Он мог сказать мне все, что угодно — я безоговорочно доверял ему. Но через шесть недель он выставил меня из больницы.

Меня навестил Василий и рассказал, что в берлинской опере будет идти «Парсифаль» Вагнера.

«В спектакле будут заняты лучшие певцы, а дирижировать будет знаменитый Фуртвенглер. Вагнер был антисемитом, а

Фуртвенглер, по всей вероятности, был нацистом. Но первый сочинял великую музыку, а второму нет равных как дирижеру. У меня есть два билета. От второго билета твоя мама отказалась. Может, ты хочешь пойти со мной?»

Конечно, я захотел.

«Но сначала ты должен отпроситься у моего друга доктора Коэна».

Я пообещал, но не стал отпрашиваться. Лежачим больным я уже не был и мог свободно ходить по больнице и больничному саду, мог даже выходить на улицу, но к шести вечера я должен был быть на месте.

«Парсифаль» под управлением Фуртвенглера длился почти шесть часов.

После спектакля Василий подвез меня к воротам больницы и поехал дальше.

Когда я собирался пройти мимо вахтера, тот спросил, что мне здесь нужно.

Назвав ему отделение и номер моей палаты, я высокомерно сказал, что он может позвонить доктору Коэну и справиться обо мне. Было уже далеко заполночь, и я сказал это в надежде, что доктора в больнице нет. На вахтера, похоже, мое заявление никакого впечатления не произвело, но номер он все-таки набрал и заговорил с кем-то. Выражение его лица становилось все приветливее. Положив трубку, вахтер спросил, не надо ли проводить меня в палату.

«Нет, спасибо, я знаю, как дойти», — сказал я. — «А с кем вы сейчас разговаривали?»

«С доктором Коэном».

Я остолбенел.

В шесть утра дверь моей палаты распахнулась, и вошел доктор Коэн в сопровождении дежурной сестры.

«И как же мы чувствуем себя сегодня?» — приветливо спросил он и потянул с меня одеяло.

«Ну, сейчас начнется», — подумал я. «Хорошо, я совсем не устал», — успокоил я Коэна.

«Удивительно, что мальчику в твоем возрасте хватает лишь пары часов сна. Ты, по-видимому, уже совсем поправился. Вылезай-ка из кровати и собирай свои вещи».

Он был уже у дверей, но вдруг обернулся.

«Где ты так долго был?»

«В опере».

Он опять подошел ко мне.

«Интересно, какую оперу ты слушал?»

«Парсифаль».

«Ну, и как?»

Он присел на край кровати.

«Было слишком долго».

«А кто дирижировал?»

«Фуртвенглер».

«Понимаю. Тебе не было скучно?»

«Иногда».

«Тебе понравилось или нет?»

«Понравилось. Только иногда слишком громко было».

Доктор Коэн поднялся.

«Все, хватит. Выметайся отсюда. Я извещу твою мать. Она, наверное, сможет тебя забрать».

У дверей Коэн снова обернулся.

«Ты был там один?»

«У Василия был второй билет».

«Ну, я ему покажу!»

«Не сердитесь на него!»

Я примиряющее улыбнулся.

«Вчера была премьера. Я две недели пытался достать билеты, а у этого русского мужика был, оказывается, лишний билет, который он отдал мальчишке!»

Он подмигнул мне и вышел из палаты.

Через две недели мы опять посетили доктора Коэна. Мартхен снова пожелтела. На этот раз у нее пожелтело все лицо и начались постоянные рвоты.

Стоило ей что-нибудь съесть, и через короткое время она, зажимая рукой рот, бежала в туалет. Мать уговорила Мартхен не обращаться к местному врачу, а поехать в больницу к доктору Коэну.

«Немцам нельзя», — возразила Мартхен.

«Я сама решаю, кто здесь немец», — усмехнувшись, ответила мать.

Мартхен не хотели пускать в больницу, однако после того, как Коэн лично попросил об этом вахтера, ей пропустили. От меня он знал, кем была для нас Мартхен. Когда я лежал в больнице, по вечерам он часто заходил ко мне в палату, и я рассказывал ему историю нашего бегства от гестапо. В этой истории Марта Шеве занимала особое место.

Нас проводили в приемную, а доктор Коэн вместе с Мартхен ушел в свой кабинет. Осмотр продолжался долго.

«Долго же он ее осматривает!» — сказал я.

Мать кивнула. «Она в надежных руках. Если у нее инфекционная желтуха, нас тоже могут оставить в больнице».

Наконец двери кабинета открылись.

Из дверей выглянула Мартхен:

«Доктор хочет оставить меня здесь. Это невозможно».

Коэн пригласил нас с матерью к себе. Закрыв дверь кабинета, он объяснил нам — хотя он не имеет права помещать в больницу немцев, он выдаст Мартхен за свою дальнюю родственницу и таким образом возьмет ответственность на себя.

«Что, так плохо?» — спросила мать.

«Думаю, для начала мы на пару дней оставим фрау Шеве здесь. Мне нужно сделать еще несколько обследований, чтобы удостовериться в правильности предварительного диагноза. В следующий раз, когда будете навещать ее, принесите ее зубную щетку и ночную рубашку. Лучше всего сделать это уже сегодня», — бодрым голосом сказал Коэн.

«Доктор, я хочу знать, нет ли у нее инфекционной желтухи», — спросила мать, когда сестра увела Мартхен из кабинета.

«Нет», — ответил Коэн. — «Нет. К сожалению, это не желтуха. У нее рак печени».

Я увидел, как страшно побледнела мать.

«Проклятье», — подумал я. — «Мартхен будут оперировать!»

«Сколько ей еще осталось?» — спросила мать. Губы у нее задрожали.

Доктор Коэн спокойно посмотрел на нее. «Самое большее — шесть недель».

Я просидел у постели Мартхен двадцать шесть дней. Доктор Коэн разрешил мне ночевать поблизости от ее палаты. Я был готов ночевать даже в чулане, где хранился инвентарь для уборки помещения.

«Если ты не будешь капризничать, я могу поместить тебя в палату на двух человек. Твоим соседом будет тяжелобольной американец. По-немецки он совсем не говорит».

Я был согласен на все. Я сидел у постели Мартхен, передвигал капельницу, когда Мартхен хотела переменить положение, По ночам я почти не спал — моего соседа-американца мучили постоянные кошмары, и прибегавшая дежурная сестра должна была его успокаивать. За ночь это повторялось несколько раз, однако у доктора Коэна я научился постоянной приветливости.

На Мартхен это оказывало благотворное действие. Я не отходил от нее, и матери не удавалось уговорить меня вернуться домой хотя бы на пару часов. Из палаты я выходил только на время медицинских и гигиенических процедур.

Несколько раз доктор Коэн выслушивал меня и проверял мое горло. Я был здоров.

В один из дней Мартхен узнала, что должна скоро умереть. Она восприняла это почти с удивлением.

«Я об этом совсем не думала. Мне это и в голову не приходило», — сказала она, взяв меня за руку. — «Тогда мне лучше пойти домой».

Но она была настолько слаба, что даже не могла сама подняться, когда сестра поправляла ей постель.

О своей смерти она говорила совершенно спокойно.

«Знаешь, моей сестре умирать было гораздо труднее. Я часто об этом думаю. Нацисты даже к смерти относились без уважения».

Я держал ее руку и пытался подавить охватившее меня волнение.

«Если ты заревешь», — говорил я себе, — «ты убьешь ее».

Я положил голову на подушку рядом с ее головой.

«В таком положении ей не будет видно моего лица, если я не смогу сдержаться», — подумал я.

Свободной рукой Мартхен дотронулась до меня. Ее нос стал особенно длинным и тонким, на истаявшем лице светились огромные глаза.

«Когда умираешь, надо постараться избавиться от страха», — сказала Мартхен за несколько дней до смерти. — «А когда освободишься от страха и успокоишься, сможешь по-настоящему насладиться этим ощущением. Нужно только, чтобы боли не было».

«А тебе больно?» — спросил я.

«Нет, почти не больно. Я вполне довольна. Ты в твои тринадцать лет думаешь о смерти?»

«Иногда».

«В твоем возрасте я никогда не думала о смерти. Наверное, это было ошибкой. Ведь когда-нибудь мы все должны умереть. Где же разница между тринадцатью и пятьюдесятью шестью годами?»

«Нет никакой разницы».

«Правильно, никакой разницы. Надо только представить, что ты уже прожил тысячу лет, и посмотреть на других как бы со стороны. Тогда можно по-настоящему посочувствовать кому-то. Поверь мне, смерть — это нечто прекрасное. Только не нужно думать о том, что когда-нибудь в образе другого человека снова возвратишься в этот мир и еще раз испытаешь весь этот вздор».

Она умерла совершенно спокойно. Я даже не заметил этого момента. Ее рука еще долго оставалась теплой, и меня пришлось убеждать в том, что Мартхен умерла, и уговаривать покинуть ее палату.

По еврейскому обычаю я неделю сидел «шиве» на очень низкой табуретке. Я не произносил никаких молитв, однако соблюдал пост. Только пил много.

На похоронах Марты Шеве я не присутствовал. Даже настойчивые уговоры не заставили меня встать с табуретки. Мать боялась, что от долгого поста у меня возобновится горловое кровотечение, но я был здоров. Абсолютно здоров. Лишь один раз, когда мать посоветовала мне — если сидишь «шиве», то и молитвы нужно читать — я не сдержался. «Кому я должен молиться?» — спросил я. — «Ему ведь все равно, кто умирает. Главное — что умирает. А круговорот природы не прекратится никогда».

Через несколько месяцев после смерти Мартхен мы переехали из Каульсдорфа в Берлин-Вальмерсдорф. Мать нашла хорошую квартиру в частично сохранившемся старом доме на Эмзерштрассе. Людмила Дмитриева, с которой мать возобновила контакты, договорилась с мастерами из английского сектора. Они проложили в передней части квартиры деревянные настилы, по которым мы могли проходить в жилые помещения.

Вся передняя часть квартиры сгорела во время бомбежки. Через уцелевшую входную дверь мы проходили в квартиру, по деревянному настилу добирались до следующей двери, а через нее — в нашу квартиру, состоявшую из трех больших комнат, громадной ванной и кухни с выходом на черную лестницу.

Вместе с Карфункельштейнами и тетей Региной мать продолжила и даже расширила торговлю текстилем и трикотажными изделиями. Теперь у них был автопарк, состоявших из двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Один и автомобилей — «Мерседес V 170» — был особой гордостью матери. Для своих машин они сняли гараж на Дюссельдорферштрассе. Водителем был брат Гюнтера Радни.

Наша жизнь постепенно налаживалась. Мы даже могли обеспечивать продуктами Хотце, фрау Риттер и несчастного Редлиха. Мать периодически навещала его и пекла его любимые пирожки с картофелем и жареным луком.

Работала она как вол, однако ее беспокойство о моем старшем брате росло.

Из Палестины не было никаких сообщений, а когда там разразилась война за независимость, мать, отчаявшись, попыталась через английскую комендатуру связаться с нашими дальними родственниками в надежде, что те знают о ее старшем сыне. Однако все ее попытки были безуспешны.

Англичане были очень злы на евреев, которые хотели во что бы то ни стало иметь собственное независимое государство. Они

тайно поддерживали арабов, хотя официально они признали провозглашенное государство Израиль.

Всеми силами они старались помешать молодому еврейскому государству наладить внешние контакты.

«И почему эти негодяи воевали против Гитлера? Они могли быть его верными союзниками!» — жаловалась мать.

Мы твердо решили эмигрировать в Израиль и только ждали подходящего случая. И в 1949 году такой случай представился. Для меня война уже закончилась, а в страну, где война продолжалась, я боялся ехать. Однако я решил воспользоваться этим случаем единственно из-за надежды снова увидеться с братом.

К этому времени в Германии была создана полулегальная организация, занимавшаяся отправкой евреев в Израиль. Сотрудники организации разыскивали евреев, переживших войну, уцелевших в лагерях уничтожения.

Деятельность этой организации финансировалась американцами, а ее филиалы были созданы во всех европейских странах. Прежде всего и как можно быстрее в Израиль должны были переселиться молодые евреи, пережившие Холокост.

Сотрудники организации вступили в контакт с моей матерью.

«В Израиле у тебя есть будущее», — говорила она. — «Там мы, наконец, сможем снова жить, как нормальные люди. Разве ты сможешь когда-нибудь забыть, что здесь сделали с нами?»

Нет, видит Бог, я никогда не смогу забыть это. Но разве я смогу забыть Карла Хотце и его жену? Разве я смогу забыть Лону, старого Редлиха и моего друга Рольфа, сестер Нихоф и Мартхен Шеве? Даже Людмила Дмитриева, даже мамаша Тойбер рисковали очень многим. И неважно, по каким мотивам. Теперь мне ничто не мешало жить здесь, в этой стране, но я очень хотел увидеться с братом. И от мысли, что я увижу его первым, у меня замирало сердце.

«Я закончу здесь дела и приеду следом за тобой», — обещала мать. — «Но для этого потребуется некоторое время. Слишком много труда я вложила в наше предприятие. Не беспокойся, я не оставлю там вас одних».

Нашу группу, в которой было десять молодых людей, посадили в самолет с американскими эмблемами на крыльях. Мы полетели в Мюнхен. В лагере, расположенном неподалеку от города, под руководством американских военнослужащих мы прошли основательную спортивную подготовку. Американцы по-дружески обращались с нами. Однако я уже был по горло сыт оладьями с кленовой патокой, которые ежедневно подавались к завтраку. Кроме того, нас кормили и другой типично

американской едой, хотя и очень питательной, но не пришедшейся мне по вкусу. Впрочем, после длительных занятий спортом хотелось есть, и поэтому я не слишком привередничал.

Зато когда мне в руки сунули списанный американский автомат, я взбунтовался. Меня поддержал датчанин из нашей группы, с которым я подружился. Он очень смешно говорил по-немецки. Звали его Эдди Фихтман. Эдди был небольшого роста, очень мускулистый, с черными как смоль волосами, такими же черными глазами. На датчанина он совсем не походил. Из солидарности со мной Эдди тоже не захотел учиться стрелять из автомата.

Когда я закричал, что меня уже тошнит от войны, что никакие силы не заставят меня взять в руки оружие, Эдди зааплодировал. Американец, обучавший нашу группу стрельбе из автомата, успокаивающе поднял руку. Хотя я был уверен, что он не понял и половины из того, что я сердито кричал ему, он, видимо, согласился с нами и не возобновлял своих попыток.

Из Баварии, входившей в американскую зону, нас перевезли во Францию, в Марсель. Там нас должны были посадить на корабль. Эта отправка тоже происходила без разрешения англичан, и французов приходилось уламывать.

Поэтому корабли, на которых мы должны были плыть, стояли на якоре в открытом море далеко от берега, прежде чем им разрешалось войти в гавань.

Нас разместили в бараке недалеко от гавани и одели в форму защитного цвета. Целыми днями мы томились от безделья.

Однажды вечером Эдди уговорил меня прогуляться по территории старой гавани. Добраться до этой гавани было просто. Нам хотелось осмотреть знаменитую церковь Святой Девы. Мы отправились в путь как были, в нашей полувоенной форме. Перед отъездом мать купила мне очень красивые позолоченные часы. На руке у Эдди были большие часы-секундомер, привлекавшие всеобщее внимание.

Старая гавань была безлюдна. Но вдруг, как из-под земли, перед нами появились — то ли из пустующего складского помещения, то ли из-за лежащих неподалеку штабелей колючей проволоки — двое парней довольно угрожающего вида.

Показав на наши часы, парни вначале как будто миролюбиво спросили нас о времени. Лишь когда один из них вплотную подошел ко мне и с невозмутимым видом захотел снять часы с моего запястья, мы сообразили, что им от нас нужно. Я тут же отступил назад. Эдди встал между нами, но парень оттолкнул его. Тут я увидел второго парня, направлявшегося к Эдди.

Второй, державший в руке тонкий железный прут, указал им

на секундомер Эдди. Видимо, оба парня, пожелав завладеть часами моего друга, совсем забыли про меня. Парень с железным прутом уже протянул руку к часам Эдди, как вдруг оказался лежащим на земле. Он озадаченно уставился на отлетевший в сторону железный прут и попытался подняться.

Но тут Эдди с быстротой молнии ударил его между ног. Парень громко закричал от боли. Второй, который был значительно выше Эдди, с угрожающими воплями подскочил к моему другу. Эдди, вертясь вокруг него, словно приплясывая, бил его кулаками в самые чувствительные места и в лицо. Удары сыпались градом. Парень стоял словно оглушенный и, мигая, ошарашено смотрел сверху вниз на атаковавшего его коротышку. Тем временем первый парень, поднявшись, наконец, с земли, намеревался напасть на Эдди сзади. «Эдди, берегись!» — закричал я, пытаясь прикрыть его.

«Отойди!» Эдди взвился, как стальная пружина. Вскинув ногу, он нанес парню мощный удар по шее. Тот с воплями снова повалился на землю и безуспешно пытался встать. Эдди помог ему подняться, но тут же с размаху посадил на рулон колючей проволоки.

Мы оглянулись назад — другой парень уже исчез. Мы тоже повернули домой, к нашему бараку.

Когда мы уже лежали в кроватях, Эдди сказал мне:

«Если бы ты вмешался, мне пришлось бы завтра навещать тебя в больнице».

«Слушай, как это у тебя получилось?» — спросил я его.

«Я боксер. В наилегчайшем весе».

«А тот классный удар ногой в самом конце?»

«А это — дзюдо. Я тоже имею разряд мастера», — усмехнулся Эдди.

Таким был мой друг Эдди Фихтман.

Служить в израильской армии мы не захотели. Мне едва исполнилось восемнадцать, Эдди было немногим больше двадцати, но выглядел он, пожалуй, моложе меня. Особенно когда мы стояли рядом.

«Мы еще дети», — сказал я. Эдди кивнул. «Кроме того», — прибавил я, — «я пообещал моему отцу никогда не брать в руки оружие».

Но ничего нельзя было сделать: каждый еврей имел право стать гражданином Израиля, но одновременно с этим правом он приобретал и обязанности. Одной из таких обязанностей была служба в израильской армии.

Хотя с нашим нежеланием брать в руки оружие согласились, служить нам все-таки пришлось. Мы стали водителями военных

транспортных средств.

За все время моей израильской жизни мне не было так хорошо, как тогда.

В моем распоряжении был военный транспорт, и я мог спокойно разыскивать брата. Наш машинный парк был расположен недалеко от Хайфы, почти у пляжа, и нам разрешалось им пользоваться. Эдди был водителем грузовика, а я занимался погрузкой и выгрузкой ящиков с овощами, фруктами и другими продуктами питания, которые мы доставляли в окрестные военные подразделения. Как правило, к полудню мы уже заканчивали свою работу и шли на пляж.

Однажды, когда мы уже немного освоились на новом месте, Эдди высадил меня в Хадаре, одном из богатых районов Хайфы. Перед моим отъездом мать назвала мне имена некоторых людей, о судьбе которых я должен был узнать. Это были родственники моей замужней тетки, жившей в Лондоне. Почти полдня я потратил на то, чтобы добраться до одного из них.

Это было нелегко. На идиш я говорил неважно, а говорить по-немецки стеснялся. Тем не менее все сразу узнавали во мне «йекке» — так здесь называли евреев, приехавших из Германии. У меня было ощущение, что я попал в немецкую провинцию. Почти каждый в этой местности говорил по-немецки правильно и без акцента. Но большинство — на диалекте той области Германии, где они родились. Как-то раз, уже позднее, я услышал, как говорил на иврите израильтянин, родившийся и выросший в Саксонии. Это был гротеск, пародия на иврит.

Фамилия родственника моей английской тетки была Клаузнер. Он был совладельцем продовольственного магазина в Хадаре. Когда я вошел в магазин, на месте был только компаньон Клаузнера. Я представился ему, и он спросил меня о брате.

«Как раз это я хотел узнать от вас», — сказал я. Нашу беседу прервал вошедший в магазин покупатель, попросивший по-немецки банку кукурузы.

Компаньон Клаузнера стал взбираться по приставной лестнице, чтобы достать эту банку с верхней полки. Внезапно на середине лестницы он остановился.

«Теперь нужно немного подождать», — сказал мне покупатель. — «Он обычно стоит так как минимум четверть часа. Если хотите, можете за это время купить еще что-нибудь. Самое удивительное, что его прихватывает по большей части именно на лестнице, и многие здесь развлекаются тем, что просят его достать что-нибудь сверху».

«Но вы же сделали то же самое».

«Я не нарочно», — ответил он. — «Когда я попросил банку

кукурузы, я уже знал, что совершил ошибку. Товары с верхней полки нужно покупать только тогда, когда за прилавком Клаузнер».

Позднее Клаузнер рассказал мне, что его компаньон страдает очень редким заболеванием. Его мозг на какое-то время отключается. Этого человека может прихватить даже на середине проезжей части улицы. И тогда люди просто объезжают его. В этих местах его все знали и привыкли к его болезни, как привыкают к светофору на перекрестке.

«Работе в магазине это не мешает. Покупатели его любят. Да и меня как компаньон он вполне устраивает. Когда у него нет этих приступов, он прекрасно работает. Работа продлевает ему жизнь. Если бы он прекратил работать, он бы умер».

Клаузнер был любезным, остроумным человеком. Голова у него все время слегка тряслась. Через несколько лет он умер от болезни Паркинсона.

«Твоя мать все еще красива?» — спросил он.

«Что значит — „все еще?“» — ответил я вопросом на вопрос.

О брате Клаузнер не мог сказать мне ничего. С самого начала перемирия брат у него больше не появлялся.

«Не случилось ли с ним чего-нибудь?»

«Глупости! В Петах-Тикве живет двоюродная сестра твоей матери, с которой я постоянно поддерживаю связь. Если бы с твоим братом что-то случилось, она сразу узнала бы».

«Вы можете дать мне ее адрес?»

«Разумеется. Но она говорит только на иврите. Немецкого не признает вообще, хотя может говорить и понимает. Поэтому я поговорю с ней вместо тебя».

Спустя несколько недель я познакомился с двоюродной сестрой матери. Это была молчаливая женщина с усталым, изможденным лицом, так похожая на Регину, что ее можно было принять за старшую сестру моей тети. Ее отец два раза в день, утром и вечером, преодолевал расстояние в два километра, чтобы посетить синагогу, расположенную на высокой горе. Ему было за девяносто.

Дочь его была убеждена, что старик доживет до ста двадцати лет, если до сих пор выдерживает эти ежедневные хождения.

Уже через два дня после нашего разговора Клаузнер появился в автопарке.

Он приехал очень рано утром и спросил, найдется ли у меня немного времени, чтобы поговорить. И лучше всего не в автопарке, а где-нибудь на пляже. Когда мы дошли до пляжа, Клаузнер осторожно, подбирая слова, сообщил мне, что мой брат Адольф тяжело ранен и лежит в одном из военных госпиталей

где-то недалеко от Тель-Авива. Его уже оперировали, и сейчас он вне опасности.

«Его теперь зовут Арье Даган, с ударением на последнем слоге. И осуждать его я не могу. А твоему отцу это наверняка бы не понравилось».

«Я найду брата».

Я оформил отпуск, и Эдди отвез меня в Тель-Авив. Я обошел все больницы и военные лазареты Тель-Авива и его пригородов. На это потребовалось время.

По ночам я лежал на пляже, завернувшись в солдатское одеяло, и пытался заснуть. Небольшие деньги, которые у меня были, я тратил на поездки по госпиталям и на еду.

За день до праздника независимости мне удалось выяснить, что брат находится в военном госпитале под Тель-Левински. Однако, приехав туда, я узнал, что все раненые, которые могли ходить, уехали в Тель-Авив, чтобы принять участие в празднике и посмотреть парад.

Был уже вечер, я смертельно устал, и сестра из амбулаторного отделения посоветовала мне не сходить с ума и не пытаться искать брата в Тель-Авиве.

Она привела меня в больничную столовую, и там я мог есть столько, сколько хотел. Звали сестру Рахель. Она до упаду хохотала над моей прожорливостью и пила кофе, одну чашку за другой.

Рахель была «сабре» — коренная жительница. Ее немецкий был похож на идиш, что ей очень шло.

«Твой брат был довольно тяжело ранен», — рассказала она. — «У него было разорвано пяточное сухожилие, к тому же он очень долго лежал на поле, пока его смогли найти. А потом его неправильно лечили. Только в одной из больниц Тель-Авива его прооперировал хирург-специалист. Снова ходить твой брат сможет, но перестанет ли он когда-нибудь хромать — сказать трудно».

«Как он выглядит?»

«Нормально он выглядит. Ты же его знаешь».

«Я не видел брата больше десяти лет».

«Почему?»

Мы очень долго сидели в столовой, и я рассказал Рахель мою историю. Я не упустил ничего, припомнил все до мельчайших подробностей. Рахель внимательно слушала. Под конец она выбежала из столовой, крикнув мне, чтобы я обязательно ее дождался, и через некоторое время вернулась в сопровождении офицера. Оба сели рядом со мной, и Рахель долго гладила мою руку.

«Мы освободили для тебя кровать рядом с твоим братом. Ты можешь здесь переночевать», — сказал офицер. — «А твой брат вернется завтра в первой половине дня».

От волнения я почти всю ночь не спал. Рано утром я уже сидел в столовой и пил горячий чай с лимоном, чтобы утолить жажду. Есть мне совсем не хотелось.

Я так волновался, что то и дело вскакивал и бежал в туалет, хотя никакой необходимости в этом не было, или брал себе какую-нибудь еду, но не притрагивался к ней. Рахель больше не появлялась, а людям, которые со мной заговаривали, я не мог ответить вразумительно из-за плохого знания иврита.

Так продолжалось примерно до девяти утра. Дольше выдержать я уже не мог — вышел из столовой и стал быстро ходить взад и вперед по усыпанной гравием дорожке мимо цветочных клумб и газонов.

«Сколько времени может продлиться этот парад и что там может быть интересного?» — в ярости спрашивал я себя. Я опять зашел в столовую, но высидеть там долго не смог. Снова выйдя из столовой, я увидел, как навстречу мне, опираясь на деревянные костыли, идет мое брат. Он был очень высокий, гораздо выше, чем я представлял его себе.

«Ну и верзила», — подумал я. — «А какой тощий!»

Я почувствовал, как подступает к горлу ком. Усилием воли я взял себя в руки.

Бодрым голосом бросив «Шалом!», он прошел мимо меня.

«Его лицо ничуть не изменилось», — мелькнуло у меня в голове.

Я ошеломленно смотрел, как он направляется к больничному корпусу. Он и в самом деле был очень высокий. Полная противоположность мне. Меня охватило чувство гордости за брата.

«Ади!» — крикнул я вслед ему. Он остановился как вкопанный. Потом медленно повернулся, посмотрел на меня, оглянулся вокруг, как будто искал глазами еще кого-то, и снова посмотрел на меня.

«Ади!» — еще раз, уже не очень уверенно, крикнул я.

«Он не узнает меня. Да еще я в этой форме и вид невыспавшийся!» — думал я. — «И потом, сколько лет прошло! А он запомнил меня ребенком».

Помедлив, я подошел ближе. Он выронил костыли, покачнулся, теряя равновесие. Рванувшись к нему, я подставил ему плечо, чтобы он смог опереться на меня, и снизу взглянул ему в лицо. Он плакал.

«Я был уверен, что тебя нет в живых», — повторял он.

Мы вместе дошли до палаты и сели на его кровать. Он обнял меня, и я прислонился к его плечу. Мы молчали. Я видел — он не отваживался спросить меня о родителях из боязни услышать плохие вести.

«Мама жива», — прервав молчание, сказал я.